Г. П. ФЕДОТОВ

ТОМ IX

«МАРТИС»

Г. П. ФЕДОТОВ

Собрание сочинений

«МАРТИС»
SAM & SAM

Г. П. ФЕДОТОВ

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ
В ДВЕНАДЦАТИ ТОМАХ

«МАРТИС»
SAM & SAM
2004

Г. П. ФЕДОТОВ

ТОМ ДЕВЯТЫЙ

Статьи американского периода

«МАРТИС»
SAM & SAM
2004

ББК 87.3
Ф 34

Федотов Г. П.
Ф 34 Собрание сочинений в 12 т. Т. 9: Статьи американского периода. /Примеч. С.С.Бычков. - М.: Мартис, 2004. — 383 с.

В девятый том собрания сочинений Г.П.Федотова включены все его статьи американского периода — с 1942 по 1951 годы. Исключение — одна («Церковь и социальная правда»), написанная им в 1950 году для Всемирного Совета Церквей и по тематическим соображениям включенная в 5-ый том. Основная тема статей данного тома, за редким исключением, — тема свободы. Настоящий мир стал более тесным и близким, и Федотов понимает, что гарантом его гармонического развития может стать общество, в котором возможна глубинная свобода личности. Крушение тоталитаризма, в тот период — германского, было уже очевидным. Но Федотов предупреждал, что на смену германскому тоталитаризму идет более опасный — советский, который к концу войны уже подмял половину Европы. Поэтому борьба с тоталитаризмом - это не только борьба с политическим режимом, но и борьба за истинную свободу человека.

ISBN 5-7248-0037-3
ISBN 5-7248-0077-2, т. 9

© С.С. Бычков, примечания, 2004
© Издательство «Мартис», оформление, 2004

Новое на старую тему

К современной постановке еврейского вопроса

Мы живем в такой дичайший век (железный ли? каменный?), что самую постановку еврейской темы приходится оправдывать. Чувствительность притупляется, и совесть сгорает: если не прожженная еще, то порядочно обуглившаяся. Самое разлитие зла служит защитным покровом против моральных реакций. В Германии и Франции десятки тысяч евреев томятся в концентрационных лагерях? — Но в России в лагерях миллионы — не евреев только, но всех народностей. Гитлер производит физическое истребление всего еврейского населения в Польше — а теперь, кажется, и на Украине? Но другие народы, например, поляки, тоже истребляются сознательно и планомерно. Такой отвод, обычный в наше время (большее зло оправдывает меньшее), — сам по себе свидетельствует о тяжкой пораженности морального чувства. Движимый инстинктом самосохранения, человек старается приглушить свою совесть: с волками жить — по волчьи выть.

Но то правда, конечно, что еврейская беда, еврейские страдания сейчас вливаются в общее море крови и слез. Все рушится — самые основы нашей цивилизации, и под ее обломками одной из первых жертв оказывается еврейский народ.

Есть две причины, почему судьба этого народа сейчас больнее, чем судьба других, затрагивает нееврейский, а особенно христианский мир. Первая — это всеобщее распространение еврейской диаспоры и ее далеко зашедшая ассимиляция. Каждый христианин в любой стране имеет среди евреев друзей и близких. Через их личное горе он легко может ощутить национальную катастрофу еврейства, если, конечно, сам не принадлежит к его сознательным врагам. Вторая причина порядка религиозного. Для христианства евреи не просто народ среди прочих, но

народ, отмеченный божественным избранием, народ Христа, Его породивший и Его отвергший: народ, судьба которого имеет особое, всемирно-историческое значение.

Не без колебаний предлагаем читателю несколько мыслей на эту вечную тему, заново поставленную перед нами историей. В этих мыслях мало нового, но повседневные суждения по этому вопросу так поверхностны, полны стольких предрассудков и страстей, что углубленное внимание к нему является общим долгом.

* * *

Одной из первых и самых распространенных ошибок — ошибок перспективы — является отождествление еврейского вопроса с немецким. Гитлер — вот главный, если не единственный, виновник зла. Гитлер, или национал-социализм, или стоящая за ним Германия. Эта привычка рассматривать еврейский вопрос в связи с Германией так распространена, что отношение к еврейству в большинстве случаев определяет отношение к Германии. Антисемит будет про-гитлеровцем, друг евреев — врагом Германии. Эта аберрация зрения несет с собой один утешительный самообман. Если Гитлер (или Германия) единственный источник современного зверского антисемитизма, то с поражением его (ее) все приходит в порядок. Евреи, как и все человечество, могут вздохнуть свободно. Эта же аберрация, с другой стороны, чрезвычайно опасна для будущего всей европейской культуры, ибо она зачастую несет с собой ненависть к Германии как таковой, к ее «душе», к ее «вечному» содержанию. Практическим выводом из этой ненависти является не всегда высказываемое, но молча носимое убеждение в необходимости не победить только, но уничтожить Германию. Но это значит сделать невозможной Европу, уничтожить Европу, ибо Европа без Германии как птица без одного крыла (Р. Роллан).

На самом деле, острая вспышка антисемитизма в Германии — явление, сопутствующее ее общему послевоенному заболеванию, и нисколько не вытекает из ее «вечной» традиции. Не углубляясь особенно в историю антисемитизма, нельзя же забывать о том, что антисемитизм есть явление всеобщее (т. е. связанное с самым фактом диаспоры), и что он принимает лишь разные формы и получает разную остроту в зависимости от местных условий.

До великой войны Германия занимала далеко не первое место по линии антисемитизма. Россия была страной погромов, Франция во дни Дрейфуса — наши дни! — сделала из антисемитизма символ веры своего национального сознания. В Германии была антисемитская партия, но она играла очень скромную роль в политической жизни страны. Всего сильнее антисемитизм был в Польше и на Украине. И это объясняется не особенной злобностью польского или малорусского народов, а просто густотой еврейского населения на территории бывшей Речи Посполитой. Великороссы не знали антисемитизма, — но они не видели и евреев. Гоголь дал в «Тарасе Бульбе» ликующее описание еврейского погрома. Это свидетельствует, конечно, об известных провалах его нравственного чувства, но также о силе национальной или шовинистской традиции, которая за ним стояла. Стоит ли за Гитлером традиция подобной силы? Я в этом сильно сомневаюсь.

Германия больна острым национализмом давно, — но не дальше прошлого столетия. Это болезнь, сопутствующая ее объединению, ее имперскому росту, — тоже не ее личная, а общеевропейская болезнь XIX века. В Германии национализм (а не антисемитизм) принял грубые милитаристические черты, которые делают ее более других ответственной за мировую войну. Антисемитизм пришел совсем недавно, как явление, связанное с экономической болезнью послевоенной Германии: инфляцией, широким приливом евреев из восточной Европы и их быстро выросшим влиянием в некоторых отраслях хозяйства и культуры. Основное и здесь — болезненное развитие национального чувства, оскорбленного и ущербленного проигранной войной. Известно, что худшие тираны выходят из «униженных и оскорбленных»: Иван Грозный, Павел, русские большевики.

Я, разумеется, не хочу сказать, что война против Германии сейчас не имеет смысла. Когда психическая болезнь принимает буйные формы, опасные для окружающих, больного нужно связать прежде всего, а потом уже думать о лечении. Но никак нельзя забывать о том, что заболела сейчас половина мира, да и другая половина вовсе не защищена от психической заразы.

Германия сейчас, бесспорно, является мировым очагом антисемитизма. Отсюда он культивируется, подчас искусственно, подчас даже насильственно в других странах. Но нельзя не видеть, что очаги его имеются повсюду, и что достаточно политической

катастрофы, обвала либерально-демократического строя, чтобы он вырвался наружу. Можно сказать, что фашизм — явление не местное, а обще-европейское, — естественно порождает антисемитизм как одного из своих спутников. Всякий, кто встречался с фашистски настроенными кружками молодежи любой нации, может в этом убедиться. Не трудно показать, почему антисемитизм логически вытекает из фашистского умонастроения.

Фашизм есть движение национальной и социальной революции, обращенное против всей культуры XIX века, особенно против его интеллектуализма и либерализма. Каждый из этих моментов несет угрозу еврейскому народу.

Национальное чувство, в его нормальном состоянии, совместимо с уважением и терпимостью к чужим нациям. Национализм, особенно тот горячечный пароксизм его, которым сейчас заражен мир, питает ненависть ко всем народам (кроме собственного), с которыми приходит в соприкосновение. Можно сказать, что современный национализм, окончательно изживший средневековое культурное наследие, только в этой ненависти и находит себя. Стремясь к абсолютной односторонности национального целого, не вынося ничего чужеродного, никаких автономизмов и своеобразий, он повсюду наталкивается на этот иррациональный, не растворяющийся, не перевариваемый остаток далекого, давно исчезнувшего, восточного мира, каким является еврейство. Какими бы добрыми патриотами ни сознавали себя евреи в Германии, во Франции, в России, они не могут стать только немцами, только французами, только русскими. В этом их преступление. Даже утратив свою религию, забыв свой язык (или свои языки), они в своем устойчивом физическом типе, в своей психологии напоминают об ином, «неарийском» духовном мире, в котором некогда родились. К тому же естественная солидарность с евреями других стран нелегко разрушается. Подобно римскому католицизму, подобно (увы, столь хилому) культурному единству «республики ученых», еврейство было одной из немногих сил, которыми держалось единство европейской культуры. Когда какая-либо нация хочет насильственно оборвать все связи, которые соединяют ее с человечеством, она прежде всего находит евреев и мстит им.

Обвал капитализма является, быть может, одной из главных причин нашего кризиса. Все революционные силы эпохи, левые

и правые, объединены в одном антикапиталистическом натиске. Но силой вещей и давней средневековой традиции еврейство оказывается ответственным за капитализм — по крайней мере, за финансовый капитализм. Некогда запертое в гетто, насильственно отрезанное ото всех, или почти всех источников хозяйственной жизни, кроме торговли и ростовщичества, евреи выработали в себе веками тонкое и сложное искусство обращения с деньгами, этим самым таинственным из товаров, и когда капитал начал завоевывать мир, вчерашние менялы, превратившись в банкиров, оказались в чрезвычайно выгодных условиях конкуренции. У них не было феодальных поместий, не было военной знати, не было связей в светском обществе. Деньги открыли для них все или почти все двери. В XIX веке за деньги можно было купить баронство, породниться с княжескими династиями. Не удивительно, что евреи не спешили отказываться от тех профессий, которые обеспечивали им одно из первых мест в общественном строе. Но все это рушится с того момента, когда капитал снова становится предметом ненависти и презрения.

У евреев, конечно, были другие права на общественное уважение в XIX веке. В своем гетто они не только считали деньги или торговали восточными товарами. Они усердно изучали Тору и Талмуд. Вероятно, не один народ не имел такой многочисленной интеллигенции, и не уважал ее так, как они. Когда пришло время, тысячелетиями утонченный умственный аппарат оказался прекрасно приспособленным к современной аналитической и рациональной науке. Если средневековая схоластика была подготовительной школой научного мышления, то такой же школой был и Талмуд. Сыновья и внуки ученых раввинов становятся в первых рядах европейской науки. А тонкая, нервная организация, тонкие пальцы, не изуродованные грубой работой, дают лучших музыкантов — скрипачей, пианистов — наших дней. Воспитанное Библией и вековым притеснением острое чувство социальной справедливости, где современный социализм перекликается с древними пророками, создает вождей пролетариата, глашатаев социальной революции, деятелей Интернационала. Еврейская революционная интеллигенция подрывает тот самый капитализм, в котором так уютно чувствовала себя еврейская буржуазия.

Но все это обращается теперь против еврейства. «Чистая» на-

ука, аналитическая направленность ума глубоко противны новым поколениям. В науке они признают ее служебную полезность, ее практическую направленность. Она должна стать служанкой политики или погибнуть. Чувствительность, эмоциональность в искусстве тоже подлежит «преодолению». Новый век требует от искусства выражения мощи прежде всего: монументальности, единства, целостного восприятия жизни. Что коммунизм и капитализм отвечают друг за друга, это понятно без лишних слов.

* * *

Фашизм (как и коммунизм, который является его разновидностью) есть ложный ответ на подлинный вопрос, поставленный историей. Фашизм прав в основном ощущении порочности и безвыходности современной культуры. Но, видя зло, он бессилен преодолеть его, потому что сам носит в себе все яды умирающей цивилизации. Возмущаясь против ее механичности, он является самым механическим из ее общественных движений. Мечтая об органической силе жизни, он является жертвой и тираном самой мертвой техники, примененной к политике и воспитанию. В припадке бешенства, он бьет направо и налево, не чувствуя, что носит врага в самом себе. Грубыми суррогатами пытается заменить недостающую веру, которой жаждет. Но, если он действительно услышал вопросы жизни, то в самых уродливых его достижениях мы вправе угадывать очертания культуры будущего. Пусть фашизм погибнет, и демократия, обновленная, будет строить, вместо него, «новый порядок» мира, — этот порядок будет совершенно отличен от прошлого. К «старым башням родного Содома» возврата нет. Новый мир, если только он будет построен, преодолеет не только капитализм, но и рассудочный, разорванный духовный мир буржуазной Европы. Он должен обрести новую цельность, новую органичность жизни. Дай Бог, чтобы он мог сочетать с ней свободу личности. Но эта свобода уже не будет свободой безразличия. Вся та среда, в которой жило, в сравнительном благополучии, еврейство XIX века, погибла навсегда.

Какие проблемы ставит перед еврейством новый, в крови рождающийся мир?

Разрыв с капитализмом, конечно, особой драмы не представ-

ляет. Еврейство слишком богато ресурсами, чтобы не пережить гибели финансового капитала, как оно пережило много других экономических и политических режимов. Но самый вопрос о его «переживании», о его существовании, — как он ставится теперь?

Еще недавно были возможны споры между еврейскими националистами и сторонниками ассимиляции. Они ведутся еще и теперь, но по существу возможны ли они? Фашизм показал, что никакая ассимиляция не спасает еврейства, не может укрыть его. Забвения религии, языка, трех денационализированных поколений недостаточно. Быть может, десять поколений могли бы изгладить все силы прошлого, замазать последние черты древней благородной расы, но история не дает этих десяти поколений. Выход из гетто начался лишь с XIX века, примерно с французской революции, в России — много позже. Ассимилированное еврейство все еще еврейство, и враг сумеет распознать его. Ну, а в «новом мире» — придется ли и там прятаться от врагов?

Надеясь на лучшее, предполагая, что в этом мире не будет ни исключительных законов, ни травли «инородцев», трудно представить себе процесс ассимиляции столь легким, каким он был в прошлом столетии. Этот процесс протекал безболезненно в денационализированной, обезличенной среде. В XIX веке еврей, желавший забыть о своем еврействе, легко мог стать членом космополитического общества. Но ему уже было много труднее стать своим, скажем, в кругу русских славянофилов или во французском католическо-дворянском свете. Ему надо было носить маску или делать насилие над собой. Родиться заново в иную нацию не так легко. И, если грядущая культура будет более почвенна, будет религиозна и в духовном (может быть, не в политическом) смысле национальна, то еврейство может найти в ней место, как особое исповедание, особый народ, равноправный среди других, но едва ли сможет раствориться в ней без остатка.

Да и желательно ли это? Не возмущает ли самая мысль о таком исходе? Даже с чисто позитивной точки зрения, исчезновение одного из самых одаренных народов, давшего миру столько гениев, если бы оно и было возможно, представляло бы тяжелую утрату для человечества. Нельзя утешаться тем, что евреи будут давать миру свой вклад, как они дают и сейчас, в чужих национальных общинах. Да, сейчас дают, потому что не истощены

еще силы, накопленные в гетто, силы тысячелетней религиозной веры мессианских упований, растрачиваемые теперь в «теориях относительности», в «психоанализах»[1] и проч. Но потухнет этот костер, и его жар остынет, тепло рассеется в воздухе. Неизбежная «энтропия» сравняет уровень еврейской и «арийской» духовной температуры.

Если же стоять на точке зрения религиозной, то гибель народа, давшего миру две мировых религии и сохраняющего доныне свой религиозный пламень, была бы прямо катастрофой. Слишком большие религиозные чаяния сопряжены с этим народом. Его судьба в христианском пророчестве связана с эсхатологическими судьбами мира. С этой точки зрения, он не только не должен, он не может погибнуть.

Ассимиляционизм осужден историей, и Гитлеру суждено было стать одним из виновников еврейского национального возрождения. Нам приходилось слышать евреев, которые так оценивали смысл гитлеровского гонения. Еврейский Бог всегда вел свой народ путем страданий, и в страданиях он обретал новую силу жизни. Вольная и покойная жизнь среди язычников разлагала. Вот и сейчас, на что в России жизнь невольна и непокойна, но в условиях полного равенства и денационализированной культуры миллионы евреев почти растворились в полумонгольском море. Русская революция, с одной стороны, удушившая национально-религиозную культуру еврейства, с другой облегчившая его ассимиляцию, сделала больше для уничтожения народа, чем Гитлер со своими лагерями и палачами.

Если не ассимиляция, то что же? Национальное возрождение — но в каких формах?

Здесь возникает новый соблазн: перенять у врага его политическое сознание, бороться с ним его же оружием — если угодно, опять-таки ассимилируясь с ним, только не в дружбе, а в борьбе. Израилю предлагается осознать себя одним из народов земли — таким же, как все другие — и требовать для себя места под солнцем. Вчера еще это значило: подчинить все задачи еврейства одной цели — созданию и развитию национального государства в Палестине. Сегодня это звучит еще иначе: создать еврейский фашизм, покончить с гуманизмом и ответить криком крови и расы на крик крови и расы. Этот соблазн тем опаснее, что в самых древних страницах Священной Книги можно найти кажу-

щееся оправдание для этой антигуманистической реакции. Гитлер вывернул Библию наизнанку. Теперь начинают выворачивать наизнанку Гитлера, — только что останется от Библии в результате этой двойной перелицовки?

Я ничего не хочу говорить здесь ни за, ни против сионизма [2], который в целом вызывает во мне сочувствие. Но сионизм может быть оправдан лишь как частичное, подспорное решение задачи — сохранение еврейской национальности. Если для сохранения всемирного еврейства важно иметь национальный очаг в Палестине, пусть он будет. Но пусть борьба за него, работа в нем не заслоняет всей проблемы. Так папское государство в Италии могло и должно было стать опорой для универсальной политики католической церкви. Но как часто оно делалось помехой и соблазном для этой самой политики! Призвание Израиля универсально. Его Мессия обещан, как освободитель и примиритель всех народов, и религиозный национализм был временной формой, скорлупой, охраняющей вселенскую идею Израиля. Отказ от этой идеи — это отказ от первородства, отказ от самого себя. Да и возможен ли он? Т. е. возможна ли узконациональная еврейская политика?

И здесь уже история говорит свое предостерегающее слово. Насколько еврейство сильно своим культурным подвигом, своим нравственным упором в мировых пределах, настолько слабо и беззащитно оно в «своем» национальном государстве. Первый вихрь, налетевший из заиорданской пустыни, может смести его. Оно существует стеснением благоприятных обстоятельств, политическим компромиссом Британской дипломатии. Стоит заколебаться Британской Империи, усилиться давлению арабского мира, политическое пробуждение которого является одним из новейших фактов мировой жизни, и что останется от Сиона? Останется диаспора, останутся огромные, но рассеянные энергии, вечный, неутолимый, духовный голод Израиля.

Если чисто политическое решение еврейского вопроса не дается, то как следует понимать его культурное решение? Что такое еврейская культура? Есть ли она, была ли она когда-нибудь? Нельзя же видеть эту культуру в пережитках пестрого происхождения фольклора, еще не везде разложившегося. А за вычетом их, оказывается, что все, что Израиль создал подлинно своего — для себя и для мира, — была его религия. Он вечно жил в чужих

культурных формах — вавилонских, эллинистических, испанских, немецких, русских, но вечно вынашивал в себе одну и ту же свою религиозную тему. Религия, а не культура, и спасла его самобытность, сохранила его от растворения в море чужих племен. Обрядовый закон ограждал его лучше, чем гетто, священный язык поддерживал единство во всех концах рассеяния. Отнимите их, и что останется? Ассимиляция началась немедленно с упадком веры. И национальное возрождение в наши дни сопровождается возрождением религиозным.

Наше время, ощупью и медленно, но верно выходит на забытые религиозные пути. Это возрождение бесспорно в католичестве, православии, протестантизме. Бесспорно оно и в еврействе, хотя, может быть, и не столь явственно. Гитлер сумел заполнить молящимися еще не разрушенные синагоги, и в них влечет не одно национальное горе, но и подлинная религиозная боль. Да и не Гитлер породил Бубера, Когена, стольких других. Речь идет, конечно, не о простой реставрации веры отцов, но о ее новой, творческой интерпретации. Этому движению принадлежит будущее. Здесь проходит основное русло национально-культурного возрождения. И если нельзя веровать насильно, и преступно обращать веру в орудие политики, то законно и даже обязательно для всех пристальное внимание, изучение религиозных проблем.

Кто сказал, что еврей это усталый скептик, тонкий, но бесплодный рационалист? Да, таким мы знали его часто в последние десятилетия. Но таким ли он был хотя бы два поколения назад, когда Гейне проводил свою знаменитую параллель между эллинством и иудейством? Утрата веры подорвала его жизнеутверждающие, творческие силы. Но гений расы (т. е. религии Израиля) есть сама жизнь, борьба за вечную жизнь. Израиль боролся с Богом тысячелетия. Нельзя поверить, что у него нет больше сил для этой трагической борьбы.

Но христианин, который со стороны созерцает ее, не может не думать своей думы. И, говоря откровенно на эту больную, кровью политую тему, нужно быть откровенным до конца. Для христианина не может быть другой истинной религии кроме христианства. Он может сочувственно наблюдать возрождение религиозной жизни в чужих мирах — в Исламе, в Китае, в Индии, но при этом верит, что рано или поздно эти духовные потоки вольются в одно вселенское море. По отношению к еврейст-

ву вопрос для него стоит еще несомненнее. Еврейство и христианство не две различные религии, но две фазы одной и той же истинной, родившейся в Иудее, но вселенской религии. Христианство относится к иудаизму, как его завершение. Поэтому всякое движение в Иудаизме, направленное не вспять, т. е. не от пророчества к закону, а от закона к пророчеству, должно прийти и к Иошуа [3] и поставить вопрос о Его месте в религии Израиля. Чем вызван трагический разрыв между еврейским народом и его пророком, который явился ему, как Мессия, раньше, чем открылся язычникам, как Спаситель мира?

Едва ли этот вопрос получит жизненное разрешение для еврейства в нашем поколении. Но евреи задумываются над проблемой Иисуса, и эти мысли далеки от древней враждебности. Книги Монтефиоре, Клаузнера [4] говорят о новом отношении к Иисусу. Пожалуй, еще более говорят об этом частые обращения в христианство чистых и духовно-жаждущих людей — новый тип конвертита [5]. Эти обращения разрывают единство духовной жизни Израиля, и здесь заключена драма, личная и национальная, едва ли уступимая. По существу дела древняя религия Израиля, взятая в отрыве от христианства, с трудом удовлетворяет современное религиозное сознание. Путь от современной, хотя бы обезбоженной культуры к религии закона представляется сужением сознания. Национализм может принести эту жертву. Но религиозная личность примет ли ее?

Ответ, конечно, будет звучать по-разному. Одни примут, другие не примут. Сейчас не время поднимать этот спор, который принадлежит будущему. Хотелось бы только указать на новый, совершенно неожиданный оборот, который история дает древней еврейско-христианской тяжбе. Когда-то евреи распяли еврея Иисуса. После того, скоро уже две тысячи лет, как Его ученики распинают евреев. Ныне Иисус возвращается к своему народу под улюлюканье и крики язычников: «Распни Его, Он жид!»

Но как не поражаться апориям, которые на всех путях встречает национальное движение еврейства. Точно кто-то незримый гонит Израиля, загоняет его в безвыходные тупики, не дает опомниться от боли и ран? Кто Он, этот неутомимый охотник? Не тот же ли Бог Израиля, ревнивый и любящий, гоняющийся по пустыне за своей возлюбленной, навеки обрученной с Ним кольцом завета?

О парижской поэзии

Мы, немногие счастливцы, спасшиеся из европейского ада, не можем забыть о тех, которые там остались. Остались жертвой голода, германо-французских лагерей, ужаса перед надвигающимся мраком. Мы еще дышим — надолго ли — блаженным воздухом свободы, хотя и отравленным человеческой глупостью и злобой. А они? Дышат ли они вообще? А если дышат, то пишут ли еще стихи?

Должно быть дышат. Возможно, что кое-кто пишет и стихи. Но одно можно сказать с уверенностью, что парижская поэзия, в смысле русской парижской школы, кончилась навсегда. Кончилась не только она, кончилась вся русская эмиграция с ее большим, нами еще не оцененным культурным делом. Эта война, каков бы ни был ее исход, изменит лицо мира. Новая жизнь начнется на развалинах. Новые эмиграции прийдут нам на смену. Но наше поколение, рабочая пора которого пришлась между двумя войнами — 1919–1939, — свое слово договорила до конца. Для будущего историка само оно и его эпоха, смутная и сумеречная, уже очерчены до последнего штриха.

Что отличает парижскую школу от русской зарубежной поэзии вообще? Да и была ли такая школа? Когда перебираешь в памяти знакомые имена, близкие лица, они все такие несхожие. И однако, на расстоянии еще сильнее чувствуется, лежащая на них печать. Не так ли бывает со всеми школами, со всеми попытками исторических классификаций? Как трудно очертить круг русского классицизма, русской романтики, отделить символизм от декаденства. Но эти имена не пустые клички. Они соответствуют глубоким отличиям «соборных» личностей. Только в жизни соборные личности разбиваются на множество индивидуальных, из которых ни одна не воплощает целиком «идеи». Но во всякой школе есть свой центр, или источник света, сооб-

щаемый всему контур и рельеф. Иногда таким средоточием бывает поэт (Пушкин), иногда критик (Рескин), иногда критик-поэт: Малларме, Вячеслав Иванов. В Париже им был тоже критик-поэт: Адамович [1].

Его влияние на молодых поэтов было огромно, хотя, конечно, не исключительно. Я сознаю известную произвольность моего приравнения школы Адамовича и парижской школы, но убежден в его правильности. В Париже, конечно, был не один Адамович. Парижские поэты были на редкость счастливы, получив от судьбы не одного, а двух arbitr'ов elegantiorum [2]. Ходасевич [3] и Адамович оба были на редкость одаренные, умные люди, очень широкой культуры. Двойственность критических отзывов спасала от неизбежного пристрастия, от кружкового кумовства, которое в эмигрантской литературе неискоренимо. Но вся воспитательная работа Ходасевича, все его усилия обучить молодежь классическому мастерству и привить ей свой дух уверенного в своей самоценности пушкинского художества не приводило ни к чему. Молодежь шла за Адамовичем, зачарованная им. Это его влияние сообщает ей единство; люди, свободные от него, жили особняком, «дикими», вне школ и групп. Живя в Париже, они не принадлежали к парижской школе. А таких, конечно, было и не мало.

Нельзя забыть о том, что в Париже много лет жила Марина Цветаева, которую, думаю, не греша пристрастием, можно назвать первым русским поэтом нашей эпохи. Для нее парижское изгнание было случайностью. Для большинства молодых поэтов она осталась чужой, как и они для нее. Странно и горестно было видеть это духовное одиночество большего поэта, хотя и понимаешь, что это не могло быть иначе. Марина Цветаева была не парижской, а московской школы. Ее место было там, между Маяковским и Пастернаком. Созвучная революции, как стихийной грозе, она не могла примириться с коммунистическим рабством. На чужбине она нашла нищету, пустоту, одиночество. Теперь она на родной земле, но песен ее мы не слышим. Может быть, там и накормили, но не петь вольной птице в клетке.

Марина Цветаева до Парижа жила в Праге. Ее легче представить себе там, на славянской земле. В Праге была своя поэтическая школа, гораздо более близкая к Москве — к Есенину и Маяковскому. Отдельные пражане оказывались и в Париже: среди них талантливый Эйснер [4] — к сожалению, забросивший свою

лиру в крапиву. Была и попытка литературного объединения пражского стана с ориентацией на советскую поэзию. Но «Кочевье» не привилось в Париже. Парижские поэты не почувствовали его своим. В «Кочевье»[5] вообще было больше речей, чем стихов. Скифская стихия, верблюды, кумыс не соблазнили Монпарнасских муз.

Среди всех зарубежных очагов поэзии Париж оказался, не только географически, наиболее далеким от советской России. Не одна Прага, но и Берлин и Рига, и Харбин и Шанхай были ближе к Москве, чем Париж. Что же? В этой установке Парижа нет ничего зазорного. Он имеет свое историческое оправдание. Конечно, искусство с трудом выживает вне родины. Ему и на чужбине легче жить отражениями родной поэзии. Но ведь московской поэзии достаточно и в Москве. Много ли пользы в зарубежных отражениях, в слабых повторениях все тех же оттисков? Но есть темы, заветные в России, выразить которые призван поэт-изгнанник. У него своя дорога, тернистая, мало обещающая, но требующая от него такой же верности, как родная земля. Только не земля, а дорога, ибо поэт эмиграции — странник по самой своей природе.

Что же это за темы, данные судьбой для поэта эмиграции? Многим хотелось сделать из него певца белого движения, антибольшевистской борьбы. Это было бы неплохо, исторически даже нужно, чтобы не пропал в пустоте подвиг русского юноши, сложившего свою голову в борьбе за Россию и свободу. Но из этого ничего не вышло. Поэты, вскормленные Воинским Союзом, были ниже литературного уровня. Белая тема звучала еще, но очень скромно, у двух благородных поэтов не одинаковой силы таланта и совершенно различного тембра: у Ладинского и Софиева[6]. У обоих в виде героических, но далеких воспоминаний юности, военных походов, утраты друзей на кровавых полях: «Мы не легли на поле том!» Об этих поэтах хочется сказать теперь же, потому что и они не школы Адамовича, хотя и парижские, всеми жизненными нитями связанные со своими братьями, парижской богемой...

Ладинский поэт очень неровный, который может спускаться низко, но и подниматься на большую высоту. Он не кует, не плавит стихи и беззаботен насчет опасностей, связанной с чистой песенностью. Но песни свои — чистый, какой-то райский моцар-

товский лиризм — он получил, как благодатный рай. Ладинского трудно уложить на полочку в истории русской литературы, — менее всего он укладывается в нашу эпоху. Его можно было бы поставить в ряд с юношеским Гумилевым или далеким Лермонтовым. Но есть и отголоски XVIII века, смешанного с арабским волшебством из «Тысячи и одной ночи». Каирский сапожник, мечтающий о танцовщице, для которой он шьет свои туфельки... «Черное и голубое»: мечты о небесной лазури (Лермонтов) на черной земле: впрочем, черной земли у Ладинского мало. Но рассеянный лирик вдруг вырастает в классического поэта, когда он находит высокую тему. Тема Ладинского, как это ни странно, морфология культур, выражаясь языком Шпенглера. У нас в этой столь нелирической поэзии мастером является Осип Мандельштам. Я думаю, что «Европа» и «Дуб» Ладинского не уступают лучшим вещам Мандельштама. Образ Европы, от древней Трои до наших дней, тонкое и хрупкое создание греческого пения, сейчас, накануне гибели, пронзает поэта мучительной любовью. От видения тленной красоты он убегает, закаляя себя, в походную страду римского легионера, и через дунайские дубы, через Византийских принцесс открывает варварскую Русь. Нежный романтик стал суровым воином. Настоящая война превратила его в солдата Российской Империи.

Софиев беднее, скромнее Ладинского, их трудно ставить на одну доску. Но голос его чище, он абсолютно не способен издать фальшивую ноту — не от мастерства, а от совестливости. Он пишет только о том, чем живет, и только так, как сам живет и видит. А видит он тяжелую трудовую жизнь изгнанника, окрашенную пейзажами чужой, но любимой французской земли, обрывки юношеских воспоминаний, любовь, дающую испить всю чашу горечи... Без веры, без догмата, мир еще не потерял своей укорененности в невидимом добре, и поэт остается рыцарем человечески-праведных идеалов: верности, целомудрия, дружбы, свободы.

А теперь к Адамовичу и его группе. Я опять чувствую смущение, когда приходится называть имена: химических парижан так мало. Из более талантливых можно назвать, кажется, только трех: самого Адамовича, покойного Бориса Поплавского и Лидию Червинскую [7]. Но, повторяю, невидимые лучи, исходящие из этого центра, идут далеко. И другого центра не было.

Мне очень трудно говорить о их поэзии как таковой. Для этого нужны более тонкие органы восприятия, чем те, которыми я обладаю. Я знаю, что это подлинная поэзия, я поддаюсь ее чарам, но для передачи их нужны еще не найденные слова. Мне гораздо легче изобразить тот психологический и идейный фон, на котором эта поэзия... жила? умирала? не знаю, как лучше сказать: билась между жизнью и смертью.

Начнем с самого простого. Эти люди сознали себя на чужбине, вне родной почвы, вне всякой почвы. Там, в России, поэты связаны с землей, с социальностью. Они живут для революции. Одного там не существует: личности и свободы. В эмиграции дана абсолютная, еще небывалая свобода и — беспочвенность. Беспочвенность — несчастье, но только ли несчастье? Не может ли оно быть источником творчества — через гибель, через смерть? — «Не оживешь, если не умрешь». Нужно только проделать путь до конца отрешаясь от всех верований, от всех иллюзий, как раздевается Истар, спускаясь в Шеол [8]. Никакой социальности: будем исследовать лабиринт подсознания до самого дна. Никакой этики: добро и зло могут быть равно средствами для творческого эксперимента. Никаких догматов: все нужно найти заново. Может быть, даже ничего не нужно искать, но только идти и описывать то, что едва различаешь во мраке. Эта поэзия кажется беспредметной, потому что ее темой являются неуловимые сны подсознания, лишь возбуждаемые символами внешнего мира. Да и поэзия ли это? В радикальном аскетизме отрешенности Адамович требовал отречения и от поэзии. Он не успевал повторять, что поэзия умерла, что надо перестать писать стихи. Но если писать, то нужно забыть, что их пишешь. Менее всего думать об искусстве, о форме, а только о том, для выражения чего она служит. Но так как это «что-то» еще не найдено, то часто кажется — для большинства со стороны всегда казалось, — что этот путь есть чистый нигилизм, разложение. Парижане не отказались бы от «разложения». Один из них назвал свою книгу: «Распад атома» (Георгий Иванов). Как известно, в разложении атома освобождается огромная энергия. Нельзя ли достигнуть того же в разложении атома-личности?

В разложении, в имморализме есть своя негативная мистика, которая может в любой момент обернуться позитивной, как показывает история человеческого духа. До этой огненной точки

никто из парижан не дошел. Может быть, Поплавский был всех ближе к ней. Этот юноша пожил свою недолгую жизнь со страшной серьезностью. Под маской цинизма он воспитал в себе мистика. Он боролся с Богом, с какой-то злобой вгрызаясь в непостижимое, и Бог не давался ему. Со стороны невозможно решить, искал ли он Бога или дьявола, но под цинизмом в нем жила нежность и жажда любви. Они не расцвели. Он погиб от собственной дерзости и бесстрашия.

Сам Адамович, другой полюс парижской поэзии. Его никто не заподозрит в мистицизме. Свое аскетическое странничество он проходит рассудочно, как пробирщик идей и ценностей. Иногда кажется, что вот-вот он готов остановиться перед найденной святыней. Но через минуту медитация прервана скептической улыбкой, и странник, обратившийся в советского туриста, или журнального работника, следует дальше. Ближе всего он к благоговению, когда восстанавливается перед Толстым. И это тяготение Адамовича к Толстому — Толстому учителю — совершенно замечательно. Нет ничего более далекого, психологически несовместимого, чем духовные миры Толстого и Адамовича. И, однако, если Адамович способен когда-нибудь принять Христа, то только такого, каким Его видел Толстой. Все остальное — догматы, мистика, христианская культура — скрывает в себе темные уголки, возможности самообмана. У Толстого все ясно, честно, безыскусственно. Нужно только сделать выбор: или-или. Но Адамович его не делает. Многие говорят, что он никогда не сделает никакого выбора. Но это неправда. Когда началась война, Адамович пошел добровольцем — защищать человеческую правду.

Возвращаясь с высот метафизики к поэзии, надо признать, что, как воспитатель молодых поэтов, Адамович имеет одну бесспорную заслугу. Он отучил их от фальши, от условной красивости, от поэтического лексикона. Этого недостаточно, чтобы быть поэтом, но тому, кто не может ходить без ходуль, Адамович говорит: не ходи, не пиши стихов, пиши прозу. Не его вина, если не все его слушают.

Лидия Червинская, в значительной мере, им выращена и воспитана. Ее стихи прелестны, интимны и горьки, рожденные в бредовых снах, но процеженные сквозь аналитический фильтр сознания. Червинская сродни Ахматовой, конечно, и Блоку, но в ней больше горечи и рассудочности.

Меньше самоанализа, больше благодарности красоте в страдании у Штейгера [9], молодого поэта, выросшего значительно в самые последние годы. Он один из немногих, которые осмеливаются писать еще о любви. Но страдания замыкают его все больше в круг безвыходного одиночества. По чистоте и благородству он похож на Софиева, но одного туберкулез разлучил с людьми, другого тяжелый труд рабочего научил горькой правде социальности.

На 180 градусов от них по нравственному меридиану мы видим демоническую поэзию Георгия Иванова [10], родственного Брюсову по мироощущению и Гумилеву по художественной форме. Это большой мастер, выступивший давно, в Петербурге еще, но сильно выросший в эмиграции. Его нельзя причислить к ученикам Адамовича, они очень несхожие, хотя их связывает старая дружба. Иванов не ищет, не странствует по идеалам и душам. Он давно замкнулся в абсолютном отрицании и одиночестве... Вероятно, зло для него привлекательнее добра — по крайней мере, эстетически. Ледяное отчаяние напоминает Врубелевского демона, и его поэтическое выражение порою также прекрасно.

В этой же линии демонизма, но много подальше следует Ирина Одоевцева и Владимир Смоленский [11].

Немного странно даже, что и Вяч. Иванов нашел себе последователя в торжественной религиозной мистике Ю. Терапиано [12], от испарений которой начинаешь томиться по свежему воздуху.

Кстати, если говорить о дореволюционных корнях парижской поэзии, то следует назвать — кроме перечисленных, — одно имя, сохраненное Адамовичем из его петербургской юности и переданное им, как завет, парижским ученикам. Это имя Иннокентия Анненского. Немногие в России знали этого поэта, немногие его любили. Он был одинок в Петербурге декадентов и символистов. Но в Париже оценили его строгую честность, его умную ясность и безнадежную грусть. Это наш Чехов в стихах. За Анненским — в далекой перспективе русской традиции — для парижан стоит Лермонтов.

Это имя приоткрывает многое в их скрытых мотивах. Вечный спор между Пушкиным и Лермонтовым продолжается и, вопреки отцам, парижане утверждают культ младшего поэта. Один из самых типичных парижан, хотя и не поэт формально, Ю. Фель-

зен написал даже книгу: «Письма о Лермонтове», где идет речь не о Лермонтове, конечно, а все о том же путешествии вглубь подсознания. Пушкин слишком ясный и земной, слишком утверждает жизнь и слишком закончен в своей форме. Парижане ощущают землю, скорее, как ад, и хотят разбивать всякие найденные формы, становящиеся оковами. Лермонтов им ближе, злой и нежный, неустоявшийся, в страстях земли тоскующий о небе.

Надо кончать, хотя столько имен еще просится под перо. Просто удивительно, сколько поэтов слетелось в Париж — этот «соловьиный сад» русской зарубежной музы. И я не говорю здесь о стихотворцах и стихоплетах, каких тоже было немало, но только о подлинных дарованиях; у каждого был свой тембр, своя тема, хотя и нет среди них звезд первой величины.

Вижу, не удалось мне объединить парижских поэтов в одну парижскую школу. У читателя, может быть, создалось уже убеждение в искусственности моего «познания». Но я все же настаиваю. Отнимите школу, и останутся только отдельные голоса, продолжающие перепевы дореволюционной русской — преимущественно петербургской — поэзии.

Но кончая, не могу не вернуться к обойденным, не могу не назвать еще одно имя, хотя, включая его, сознаю, что разрушаю уже всякую возможность определения парижской школы. Может быть, поэт этот не принадлежал ни к парижской, ни вообще к русской школе, хотя и писал на прекрасном русском языке. Довид Кнут [13] один из самых значительных поэтов русского Парижа, но, может быть, русская форма была для него случайностью. Его вдохновение, его темы были такими еврейскими, что кажется странным, что писал он не на древнееврейском языке. В этом его отличие от многих еврейских поэтов в русской литературе, из которых один Осип Мандельштам имеет все шансы стать русским классиком. Но Кнуту в русской литературе не вместиться. В нем звучит голос тысячелетий, голос библейского Израиля, с беспредельностью его любви, страсти, тоски. И — перебрасывая мост через века — поэт находит себя в Париже XX в. перед той же тайной мира, перед бездной человеческих страданий, связанный с миром и людьми общностью судьбы. Только год за годом приглушаются пророческие голоса, мельчает тоска, любовный романс вытесняет «Песнь Песней». Довид

Кнут перестал писать. Его молчание большая потеря и для европейской и для русской поэзии. Его «Еврейские похороны» были подлинно-прекрасным откровением русско-еврейской музы.

Новое отечество

Dulce et decorum est pro patria mori [1].

Гораций.

Патриотизм есть последнее убежище негодяя.

Д-р Джонсон и Лев Толстой.

Современная война в своем пафосе, в своих осознанных и полуосознанных целях, таит одно противоречие. Вскрыть его нужно не для того, чтобы бередить раны, по старой русской привычке, но чтобы помочь его преодолению. По отношению к военной политике люди разделяются на два лагеря. Одни считают, что говорить сейчас, до победы, о мире преждевременно. Другие думают, что важно выиграть не только войну, но и мир. Страшнее всего проиграть мир, после всех нечеловеческих усилий и жертв. Проиграть мир после победы значит очутиться опять лицом к лицу с хаосом, как после 1918 года, не справиться с демонами, разбуженными войной, и беспомощно — и уже безнадежно, — поплыть по течению к конечной гибели. О защите будущего мира нужно думать уже сейчас, со всем напряжением умственных и духовных сил. Признаемся, что мы разделяем мнение людей этого лагеря и потому не считаем преждевременным говорить о противоречиях войны.

Основное противоречие ее — между интернационализмом ее целей и национализмом сражающихся народов.

Еще осенью 1939 года, в первые дни войны, интернациональная нота ясно прозвучала в устах английских и французских ответственных вождей. Эта война не только ради самозащиты. Она должна привести к установлению нового международного порядка. Мир должен быть гарантирован прочно, общей властной организацией, отличной от безвластной Лиги Наций. С тех пор эта нота не переставала звучать, в последнее время всего громче в устах американских государственных деятелей (Кордель Холл [2]).

К сожалению, Атлантическая Хартия, единственный обязывающий документ со стороны «союзных наций», очень скупо говорит о новом порядке, стоя скорее на старой позиции самоопределения народов. Эта скупость, конечно, не случайна: она говорит о больших трудностях, стоящих на пути к новому строю.

Трудности множатся по мере развития войны. Если, с одной стороны, медленно – слишком медленно – растет и укрепляется экономическая, военная и политическая связь между союзными державами, то, с другой, растет и обостряется национализм порабощенных Германией народов. Неслыханные насилия и унижения национального чувства вызывают естественную человеческую реакцию. Даже люди, вчера равнодушные к судьбам отечества, потеряв его, переживают по отношению к нему вспышку страстной любви. Хорошо говорить о будущем порядке тем, кто живет в уютном прадедовском доме и думает застраховать его от пожара и войны. Но о чем могут думать миллионы беженцев, выгнанных с родины, или люди, превратившиеся во «внутренних эмигрантов», как не о возвращении родины? Возвращение, «старый порядок» – становится сладостной мечтой. Активные, горячие, живущие борьбой, мечтают о мести. Но человечеству нельзя осудить их. Миллионы истребляемых евреев, поляков, сербов, как и униженных и оскорбленных французов, голландцев и норвежцев горят сейчас одной мыслью: уничтожения Германии. Легко себе представить, что ни о чем другом не думают и в Советской России. По крайней мере, ни один звук не донесся оттуда, который мог бы быть истолкован в смысле универсальных целей войны. Там война переживается как национальная, отечественная, освободительная. О том же, и только о том, говорит и генерал де Голль в своей программе: восстановление Франции и ее империи – вот идеал свободной или «воюющей» Франции. Без сомнения, этот взрыв патриотических чувств в порабощенной Европе является одним из мощных факторов победы. Люди, потерявшие национальное сознание, легко примиряются с немецким завоевателем. Нельзя не предпочесть, политически и морально, национализм де Голля пацифизму Де-Мана [3]. Но ясно, каким огромным препятствием для организации мира является весь этот котел кипящих, взаимно непримиримых национальных страстей.

Нет, не «свободные» (т. е. порабощенные) народы и не СССР

пронесут сквозь ад войны образ нового мира. Если кто может думать о нем, если у кого не захлестнуло разума волной «праведной» злобы, то это две великих англосаксонских демократии. Здесь еще есть люди, которые помнят не только о победе, но и о мире. Но и здесь нет единства. Мы видим две Америки: Америку Рузвельта, великодушную и дальновидную, сознающую ответственность за оба полушария, и другую Америку, вчера еще изоляционистскую, которая теперь согласна лишь на войну во имя национальных целей. Вероятно, та же борьба происходит и в старой Англии, но до нас доходят сюда лишь слабые ее отголоски.

Невозможно видеть в этом споре о целях войны старую тяжбу реалистов и идеалистов. Слишком ясно, что в данном случае реалисты просто слепцы, которые идут к своей и всеобщей погибели. Их реализм – паралич ума и воображения, а не рассудительность опыта, законно ищущего в прошлом опоры для жизни. Даже тогда, когда «идеалисты» и «реалисты» говорят как будто об одном и том же: о гарантиях будущего мира, о международном правопорядке, они говорят о разных вещах. Для одних речь идет о поддержке старого национального отечества средствами международной полиции, для других – о создании нового сверхнационального единства. Последний вопрос, разделяющий их, есть вопрос о суверенитете. Кому принадлежит верховный суверенитет: сегодняшнему национальному государству или сверхнациональному государству завтрашнего дня?

Безумна и революционна наша жизнь с ее неслыханными темпами. Она ставит проблемы, которые далеко опережают сознание большинства. Многое, бывшее вчера утопией, сегодня становится неотложной необходимостью. Есть объективные требования жизни, которые вытекают не из нравственных идеалов передового меньшинства, а из ее собственной логики. Было время, когда социализм или проблема вечного мира были идеалом, постулатом нравственного сознания. Теперь, как социализм – в новом аспекте организованного мирового хозяйства, – так и пацифизм – в форме принудительного международного порядка, диктуются самосохранением нашей культуры. Нам уже не дано решать, что лучше, что хуже: организованное или свободное государство, национальный или международный суверенитет. Здесь выбор не между двумя формами жизни, а между жизнью и смертью.

Проблема, поставленная сейчас жизнью, есть обуздание национального государства, а не одной Германии, как склонны часто упрощать дело. Германия, действительно, воплощает сейчас дух агрессии. Но одна ли она им одержима? Уберите Германию с карты Европы – даже без всякой возможности ее возвращения – можете быть уверены, что преемник ей скоро найдется, если оставить неприкосновенной систему сосуществования суверенных государств.

1

Есть доля правды в утверждении, что национализм становится мировой опасностью лишь в фашистском, тоталитарном государстве. Уничтожение фашизма есть, таким образом, лучший путь к обеспеченному миру. Действительно, в настоящую эпоху мы не видим воинственных демократий. Но сам фашизм является скорее порождением националистической горячки, чем ее отцом. Это верно, по крайней мере, для Германии и Италии. А Япония сумела воплотить тоталитарно-национальный идеал и вне своеобразных форм фашизма. Искоренение политического фашизма еще не спасает от острого националистического заболевания. И этот национализм всегда найдет для себя тоталитарные формы. Демократия не пригодна для народа, который делает войну идеалом своей жизни. Для тоталитарного, военного воспитания деспотизм, в том или ином виде, единственно возможная государственная система.

Не следует придавать поэтому решающего значения тому факту, что за двадцать лет от Версальского мира до новой войны агрессорами являются фашистские державы (да и здесь сомнительно понимание Японии как фашистской страны). Опыт этого двадцатилетия учит другому: опасности суверенного национального государства и в то же время его беззащитности. Оно опасно в своей силе, беззащитно в своей слабости. Никто не спас Манчжурии, Абиссинии, Албании, Австрии, Чехии, несмотря на существование мирового арбитра – в Женеве. Лига Наций не имела суверенитета, а суверенитет народов (кроме агрессоров) оказался для них роковым преимуществом: это он был источником их беззащитности.

Люди, ориентированные на прошлое, и притом не очень давнее, мнимые реалисты, живущие в XIX столетии, отвечают: когда же это было иначе? Безопасность вредная утопия. Жизнь опасна, свобода опасна. Война стара как человечество. Войны задерживали прогресс, но не могли остановить его. Мир — не вечный, но длительный — покоится не на сверхнациональной организации, а на временном равновесии сил.

Говорящие так не отдают себе отчета в том, что чудовищная техника наших дней в корне изменила все условия жизни. Теперь количественные различия, обусловленные техникой, переходят в качество. Невозможна свободная езда по дорогам, пересекаемым тысячами автомобилей. Невозможно сохранение личных патриархальных отношений хозяина и рабочего в современной фабрике. Невозможна свобода войны и мира для государств, вооружения которых способны взорвать на воздух всю нашу цивилизацию. Война перестала быть бурей, грозой, подчас живительной. Она стала чем-то вроде болезни, все разлагающей и неизлечимой. За двадцать лет еще не были залечены раны первой войны. Экономическое расстройство, порожденное ею, превратилось в общий кризис. Вызванный ею же подрыв демократического сознания привел к фашистскому обвалу в половине Европы. Ослабление великих европейских наций поставило на очередь восстание цветных материков против гегемонии белой расы. И через двадцать лет новая война начинается с того места, на котором остановилась первая. Реванш побежденной Германии, в союзе с ненасытившимися партнерами старой антигерманской коалиции, делает новую войну продолжением первой. Это значит: война не кончается, не может кончиться, пока не останется камня на камне от нашей цивилизации, или пока эта цивилизация не найдет своего политического единства.

Изолированное государство более не может существовать. Оно не способно организовать ни своего хозяйства в слишком узких границах, ни своей безопасности слишком слабыми силами своих армий. Оно должно найти в себе силы для более широкой интеграции или погибнуть.

Как ни нова и ни беспримерна мощь современной техники, сама проблема интеграции политических организмов, принадлежащих к культурному единству, стара как мир. Время от времени, человечество — или, вернее, отдельные его цивилизации —

чувствуют себя стесненными в старых политических рамках. Под влиянием новых культурных потребностей, но почти всегда путем войны, старые общества-государства вступают в новые высшие соединения. Греко-римские городские общины сливаются в Империи, феодальные княжества в национальные государства. Процесс тяжелый и мучительный. Нелегко иберу или галлу подчиниться римскому игу, или Великому Новгороду смириться перед Москвой. Но история неумолима. Ценой отказа от узкой независимости-суверенитета культура покупает себе возможность жизни, роста, процветания, уже не в Нормандии, не в Новгороде, не в Афинах – а во Франции, в России, в космополитической Римской Империи.

Опыт Рима особенно поучителен для нашего времени. Рим интегрировал не одну национальную культуру, а все многообразное единство средиземноморских культур, уже давно тяготевших к единству, несмотря на пестроту национальных и местных антагонизмов. И культура, которую он защищал своим мечом, была не его, национальной, римской культурой, а эллинистической, т. е. скорее всего греческой или греко-восточной – по своему сознанию, уже вселенской. И все же то был очень болезненный процесс. На пути к единству пролились реки крови. Старые отечества не хотели умирать. Рим и Карфаген, Рим и Босфор, Рим и Испания, Рим и Галлия – сколько жестоких вековых поединков! Несмотря на далеко зашедшее культурное единство Средиземноморского мира, национальные или локальные чувства были сильны. Замечательно, что они были сильнее у варваров, чем у культурных греков или сирийцев. Не одно гражданское вырождение Востока было тому причиной, но и космополитическое сознание, прокладывающее дорогу римской государственности.

Сейчас мы живем в таком же противоречивом мире, объединенном хозяйством, наукой, техникой, укладом жизни, в значительной мере даже искусством. Действительно, искусство наших дней, в его высших и низших проявлениях, одинаково удалилось от романтического идеала национального искусства, которым жил XIX век. По существу, культурные различия между народами Европы не более значительны, чем между княжествами средневековой Франции, и совсем уже несравнимы с пестротой древних культур Средиземноморья. Но политика и здесь,

как и везде, отстает от жизни. Государственное сознание остается прикованным к старым суверенитетам, зажатым в узкие национальные границы. Отсюда кровавые муки родов нового великого отечества.

Что это будет за отечество? Косная мысль пугается огромностью встающего мира и хочет облегчить себе переход к нему. Завещанные XIX веком привычки эволюционной мысли соблазняют ложным реализмом постепенности. Не все сразу. Мы не созрели до мирового отечества. Ближайший этап перед нами — это система федераций: Центрально-Европейская, Восточно-Европейская, Дунайская или Балканская плюс уже существующие: Британская, Российская и т. д. Для многих сейчас это единственно мыслимое завершение войны. Но что же это за решение? Что оно решает? Какая из этих федераций обладает действительной автаркией?[4] Какая может обеспечить свою безопасность своим собственным мечом? Ведь это чистый предрассудок — хотя и лестный для представителей великих наций — что только малые государства нежизнеспособны, беззащитны и опасны для общего мира. Как ни бессмысленны мелкие конфликты Юго-Востока Европы, не они взорвали мир. Конфликты между великими державами куда опаснее: франко-германский, германо-русский, германо-славянский. Европа, разделенная на четыре-пять федераций, представляет такой же пороховой погреб, как и Европа тридцати национальных государств. Да и легче разрешаются конфликты в великом целом, чем в малом. Не Балканской федерации замирить вековую ненависть ее народов; это по силам какой-нибудь Пан-Европе. Совершенно так же, как распри народов Кавказа разрешатся не Кавказской Федерацией, а, по крайней мере, Всероссийской. Следовательно, и осуществление великой Федерации не труднее, а легче осуществления малых, вопреки близорукому реализму постепеновцев.

Отказавшись от идеи областных федераций, не возвращаемся ли мы к знаменитому проекту Пан-Европы? Но война произнесла над ним свой окончательный суд. Европа без Англии, центрированная вокруг Германии — теперь это чисто немецкий идеал. Но если Англия или даже Англо-Америка становятся средоточием и даже организующей силой, то это уже не Европа — по крайней мере, в географическом смысле. Англосаксонский мир, расселившийся по всем частям света, плюс истощенная войной Ев-

ропа, которая может быть теперь только придатком к нему — вот первые очертания будущего отечества. Культурно и духовно, это все та же Европа, т. е. предел распространения былой греко-римской и христианской культуры, еще поныне живых и живительных в своем наследии. Кто присоединится к этой духовной Европе из вне лежащего мира, сейчас невозможно предвидеть. Это будет делом текущего политического дня, тогда как создание «европейского отечества» — дело, подготовленное тысячелетней историей. Европа уже существует как нация в культурном смысле, — хотя и разделенная междоусобицами, — она должна лишь создать для себя политическую форму.

Дальнейший рост этой океанической Европы зависит от напряжения культурных сил — по крайней мере, социальных и политических. Здесь могут быть всякие неожиданности. Так, Китай или Индия, при всей глубокой несродности нам их древних цивилизаций, в настоящее время разделяют наши нравственно-политические предпосылки, выросшие на христианской основе. Быть может, они даже являются лучшими защитниками этих начал, чем сама духовно надорванная Европа. С другой стороны, всем прошлым своим связанные с Европой Германия и Россия, по крайней мере, сейчас, остаются вне Европы как духовно-политического единства. Фашизм не совместим с традициями старой Европы, — более того, он для нее смертелен. Лишь внутренне и свободно преодолев фашизм, страны диктатуры могут искренне согласиться на вступление в новое великое отечество. Преодоление фашизма здесь не единственное условие. И простой национализм, до известной степени законный, но реакционный и несовместимый с завтрашним днем истории, будет противиться отказу от государственного суверенитета. Для патриота это будет казаться непосильной жертвой. Отчаяние и безнадежность иного существования облегчают объединение порабощенных народов. Но сильные, победоносные, или хотя бы и побежденные, но стойкие до конца не пойдут — долго не пойдут — на акт, который будет им представляться национальным самоубийством.

Но, может быть, здесь и лежит подводный камень, обрекающий на крушение все планы нового политического мира? Вне Европы останутся огромные массивы, ранее входившие в ее состав. Не расшатает ли это с самого начала задуманное построе-

ние? Думается, что трудности, вытекающие из ограниченности будущего отечества, не являются непреодолимыми. Существенно лишь то, чтобы оно сосредоточило в своих руках подавляющий экономический и военный потенциал, — который бы делал борьбу против него невозможной. Тогда разоружение мира перестанет быть утопией. Государства и народы, цепляющиеся за свою суверенность, могут быть связаны с мировой державой договорными отношениями, делающими и для них возможным участие в экономической и культурной организации мира. Конечно, главная опасность именно здесь: опасность будущих конфликтов и войн, связанных с независимостью национальных государств. Возможно, что недоделанное в этой войне будет докончено в будущей, как ни страшно об этом думать. Во всяком случае, выбора нет: единство или гибель.

Утопизм, которым отличаются почти всегда разговоры о едином отечестве, характеризует не самую цель, а предполагающиеся средства к ней. Утопична, в самом деле, мысль, что пятьдесят независимых государств могут в один прекрасный день на общей конференции — в Женеве или Вашингтоне — никем не принуждаемые, совершенно свободно отказаться от своего суверенитета. Но совершенно не утопична, напр[имер], мысль о возможном завоевании мира — в одном или двух поколениях — сильнейшей мировой державой. Завоевание Европы Гитлером уже почти совершившийся факт. Если мы верим, что это завоевание не окончательное, и что Германии не удастся удержать за собой завоеванный материк, то наша уверенность вытекает прежде всего из характера завоевателя. Германии не дано pacis imponere morem [5]. «Новый порядок», который несет Гитлер, есть порядок господства, а не сотрудничества. В жертву одной расе, т. е. народу, обрекаются на гибель и рабство десятки миллионов. Народы Европы не могут примириться с такой участью. Но с потерей суверенитета они теперь уже примирились бы, если бы Гитлер или другой властелин действительно нес им благо прочного мира, экономического процветания и известной культурной свободы. Недаром столько социалистов Франции и Бельгии на первых порах поторопились признать немецкое завоевание. Мир и единство — слишком соблазнительные вещи для современного человека. Не одна трусость и низкий расчет загнали Деа, Бержери и Де-Мана в гитлеровский стан. Но вели-

кая задача, которая решалась некогда с успехом Цезарем и с меньшим успехом Наполеоном, не по плечу Гитлеру. Его государственные идеалы слишком низменны. Бисмарк на его месте, может быть, сумел бы действительно покорить и замирить Европу.

Счастье наше — если не слишком вразумительно говорить о счастье среди бойни и кладбища, — что мы имеем альтернативу Германской Империи в федерациях англосаксонского мира. За последние полвека Англия сумела, хотя и не до конца, перестроиться из насильственно сколоченной империи в свободный союз народов. Отдельные части этого союза, как и само целое, как и ранее оторвавшаяся от него великая Северо-Американская республика, связаны федеративными узами, большей или меньшей прочности. Это первый в истории удачный опыт федеративной государственности в великодержавном масштабе. Его удача дает возможность иначе оценивать пресловутую утопичность Федерации как основы мирового государства.

Империя или федерация? Эта альтернатива не точна, если дело идет о форме будущего мира. Британия есть империя в форме федерации, где средневековые титулы монарха являются символами единства свободных народов. Реально возможна лишь антитеза между свободой и принуждением. Но и она в чистом виде беспочвенна. Не может быть государства, построенного лишь на одной свободе, как и на одном принуждении. Сила и принуждение всегда были и будут фактором государственно-образующим. Но прочность государства зависит от добровольного признания. Свобода и сила, добровольность и принуждение должны быть положены в основу создания и новой государственности. Война облегчает, а не затрудняет это создание. Она приучает людей к необходимости принуждения, к добровольной или недобровольной жертве своей свободой. Чего не могла добиться старая Лига Наций от своих суверенных членов, того может легко потребовать коалиция победителей, опирающаяся на силу победоносных армий. Новое федеративное отечество имеет своей политической предпосылкой гегемонию победителей.

«Гегемония — значит господство? Господство — значит угнетение?» — скажут многие, учившиеся думать по плакатам, — а таких теперь большинство. «Вы предлагаете нам, вместо немецкой или русской империи, Англосаксонскую федерацию? В чем ее

преимущества?» Ответить легко ссылкой на конкретный опыт. Тому, кто мог спастись из лагерей любого тоталитарного государства, сохранив свою голову от фашистских идеологий, жизнь не только «угнетенного» индуса, но и негра в африканских колониях представляется раем. Да и сама структура Британской Империи, как и Соединенных Штатов Америки исключает политическую тиранию, оставляя, самое большее, возможность экономических и социальных преимуществ правящего слоя. Вместе с социальной демократизацией, идущей гигантскими шагами, сами эти преимущества капиталистического класса сойдут на нет. Останутся, вероятно, неравенства в уровне жизни, в оплате труда между разными расами и народами; такое ли это непереносимое зло?

Федеративность нового общества, исключающая «сплошной» централизм, сохраняет старое отечество с ограниченными функциями. Международная политика и хозяйство выходят из его компетенции, но за ним остается значительная доля культурной политики, полиции и правосудия. Превращаясь из суверенного государства в штат, оно сохраняет свою символику, пышность исторических костюмов и традиций. Это облегчает переход для гражданского сознания. Старое отечество существует, хотя и не посылает своих сынов на смерть для защиты своих интересов и престижа. Лояльность и подданство разделяются между великими и малыми отечествами, возвращая Европу в мир оклеветанного феодализма. Феодализм, т. е. разделение суверенности между рядом политических сфер, раскрепощает личность от всепоглощающего этатизма, который встал угрозой для свободы. Недаром наша свобода родилась с Великой Хартией в недрах феодализма.

Опасность грозит совсем с другого конца: не от насилия, а от безвластия или от бездействия власти. Лига Наций погибла от нежелания гегемонов 1919 года обнажить меч на защиту ее законов. Новая власть победоносных демократий стоит с самого начала перед необходимостью военного и политического принуждения для умиротворения и организации мира. Разоружить народы, пресечь немедленно национальные вендетты, избиение меньшинств, политический террор, бесконечные и бесплодные пограничные тяжбы... Сколько труда, сколько пота и крови предстоит отдать прежде, чем наша старая планета будет вновь

пригодна для жизни разумных существ. И если кто-нибудь примет на себя ответственность за общее дело, возьмет почин и водительство, народы благословят его, какие бы ошибки и даже злоупотребления он себе ни позволил. Власть не всегда средство эксплуатации. Бывает — и не так редко, — что она является орудием для осуществления высокой миссии. И нет миссии выше и благороднее, чем осуществление нового — не средиземноморского, не римского, а европейского в культурном смысле, — или, чтобы не обижать Америки и не забегать вперед истории, — скажем «Атлантического» мира: Pax Atlantica.

2

Для нас, русских, как для большинства людей нашего времени, отечество слишком слилось с нацией; нам трудно, для многих невозможно, и помыслить разрыв между ними. Во всяком случае, он не кажется заманчивым — скорее всего, он пугает. Мы привыкли думать, что национальная культура нуждается в государственной охране, как черепаха в скорлупе, и что без брони государства она рискует погибнуть в борьбе за жизнь. Формулируя так наше традиционное отношение к нации, мы обнажаем его слабость. Оно действительно вытекает из малодушия или из неверия в силу духа. Его можно было бы признать за выражение национального атеизма. Конечно, у русского общества никогда не было того особенного вкуса к государственности, которым отличаются, напр[имер], современные немцы. В нас говорит не столько любовь к принуждению, сколько привычка к нему. Несмотря на весь наш вековой протест против давления государства на культуру, мы сжились с этим бытом и, когда наши духовные силы были надорваны революцией, оказались беззащитными перед соблазнами старого, уже разрушенного мира.

А между тем история совсем не подтверждает предполагаемого совпадения государства и национальной культуры. Это совпадение бывает скорее исключением, чем правилом. Нам заслоняет перспективу XIX век со своей мечтой — построить государство на чисто национальной основе. Мы принимаем за действительность мечту романтиков и патриотов прошлого столетия.

Но прежде чем говорить о фактах, надо условиться о поняти-

ях. Что мы понимаем под нацией? Конечно, здесь мы не имеем возможности обосновывать наше определение; важно хотя бы установить его.

Нация, разумеется, не расовая и даже не этнографическая категория. Это категория прежде всего культурная, а во вторую очередь политическая. Мы можем определить ее как совпадение государства и культуры. Там, где весь или почти весь круг данной культуры охвачен одной политической организацией и где, внутри ее, есть место для одной господствующей культуры, там образуется то, что мы называем нацией. Не народ (нация) создает историю, а история создает народ. Английская нация создалась лишь в XIV веке, французская в XI в., после многих веков государственной жизни. Культурное единство, достаточное для образования нации, довольно трудно определимо по своему содержанию. В него входит религия, язык, система нравственных понятий, общность быта, искусство, литература. Язык является лишь одним из главных, но не единственным признаком культурного единства. Швейцария — нация без языкового единства, может быть и Россия — СССР также.

Это культурное богатство не дается сразу ни одной этнографической народности, но постепенно наживается ею в ее исторической жизни. Но очень часто культурное единство вовсе не вмещается в рамки общей государственности. Простое обозрение великих исторических культур показывает, что национальные, т. е. охваченные государством культуры, встречаются реже, чем культуры сверхнациональные.

Древность дала нам два великих национальных государства — результат географической изоляции, — где границы культуры и государства почти совпадают: это Египет и Китай. Но Вавилонская культура не смогла создать для себя политического единства: в одной Палестине, культурной провинции Вавилона, было место для десятка малых государств. Никогда не знала политического единства и великая культура Индии. Вот почему Индия никогда не была нацией и, если станет ею, то этим она обязана только английскому воспитанию. Культура Греции развивалась в сотнях маленьких отечеств. С нашей точки зрения, нельзя говорить о греческой нации, но лишь о греческой культуре. Объединительные тенденции эллинистического мира завершились в империях, где греческая культура была брошена в плавильный

тигель с иными культурами Востока и Запада. В христианском средневековье народы жили в тесном духовном и культурном единстве, которое никогда не получало другого единства в государственной сфере, кроме символического: Священной Римской Империи. Столь же универсальна и многогосударственна была и культура Ислама. Лишь на наших глазах Кемаль-Паша, выученик либеральной Европы, создает чисто национальное турецкое государство. Для старого государства Османов не «турок», а «правоверный» было символом отечества, как «христианин», «католик» для средневековой Европы и даже Руси («крещенный», «православный»).

В новую эпоху из распада католического мира создаются действительно национальные государства: Англия, Франция, Испания... Но наряду с ними существуют вплоть до XIX века исторически создавшиеся, не национальные, а чисто территориальные политические единства. Австрия погибла лишь в 1918 году — и сейчас многие ее оплакивают. Все мы знаем, что Германия и Италия лишь в прошлом веке осуществили свое единство, т. е. создали государственную броню для своих, уже древних и великих культур. Опоздавшие на пир, они набросились с жадностью на сомнительные яства и теперь морально расплачиваются за невоздержание. Конечно, не случайно, что фашизм, т. е. острое национальное заболевание, поразил прежде всего эти страны — новорожденного и потому особенно острого национального сознания. Замечательно, что величайшие свои культурные достижения Италия дала в век Возрождения (или еще в средневековье), а Германия в век Канта и Гете (или еще в Реформации), когда обе эти страны не имели политического национального существования. Италия его вообще не знала с римских времен до Виктора-Эммануила II. И вот этот давно лелеемый романтический национальный идеал, едва осуществившись, на наших глазах стал отравлять источники той самой культуры, которая его создала, глубоко исказил ее некогда прекрасные черты и привел эти народы на край духовной гибели.

Ну, а Россия? На первый взгляд, она кажется примером национально-государственного образования. Мы все были воспитаны в этом Карамзинском убеждении. Но Карамзинская схема, коренящаяся в московских официальных традициях XVI–XVII века («Степенная Книга»), есть насилие над историческими

фактами. Киевская Русь — эпоха высшего культурного расцвета древней Руси — не была государством, а лишь системой связанных культурно, религиозно и династически, но независимых государств. Потом на столетия Русь вступает в систему мировой монголо-татарской империи. Освобожденная, она создает национальное государство под властью Москвы, но Западная Русь остается за его рубежом. Задолго до воссоединения с зарубежной Русью. Москва разливается широко на туранский Восток и Юг, приобретая характер Евразийской Империи. Узкая провинциальная культура Москвы оказывается непригодной для организации и одушевления этой колоссальной империи. С Петра Россия считает своей миссией насыщение своих безбрежных пространств и просвещение своих многочисленных народов не старой, московской, а западно-европейской цивилизацией, универсальной по своим тенденциям. Как считать национальным государство Екатерины? В глазах самой интеллигенции и власти, Россия является сонмом народов, скрепленных династией, которая несет им свет с Запада. Фелица — киргиз-кайсацкая царевна, друг Вольтера и Дидро. Национализация русской культуры и государственности есть медленный процесс, развивающийся в XIX веке. Еще при Николае I слово «национальный» было символом революционного. Но именно к этому царствованию относится не очень удачное начало национализации русской культуры. Однако этот процесс идет параллельно с возрастающей слабостью Империи. Два последних царя, воспитанные славянофилами, пытались обрусить Империю и вооружили против нее целый ряд ее народов. Национализм оказался одним из ядов, разложивших императорскую Россию.

Так за все тысячелетие своей истории Россия искала национального равновесия между государством и культурой, и не нашла его. На этом пути вообще исторические удачи были только исключениями. Да, Франция и Англия — исторические счастливицы. Но обобщение их опыта в XIX веке завело в тупики. Для многих малых народов, для черезполосных насельников, т. е. для большинства, осуществление национального государства оказалось невозможным. Версаль[6] окончательно доказал это. Для иных, «великих», вставала другая опасность. Государства, заполнившие границы национальной культуры, не желали останавливаться на них, и переливались через край, стремясь пре-

вратиться в империи. Но империя несовместима с принципом национального государства: она или несет сверхнациональную культуру или, обезличивая малые народы, превращает их в чернозем для возращения одной нации. Lebensraum [7] выдуман не Гитлером. XIX век, начавшийся эрой освободительного национализма, заканчивается борьбой империализмов. Дети и внуки гаррибальдийцев завоевывают Ливию и Абиссинию, тщатся поработить славян. Едва объединившаяся Германия возобновляет свой забытый с XV столетия Drang nach Osten [8]. Франция и Англия уже успели создать себе колониальные империи. Но все империи лишь этапы на пути к единой Империи, которая должна поглотить их всех. Вопрос лишь в том, кто будет ее строить и на каких основах.

Историческая неудача национального государства способна вызвать у многих горькие чувства. Что и говорить, национальное отечество имеет свои преимущества. Оно теплее, милее сердцу; оно согревает строгий закон гражданства любовью к той живительной духовной родине, которую защищает закон. Татарин мог любить Россию, а хорват Австрию. Но их любви не хватало той глубины и полноты оттенков, которые возможны для русского — или немца. С другой стороны, насыщенность национальными эмоциями сообщала чрезвычайную силу велениям отечества. Национальное государство внутренне гораздо крепче, спаяннее, чем империя или федерация.

Однако это его преимущество немедленно же оборачивается его пороком. Эгоизм национального государства особенно страшен потому, что питается не только низменными, но и очень высокими чувствами. Убаюканные немецкой музыкой и стихами Гете, немцы легче идут на истребление славян. Так и для нас образ «Святой Руси» облегчал всяческие насилия над инородцами. Парадоксальным образом Гете и Толстой в наши дни делаются воспитателями национальной ненависти. Но это есть уже предательство, измена самой национальной культуре. Связь ее с государственностью, которая берет ее под свою высокую руку, оказывается губительной для культуры.

В завершение всего, представление о том, что за борьбой великих держав стоят еще защищаемые ими великие национальные культуры, оказывается анахронизмом. Европейские культуры уже перестали быть национальными в смысле романтиков.

Научно-технический и социальный рационализм XIX века убил остатки выращенных средневековьем и связанных с почвой национальных культур. Умолкла народная песня, вымирает народное искусство. Нигде, кроме маскарадов, не носят национальных костюмов. А народная душа? Школа, газета и фабрика еще до радио и синема нивелировали ее. Что всего важнее, самое значительное в мире духа, в религии, в искусстве, в философии сейчас не носит национального отпечатка. Передовая литература, живопись, музыка сейчас космополитичны. И никакая фашистская акция ничего не в силах изменить в этом факте. Фашисты всех стран говорят о национальной культуре, но, кроме исторических символов и имен, они вкладывают в нее одно и то же содержание. Если бы мы могли мысленно разрезать черепа десятка молодых людей, принадлежащих к Hitler-Jugend, к Балилле, Фаланге [9] и т. д., то увидели бы, что эти черепа набиты одним и тем же: спорт, техника, авиация, военное дело и военные забавы, культ мужества и насилия, товарищества и жестокости, религия государственности и при том в одних и тех же формах – везде до утомительности одно и то же. Различна лишь направленность ненависти. И эта ненависть к чужому – не любовь к своему – составляет главный пафос современного национализма – не в одних фашистских странах. Национальный фашизм оказался товаром для экспорта. Претенциозный борец против рационализма буржуазного общества, он представляет типический продукт современной механизации жизни. Но это лишает смысла всю его борьбу – титаническую и безумную. Немцы могут разрушить весь мир во имя великой Германии – которая не будет отличаться от фашизированной Франции, Америки или России.

Нет, современное государство плохая защита для национальной культуры. Оно оказывается для нее скорее губительным. Вот почему отмирание национального государства не несет с собой никакой катастрофы для культуры нации. Более того, оно ее освобождает. Но здесь необходимо внести одно существенное различение в понятие национальной культуры.

В состав всякой культуры входят элементы более или менее национальные и универсальные. К универсальным в наше время принадлежит наука, техника, спорт и т. д. Но и среди национальных элементов более общи и абстрактны хозяйство и политика,

чем, напр[имер], искусство, язык и быт. Грядущая универсализация государства может угрожать только политике и хозяйству, которые по необходимости, если не целиком, то в значительной степени становятся планетарными. Но хозяйство и политика представляют, вместе с наукой и техникой, наиболее рационализированные пласты культуры. Другими словами, универсализируется рациональная культура — та, которая всеобща по своему строению. Национальное, коренящееся в иррациональных слоях духа может уцелеть и жить, если только найдет в себе жизненные силы. Не от Атлантической Империи грозит ему гибель, а от истощения и скудости собственных сил.

Проблема сохранения национальной культуры совпадает с гораздо более важной — единственно важной — спасения культуры вообще. Стало ясно, как день, что на обездушенном, техническом разуме-рассудке она существовать не может. Человек, утративший связь с миром духовным и с миром органическим, делается жертвой своей собственной техники. Машина и оружие истребляют своих создателей. Все наши планы, мечты и молитвы о спасении покоятся на одной предпосылке; на великой духовной революции, способной возродить и переродить человечество, дав ему новые силы для жизни и творчества. Чтобы жить, человек должен найти утраченные связи с Богом, с душевным миром других людей и с землей. Это значит в то же время, что он должен найти себя самого, свою глубину и свою укорененность в обоих мирах: верхнем и нижнем. Оба эти мира говорят с ним на языке иррациональных символов. Общение с ними способно возродить, в новом смысле, и национальную культуру, освобожденную от своих рациональных элементов.

Есть одно, чрезвычайно привлекательное, хотя и ограниченное явление в культуре нашей эпохи, — которое дает ключ к возрождению творческого национализма. Это областническая, или так наз[ываемая] региональная литература. Среди зрелища демонических кошмаров, которое являет большое искусство наших дней, областничество остается оазисом, где течет, хотя бы и скудный, источник живой воды.

Жионо и Рамюз [10], может быть, самые значительные писатели Франции — во всяком случае, самые глубокие и чистые. Чем отличается областническая литература от национального эпоса, о котором мечтали романтики? Главным образом отсутствием го-

сударства. Здесь человек-крестьянин живет лицом к лицу с Богом и землей. Власть как будто ушла, оставив один вечный символ жандарма, который «не без ума носит меч». Государству-жандарму платят деньгами и кровью, но уже не несут ему своей любви. Нация перестала питать духовно. Франция, Германия, Россия превращаются в идолы прошлого, условная краса которых способна соблазнять риторов, не поэтов. Но Жионо, Рамюз и Пришвин спасают бесценное и вечное, что еще живет во Франции и в России.

Но государство ведь тоже не целиком от дьявола. Оно имеет свое призвание. Его идеальное имя — справедливость. Его закон есть несовершенное выражение нравственного императива. Разум человека и творимая им социальная культура имеют тоже свои права. Восстание против разума — иррационализм современного искусства и политики — есть безумие и грех. Не к уничтожению рационального мы призываем, а к известному размежеванию сфер. Рациональное перерастает нацию. Иррациональное остается уделом нации и ее органических подразделений: племенной, областной, родовой жизни.

Есть символ, который мог бы уяснить и закрепить нашу мысль. В былое время, еще совсем недавно, отец и мать вводили ребенка и юношу в сферу национальной культуры. Их роль в этом посвящении была не одинакова. От матери ребенок слышал первые слова на родном «материнском» языке, народные песни и сказки, первые уроки религии и жизненного поведения. Отец вводил отрока в хозяйственный и политический мир: делал его работником, гражданином и воином. Разделение между рациональным и иррациональным содержанием культуры до известной степени совпадает с различием материнского и отцовского в родовой и национальной жизни. Этому различию соответствует, или должно соответствовать, двойное именование того национального целого, в которое посвящается ребенок-юноша. На английском языке оно звучало бы как fatherland и motherland. Наш язык знает не совпадающие по значению, но всегда волнующие слова: отечество и родина. Не совершая насилия над русским языком, легко убедиться, что отечество (страна отцов) связывает нас с миром политическим, а родина-мать с матерью-землей.

То, что совершается в нашу эпоху, не есть разрушение отечест-

ва или родины. Но это их необходимое и, конечно, болезненное разобщение. Древний галл не потерял отечества, став гражданином Римской Империи. Если же он потерял родину, которую обрел вновь в глубине средневековья, то это было следствием рационализма греко-римской культуры. Наше отечество не гибнет, но расширяется до океанических масштабов. Моя родина остается конкретной и многоликой: Россия, Великороссия, Поволжье, Саратовский край. Родине своей я отдаю полноту эмоциональной любви, освобожденной от политических страстей (злой эротики). Отечеству отдаю свой разум и волю, направленную на постоянную реализацию справедливости в несовершенных исторических ее проекциях.

Нужно только помнить, что ни отцовское, ни материнское не исчерпывают мир личности. Последнее оправдание личной жизни – в духе, а дух по ту сторону (выше) рационального и иррационального. И материнская и отцовская культура могут питаться, «одухотворяться» им, и в этой мере выражать движение человечества к его высокой цели. Но никогда им не вместить полноты духа, не заменить личной, сверхорганической и сверхрациональной жизни и ее условия – свободы.

Загадки России

Россия всегда была загадочной страной — и для европейцев, и для своих собственных сынов. Иностранцы останавливались в недоумении перед ее противоречиями: варварство и утонченная культура, святость и буйный разгул, кротость и жестокость — все уживалось в этом скифском сфинксе. Русские не удивлялись этим противоречиям, они скорее гордились ими, но так же мало подчас понимали их происхождение. Основным их источником, хотя и не единственным, был культурный дуализм, в котором жила Россия с Петра: одновременно и западной культурой в своих общественных верхах и старой, Московской, в средних и низших слоях народа. Московское и европейское начала и боролись друг с другом, и вступали в сложнейшие сочетания. Кто, на первый взгляд, угадал бы в православии Достоевского влияния католического гуманизма Франции 40-х годов?

Со времени революции загадочность России еще усилилась. Хотя революция объявила войну и Московской Руси и западнической «буржуазной» России, тем не менее они еще существуют. Рядом с ними, или, вернее, на их теле выросла новая «советская» культура, рожденная в духе ленинского большевизма и современной индустриальной техники. Но и она прорезывается густыми прослойками пестрых культур пробужденного — в СССР и за его границами — Востока. Россия — кипящий котел противоречий. Родится ли в них новая цельность или они взорвут его еще крепкие стенки — кто может сказать? И что можно сказать, что можно увидеть отсюда, через десять тысяч разделяющих верст?

Газеты, журналы, книги доносят нам отрывочные вести из России. Но как трудно вышелушить зерно истины из-под массивной, все покрывающей лжи. Никогда еще ложь не изготовлялась и не лилась в мир в таких пантагрюэлических количествах, как

в современных тоталитарных странах. Ложь стала воздухом, которым там дышат, самой тканью культуры, производимой государством. Может быть, там, в зоне углекислоты, вырабатываются дыхательные приспособления организма, вроде способности видеть в темноте, – да и то, вероятно, у немногих. Большинство слепнет. А здесь расшифровка тоталитарных документов требует изощренной научной критики. И всякая эмоциональность, – а она неизбежна, – всякий энтузиазм – а сегодня он так естествен, – даже просто привычка, инерция пассивного чтения делают понимание невозможным.

Кажется, что для оценки России нет хуже положения, чем эмиграция. Но это неверно. Положение иностранца гораздо хуже. Его беспомощность, его беззащитность перед культурой лжи вызывает жалость. Но многим ли лучше положение русских людей в самой России? Там, где нет ни свободного слова, ни свободного общения, люди живут кучками, каждый видит лишь то, что происходит в его углу. Заговорите с приезжим из России – несколько лет тому назад такие разговоры были еще возможны – о религии, например. Если он верующий, он расскажет вам о необычайном подъеме религиозного чувства. Он жил почти исключительно среди своих единоверцев, особенно если прошел сквозь тюрьмы и лагеря. Но спросите среднего советского юношу – из вузовцев, – и он скажет вам, что никогда не встречал верующих в своей среде и не слыхал о существовании религиозных кружков.

Сейчас нас прежде всего интересует международно-политическая загадка России. Чего хочет она, помимо обороны своей земли от немецких завоевателей? С чем придет в послевоенную Европу, когда будут устанавливаться основы будущего мира? Эти вопросы, волнующие сейчас весь свет, обращены лишь отчасти к настоящему – к мыслям, мечтам и воле России. Главным же образом они относятся к будущему, и здесь почва под ногами становится совсем зыбкой. Знает ли кто-нибудь в самой России, чего она хочет от Европы, с какой программой перейдет, – если вообще перейдет – свои рубежи? Может быть, один человек в России знает об этом, т. е. имеет планы на будущее, но весьма вероятно, что он никого не посвящает в свои планы.

Все мы – без различия взглядов и степени осведомленности – недавно совершили огромную ошибку. Никто не предполагал

той изумившей мир способности к сопротивлению, которую обнаружила Россия. Говорили — даже ее друзья, — что она будет разбита через три месяца, если ей не прийдут на помощь. Оказалось, что она если не сильнее Германии, то равный, или почти равный ей противник. До сих пор она одна почти выносит на себе весь натиск врага. Те дивизии, которые Германия держит на Западе и на африканском фронтах, замещены на русском, хотя и слабейшими дивизиями немецких союзников. Русский солдат не уступает по своей доблести германскому и японскому; и даже военная промышленность России, несомненно, менее развитая, чем в Германии, не поражает опасным несоответствием. Ведь и техническая помощь Англии и Америки до сих пор покрывала лишь малую часть русского военного потребления.

Да, скажем откровенно: этого мы не ожидали... Ошибившись в этой, самой элементарной, оценке сил и возможностей России, как решиться на другую, гораздо более сложную и трудную, оценку — ее политической воли?

Кажется, единственный открытый сейчас путь — это анализ возможностей. Там, где материал наблюдений скуден или обманчив, дедукция получает право на существование. Конечно, при условии скромности. Анализ шансов не дает возможности предвидеть, какие из них осуществятся. Но он может подготовить наблюдателя к более вдумчивому восприятию грядущих событий.

Те политические категории, в которых определяется наше отношение к России, отличаются упрощенностью. Мы загипнотизированы одним образом, и не хотим видеть ничего, что нарушает четкость его линий. Если нижеследующие строки покажут всю сложность русской проблемы, не принеся никаких ее решений, они не будут совершенно бесполезны.

* * *

Первая русская проблема, перед которой стоит сейчас мир, не задержит нас, несмотря на очевидную ее важность. Слишком мало элементов для ее решения в наших руках. Это проблема военная. Предоставим ее исследование специалистам, хотя, по существу, не специалистам ее решить. Чтобы решить ее, нужно располагать таким исчерпывающим знанием всех сил и возмож-

ностей обоих противников — России и Германии, — каким никто не обладает. Вопрос может быть поставлен так: в каком положении будет русский фронт к тому моменту, когда произойдет, наконец, вторжение союзников в Европу — в условиях, означающих разгром Германии?

Ограниченность нашего знания обязывает серьезно считаться со всеми возможностями, даже допуская неодинаковую их вероятность. Эти три возможности суть: поражение России Германией, поражение Германии Россией и равновесие сил, означающее стабилизацию фронта, или медленное его передвижение в ту или другую сторону. Сейчас, когда мы наблюдаем именно эту третью ситуацию, она нам кажется наиболее вероятной и длительной. Это не помешает ей круто измениться в один прекрасный день.

Важно помнить, что стабилизация на русском фронте, даже маловероятное поражение России не означают проигрыша войны. Они, несомненно, затянули бы ее, отягчили бы и без того нелегкое положение западных демократий, но едва ли отвратили бы поражение Германии. Восстановление России было бы одним из первых результатов этого поражения. Даже сепаратный мир, который вынуждена была бы подписать Россия, не помешал бы ей воспользоваться, хотя и в более ограниченной мере, плодами демократической победы. Одно время, следя за русскими успехами, западная печать спрашивала себя: остановится ли русская армия, гнавшая немцев, на границах России или будет продолжать войну на германской территории? Указывали на то, что в речах Сталина постоянно звучит мотив отечественной войны: изгнание врага за пределы родины, и ни словом не упоминалось об общем задании — освобождении и организации Европы. И в этой возможности, которая кое-кого пугала, нет ничего страшного. Германия, разбитая до отхода за свои рубежи, не сможет долго сопротивляться ударам с Запада. Быть может, такой исход был бы лучшим и для Европы и для России.

Все эти военные возможности не ставят перед нами особо трудных политических проблем. Политические проблемы связаны с последней возможностью: русской победы. Недаром, один намек на нее, счастливая зимняя кампания в России высыпала, как из рога изобилия, ряд чрезвычайно щекотливых вопросов, связанных с будущим восточной Европы. И, что всего

важнее, все эти вопросы поставлены самой Россией, а не ее подозрительными критиками. Окрыленный успехом — или опьяненный им — Сталин изменяет своей обычной сдержанности и делает ряд шагов и заявлений, которые торопятся предрешить ряд восточно-европейских проблем. В свете этих актов, заявлений — и воздержаний — Сталина ставится теперь мучительный вопрос: что несет Россия освобожденной Европе? В данной исторической ситуации этот вопрос равносилен другому: чего хочет в Европе Сталин?

Пробегая последние акты и волеизъявления Москвы — русского правительства и русской печати, — трудно найти в них единую политическую мысль. Москва требует от Польши белорусских и украинских земель, из которых первые вошли в ее состав по Рижскому миру 1921 года, а последние отчасти в XIV столетии. Москва считает окончательной аннексию трех лимитрофных республик: Эстонии, Латвии и Литвы. Москва протестует против образования польско-чешской федерации, и по слухам добилась от Бенеша отказа от нее. Москва отклоняет возможность мирных переговоров с Финляндией, заявляя о том, что она считает финское правительство не правомочным говорить от имени своего народа. Такие же намеки делаются и относительно польского правительства в Лондоне. Всем памятно «кукольное» правительство Куусинена, выдвинутое в последней финляндской войне. Организация польской коммунистической группы в Москве, издающей газету «Volna Polska», указывает на угрозы в том же направлении. В Москве действует и новое, преимущественно коммунистическое, объединение славянских народов с их органом «Славяне». И, наконец, в Югославии уже с лета прошлого года организовались коммунистические «партизаны» в противовес «буржуазному» и англофильскому четническому движению Дражи Михайловича [1], с которым они уже ведут братоубийственную гражданскую войну. В Польше тоже действуют русские партизанские отряды, образованные против желания польского правительства, но эти, по счастью, дерутся пока против немцев. Как распутать весь этот клубок противоречий? Одни из требований Москвы мотивируются интересами русского или украинского национализма; другие — стратегическими соображениями. В предъявлении «национальных» требований останавливает их поспешность и односторонность: Москва не

хочет делать их предметом мирных переговоров. Тем самым она выражает недоверие к будущим строителям Европы и хочет защищать сама свои интересы. Стратегическая защита ее границ на Балтийском море неизвестно против кого направлена. Если Германия исчезнет после войны как великая держава, то обороняться Москва думает, вероятно, не от нее, а от новых хозяев Европы. Запрет федераций в Восточной Европе явно стремится к разъединению и ослаблению соседей, из которых каждый порознь легко может стать в политическую зависимость от Москвы. Наконец, гражданская война в Югославии может иметь только одну цель: установление в стране коммунистического правительства после победы. Может быть, эта цель имеется и в отношении Финляндии и Польши, хотя там слова и даже акты могут иметь значение простой угрозы.

Во всяком случае, мы видим огромную политическую активность, простирающуюся на всю территорию Восточной Европы — особенно на славянские земли. Если цели русской отечественной войны, в самом деле, являются только оборонительными, то эта оборона явно требует политического закрепления в форме господства на всей территории В[осточной] Европы.

Вся эта активность не случайно совпала с периодом успехов Красной Армии. Вероятно, в Москве царило настроение, которое можно было бы охарактеризовать, выражаясь по-сталински, как «головокружение от успехов». Переоценка собственных сил связана с недооценкой военных сил или политической серьезности союзников. Только этим можно объяснить неожиданную дипломатическую откровенность Москвы. Она принадлежит к той же категории политических ошибок, как и убийство Эрлиха и Альтера: «hybris»[2] говорили древние греки; «головокружение» говорит Сталин.

На фоне этой экспансивности особенно выразительным является воздержание, молчание, уклонение во всем, что касается общей с союзниками политики войны и мира. Москва так и не послала своих представителей в Касабланку. Она не хочет себя связывать общими решениями. Она ведет свою собственную политику, свою собственную войну. Мы не сомневаемся, что эта политика есть то, что называется по-английски power policy[3], чисто «реалистическая» политика силы, которая может использовать любые средства, любые мотивы и фикции мотивов для достиже-

ния своих целей. Но здесь и встает главный вопрос, решение которого не дается изучением текущих политических событий: каковы последние цели московской политики, где подлинная цель, где средства к ней, и где защитная дымовая завеса? В поисках этой подлинной цели приходится исходить из старой дилеммы: интернациональный коммунизм или национальная государственность? Спешу заранее оговориться, что я считаю эту дилемму грубой, неточной, для России 1943 г. устарелой. Но логически от нее неизбежно отправляться. Она все еще определяет мысль большинства людей — русских и иностранцев, — которые пишут и говорят о России. Итак: интернационализм или национализм?

В пользу интернационального коммунизма говорит старая революционная традиция большевизма, существование во всех странах коммунистических партий, поддерживаемых Москвой, — наконец, марксизм как официальная догма, все еще царящая в России. Сотни миллионов — вероятно, большинство человечества, видят в Москве символ социальной революции, миллионы работают активно для этой революции, получая из Москвы деньги, литературу и политические директивы. До самого прихода Гитлера к власти Сталин поднимал немецкий пролетариат к восстанию против Веймарской республики. Третий Интернационал не распущен. Его резиденция в Москве, его цели не подвергались пересмотру, при всей изменчивости его тактики. Русская интеллигенция по-прежнему обязана клясться Марксом, каким бы делом она ни занималась. Книги, изданные в начале 40-х годов по истории и литературе, даже авторами, не имеющими ничего общего с марксизмом, носят на себе марксистское клеймо. Старый русский профессор, защищая свои взгляды на характер социального строя древней Руси, должен ссылаться на какие-то заметки Маркса по русской истории, найденные в его черновиках.

Есть много серьезных и осведомленных людей, не ослепленных политическими страстями, которые разделяют этот взгляд. Для них Сталин все еще ученик Ленина, хотя и потерявший окончательно веру в революционную самодеятельность масс. Война для него есть лучший метод революции — не в ленинском только смысле дезорганизации старого мира, но и в прямом смысле завоевания ради организации коммунизма победоносным СССР.

Сторонники национальной гипотезы видят в Сталине прежде всего самодержавного хозяина России. Национализация русской революции началась еще в ленинскую эпоху. Долгое время ее основой была крестьянская и бунтарская стихия, сильно проступившая в гражданской войне. С крестьянством и его русским духом покончила первая пятилетка. Но она же вызвала к жизни новый правящий класс, не столько партийный, сколько хозяйственно-организаторский. Сталин стал во главе новой индустриальной революции, которая должна была укрепить «социализм в одной стране». Для этой новой конструктивной революции понадобились другие учителя, чем Маркс и Энгельс. Алексей Толстой в «Петре I» рисовал портрет Сталина, как тот хотел бы войти в историю. С пришествием Гитлера к власти умирают надежды на революционное движение в Европе. Растущая опасность со стороны Германии заставляет сосредоточить все силы на обороне страны. Начинается реабилитация русского патриотизма, русской истории. Один за другим князья, цари, полководцы, — строители государства Российского — поднимаются из мусорной кучи, в которую их сбросила революция, и возводятся на старый карамзинский пьедестал. Трактовка русской истории в учебниках порывает с либеральной традицией XIX и XX веков. Экспансия государства и строительство самодержавия становятся в центре изучения как факты положительные. Наряду с этим сохраняется еще культ народных бунтов и их вождей. На скрещении этих линий стоит образ царя Пугачева, который, очевидно, и призван завершить историческое развитие России. Коммунизм остается как высшее достижение русской истории — конечно, в новом, сталинском его понимании. В России под коммунизмом понимают национализацию всей хозяйственной жизни в рамках тоталитарного государства. Если Ленин говорил полушутя: «социализм есть советская (=партийная) власть + электрификация», то Сталин мог бы сказать: коммунизм есть самодержавие с полным уничтожением личной собственности.

Всякая великая революция, в каких бы универсальных идеях она ни родилась, завершается национализмом. Люди, отбившие родину от классовых врагов, начинают по-настоящему чувствовать ее своей. Нельзя — даже чужестранцу — безнаказанно управлять двадцать лет страной, не срастаясь с ней — по крайней мере, чувствами хозяина, собственника. В XVIII веке даже немка

на русском престоле вела русскую политику. И корсиканец, возглавивший французскую революцию, при всех своих универсальных планах, был прежде всего императором французов. Сталин из всех учеников Ленина больше всего годился для национализации русской революции. Он никогда не принимал участия в международном социалистическом движении, никогда не интересовался и теоретическими проблемами марксизма. Практик и организатор, он целиком вложился в дело русской революции, предоставив своим более культурным и ненавистным ему товарищам работу в Интернационале. Ныне он ликвидировал почти всех сподвижников Ленина. Вместе с ними расстреляны или удалены из партии тысячи настоящих ленинистов, места которых заняты новыми людьми, ничем не связанными с интернациональным движением. Случайны ли все эти чистки, московские процессы, смена почти всех дипломатов — в конце 30-х годов? Вряд ли они объясняются только личными столкновениями между Сталиным и Ленинской гвардией. Если же за ними стоят идеологические разногласия, то всего естественнее искать их в смене вех: в торжестве нового национализма.

В этой смене, происходящей по указке сверху, проводимой невежественными людьми, много безвкусия; господствует полное смешение стилей. Отрывки из Коммунистического Манифеста подаются в одной окрошке со славянофильством черносотенной окраски. Маркс и Александр Невский в одной галерее предков? Общее между ними пока найдено только в том, что Маркс назвал где-то собаками немецких рыцарей, противников Александра.

В этом синкретизме Марксу явно отведено почетное, но безвластное место учителя науки. Учителем жизни ставится Александр или его московские потомки. Сталин, вероятно, марксист в его собственном сознании. Это значит, у него не было ни времени, ни сил производить теоретическую ревизию Маркса. Маркс, рядом с Дарвином, остается висеть, как икона, в красном углу.

Коммунистические партии Запада? Они поставлены на службу государственных интересов СССР. В зависимости от изменчивой конъюнктуры московской международной политики, они меняют фронт с поразительной легкостью: сегодня они революционны, завтра поддерживают национальные правительства,

сегодня борются против войны, завтра — первые среди оборонцев. Они покорно подчиняются противоречивым директивам Москвы, потому что за сменой тактики верят в постоянство цели: мировой революции. С их точки зрения, русская государственность — вещь очень ценная, но служебная. Русская армия выполнит свое назначение, когда принесет миру коммунизм на своих штыках.

Кто-нибудь здесь обманут: иностранные коммунисты или русский народ. Чьи-то интересы приносятся в жертву.

На наших глазах Сталин разыграл и предал революционную Испанию, когда поддержка ее стала грозить военной опасностью России. Как будто обмануть Россию труднее, чем далеких и наивных товарищей. Партия в России давно уже срослась с населением. Обманывать пришлось бы не одних подвластных, но и правителей. Новый национализм, вливаемый в массы лошадиными порциями, воспитывающий целое поколение, может ли быть убран в один прекрасный день по манию Сталинской руки? Марксистов, воспитанных Лениным, пришлось перестрелять, — но их были тысячи. Как перестрелять миллионы новых сталинцев, молодых, крепких, уверенных в себе, строящих с такой жестокостью новую жизнь и с таким героизмом защищающих теперь свою Россию?

Признаемся, нам труднее осмыслить интернационалистическую концепцию сталинизма, чем националистическую. Но как, в действительности, велико расхождение между ними? Находятся ли они в настоящем противоречии?

Почти всякий национальный режим живет запасом сверхнациональных идей и принципов. Во всяком случае, это верно в отношении народов христианской культуры. Голый национальный интерес чрезвычайно редко осмеливается утверждать свое единовластие. Он любит облекаться в идеальные одежды: то это защита церкви, католичества, православия, протестантизма; то защита свободы, демократии или, наоборот, монархии, тронов и алтарей, порядка и собственности, наконец, цивилизации как таковой. Все это, конечно, не простой обман или самообман. Иногда идеалистические мотивы в политике на краткий срок — получают даже преобладание. Говоря вообще, они становятся мощными, когда получают подкрепление со стороны национальных интересов. В наши дни Англия и Америка сражаются

не только за свое существование (которому пока еще не угрожает непосредственная опасность), но в самом деле — как это ни удивительно для циников — за торжество свободы. Англия серьезно увлекалась освобождением угнетенных народов в Европе XIX столетия, а императорская Россия действительно принимала к сердцу судьбу турецких христиан, а не одни свои военные и экономические интересы на Черном море. Солдаты Наполеона, даже порабощая народы, были уверены, что несут им освобождение, в чем, со своей стороны, был уверен и Александр I, добивая Наполеона за рубежами России. С точки зрения русских национальных интересов кампания 1813–1814 годов была бесцельной — мнение, кажется, разделяемое Тарле [4] в наши дни. Но Александр освобождал Францию и восстановливал старый порядок в Европе не потому, что он был русским императором, а потому, что был добрым европейцем.

Почему же с революционной Россией это должно быть иначе? Она создала для себя строй, который она, или ее правящий слой, считает идеальным. Осуществленный — или осуществляемый — коммунизм наполняет ее чувством национальной гордости, заставляет смотреть свысока на весь мир. Но она готова предложить всему миру свои «достижения». Коммунизм — продукт русского исторического процесса, но он сверхнационален по своей форме. Советский человек хотел бы видеть его повсюду в мире, как англосакс — начала личной свободы и демократии. Он, вероятно, готов принести для торжества коммунизма в мире известные жертвы своей — и чужой — кровью. Но жертвовать для него своей родиной, только что открытой и любимой страстно и ревниво, — этого от него трудно ждать.

Таково как будто намечающееся решение первой русской загадки: Россия готова нести миру коммунизм — добровольно или насильственно, — но лишь постольку, поскольку это допускается ее национальными интересами. Здесь, как и выше, мы употребляем слово «национальный» в смысле государственном. Совпадает ли «национальное» для СССР с «русским», это вопрос дальнейшего рассмотрения.

Но первая проблема — коммунизма, который несет Россия — при национальном ее решении, принимает новую форму: является ли внешняя политика Советской России агрессивной или оборонительной? Конечно, оборонительный характер полити-

ки отнюдь не вытекает из национализма. Германия, Япония, Италия тому свидетели. Но о мировой опасности коммунизма можно говорить только при агрессивности России. Вопрос о мере этой агрессивности для Европы сейчас важнее вопроса о том, насколько серьезно Россия принимает к сердцу дело коммунистической революции.

По вопросу об агрессивности или миролюбии России не мешает заглянуть в ее прошлое. Так как СССР географически совпадает с императорской Россией (за вычетом западной полосы), то в своей внешней политике Союз является ее преемником. Один факт поражает нас на протяжении всей русской истории: это отсутствие у России четких границ. Она не имеет ни определенных географических рубежей (рек, гор), ни рубежей этнографических. В этом отношении она совершенно не похожа на национальные государства Запада – Францию, Германию, Италию, где границы государства приблизительно совпадают с пределом этнографических национальностей. Россия с XV века перестала быть чисто национальным государством. Прежде чем соединиться со своими южными и западными братьями, она перелилась через границу русской народности и потекла по необозримым равнинам Востока. Экспансия Российской Империи продолжалась непрерывно до последних ее дней, несмотря на тяжкий удар, нанесенный ей Японией.

Но до столкновения с Японией Россия не встречала на Востоке почти никакого отпора. Ее завоевания носили поэтому характер колонизации. На Западе Пруссия и Австрия стояли крепкой стеной, и здесь, со времени разделов Польши, русская граница была более или менее неподвижной. Единственный пролом в этой стене находился на юге, где слабость Турции открывала сравнительно легкую дорогу на Балканы. Таким образом, русская экспансия шла по линии наименьшего сопротивления (за исключением героических завоеваний Петра). Войны России не требовали поэтому (кроме Отечественной) напряжения всех ее сил – а главное, всего политического внимания. Народ не должен был вкладывать в них своей души, и оставался одним из самых миролюбивых народов Европы. В этом заключался главный парадокс русской империи. Она была агрессивной, не будучи воинственной, не бряцая оружием и не имея большого вкуса к военному делу. Образ России для внешнего мира и ее же образ

для русского общества были совершенно различны. Общество почти не замечало военного характера государства. Этот парадокс может быть сопоставлен только с экспансией Британской Империи, не нарушавшей глубоко цивильного характера нации.

Русская революция не могла не усилить империалистических тенденций государства. Мы говорили выше о националистическом исходе всякой «великой» революции. Но революционный национализм неизбежно принимает характер империализма. Взрыв насильственных чувств, направленных против внутренних врагов, не расходится бесследно после победы. Он перерождается, обращаясь на врагов внешних. Ненависть к русским помещикам и буржуям переходит в ненависть к панам и лордам, к буржуям вообще. Любовь к революционным символам, к демонстрациям, к жестам находит свое выражение в культе Красной Армии, ее парадах, ее марсовых играх. Через сто лет после Пушкина Россия снова приучилась бряцать оружием и грозить всему «капиталистическому», т. е. западному миру.

Вместе с тем новая государственная форма России, т. е. псевдо-федеративный СССР, оказывается чрезвычайно удобной для внешней экспансии. СССР в принципе не имеет никаких национальных границ. Любой народ, любое государство, совершив социальную революцию русского типа, может войти в состав этой «федерации». Больше того, экспансия при этих условиях перестает быть империалистическим грехом, а становится революционной добродетелью. Завоевание считается освобождением. Как это происходит на практике, мы видели на примере трех балтийских республик.

В том же направлении влияет и принципиальный аморализм, положенный Лениным в основу коммунистической политики. Нравственные и правовые моменты всегда были слабой сдержкой для насилия в международных отношениях. Но все-таки они существовали. Международное право развивалось, под его покровительством находилось место в Европе не одним великим державам, но и малым независимым народам. Макиавеллизм не означает непременно политики агрессии, но он развязывает ее, когда она диктуется империалистическими интересами. «Война дворцам, мир хижинам», — провозглашали идеалисты Французской революции. «Мир сильным, война слабым», — таковы не лозунги, но принципы современного революционного макиавеллизма.

И тем не менее, несмотря на все благоприятные условия для империалистической агрессии, Советская Россия с 1920 по 1939 год отличалась бесспорным миролюбием. Россия непрестанно ковала оружие, она подчинила военным задачам всю свою хозяйственную жизнь, истребила в голодовках миллионы своего населения, но оружия не обнажала. 1920 год, показавший военную слабость Красной Армии, тогда еще слишком юной, не был забыт. Несмотря на обиды, нанесенные России Польшей, Румынией — сравнительно слабыми ее соседями, она не решалась на реванш. Конечно, она выжидала новой мировой войны, когда возможно будет свести все счеты со старым миром. Москва страстно ждала этой войны, в то же время боялась, чтобы первый удар с Запада не поразил ее. Отсюда все ее усилия остаться в стороне от конфликта. Сначала отсрочить его (женевский — Литвиновский период [5]), потом выйти сухой из воды, хотя бы в качестве союзника Гитлера. Это говорит о чрезвычайной осторожности кремлевских вождей. Они легко играют с оружием, любят грозить, но не любят риска. Они хотят играть наверняка (в 1939–40 годах им показалась, что время беспроигрышной игры наступило; в этом, правда, они жестоко ошиблись).

В осторожности и медлительности Москвы есть много общего с политикой Петербурга («северный медведь»). Агрессивный или оборонительный характер ее зависит всецело от силы или слабости сопротивления. Пока мощная Германия и Япония стерегли советские рубежи, СССР не решался на войну по своему почину. Поражение Германии и Японии неизбежно открывает двери русской экспансии. Никакие естественные или национальные границы не остановят этой экспансии, пока она не встретит новой силы, заменяющей давление старых империй. Но, встретив эту силу, она, возможно, с большой легкостью войдет в свои берега. В противоположность Германии, ее экспансия не слишком дерзка и не знает жестов отчаяния. Героическая оборона Сталинграда и Ленинский Брест-Литовск — оба вмещаются в линию одной и той же большевистской игры: всегда трезвой и чуждой самоубийственного мистицизма германских нибелунгов.

Встретив устойчивые границы и военную силу, стоящую на страже их, Россия, по всей вероятности, вернется к задачам вну-

треннего строительства, среди которых организация армии и вооружение ее будет занимать по-прежнему первое место.

Если же этого не произойдет, если крушение Германии и Японии оставит после себя хаос и безвластие на обеих окраинах России, то для ее экспансии открываются широкие перспективы. Следующий вопрос, встающий перед нами, это именно вопрос о возможных направлениях этой экспансии: на Запад или на Восток?

Почему вопрос ставится в форме дилеммы, это тоже вытекает из всей русской истории. При чудовищности расстояния между германским и китайским рубежами Россия не может вести одновременно войны на западе и на востоке и, следовательно, не может вести одинаково активной политики в Европе и в Азии. Она должна выбирать.

Представим себе, что она выбирает Запад, на что как будто указывают уже аннексии 1939–40 годов. При идеократическом строе СССР всякие аннексии возможны только в виде полной советизации по русскому образцу. Оставляя в неприкосновенности язык и национальную внешность культуры, Москва добивается полной унификации своих провинций – республик. Никакая финляндская конституция не мыслима в новом советском самодержавии. Вдумаемся конкретно, что означала бы при таких условиях советизация Германии или Франции. Коммунистические революции в этих странах после войны вполне возможны. Естественная была бы и тяга их коммунистических правительств к соединению с Москвой. С точки зрения национально-русской, аннексия Германии или Франции, конечно, абсурд. Но при гипотезе коммунистической экспансии, в Москве многие ощущали бы соблазн расширения СССР на всю Европу. Мечта Ленина, наконец, была бы осуществлена.

Может быть, для Ленина эта мечта и была бы осуществимой. Она не осуществима для Сталина с его концепцией коммунизма как абсолютного самодержавия. Что понадобилось бы для превращения, например, Франции в советскую республику? Отрицательная часть программы хорошо известна. Расстрелять несколько миллионов буржуазии и интеллигенции, выдержать огромное множество людей в тюрьмах и лагерях, это вполне мыслимая вещь. Но положительная часть – перевоспитание масс – встретит огромные препятствия. Начала личной свободы, как и

личной собственности, во Франции уходят в глубину веков. Буржуазный дух (в обоих смыслах) пропитывает глубоко и крестьянство и рабочий класс. В Москве это знают и потому глубоко презирают западный пролетариат. На кого же, на какую «бедноту» будет опираться Марат новой Франции в деле создания новой расы рабов? Как ни велико могущество государственного насилия (мы-то теперь это слишком хорошо знаем), оно нуждается в чем-то другом: в ответном энтузиазме меньшинства — по крайней мере. В России новое самодержавие удалось потому, что оно пришло на смену старого. В России коммунизм строят внуки крепостных рабов и дети отцов, которые сами пороли себя в волостных судах. Это необходимое условие успеха. Какой пролетарий во Франции добровольно вернется в крепостной серваж?[6]

В Германии, где Гитлер расчистил наполовину дорогу коммунизму, другие трудности. Уровень ее технической культуры настолько превышает русский, что ее спецы, военные и гражданские, в общем коммунистическом отечестве должны будут занять первые места. При необыкновенной способности Германии к организации, ее коммунисты (вчерашние наци) примутся за организацию СССР. Это было бы настоящим реваншем побежденных. Колонизация России, предположенная Гитлером, осуществилась бы в форме иной идеологии. Эту опасность тоже должны понимать в Москве, где к тому же горячая ненависть к врагу не позволит признать его «товарищем». Месть, вероятно, слаще строительства мирового рабства.

Иное дело — восточная Европа. Мелкие народы, особенно славянские, воспитанные в вековом турецком или мадьярском гнете, представляют прекрасный материал для коммунизма. Буржуазия немногочисленна и легко может быть истреблена. Интеллигенция в значительной части теперь не окажет сопротивления — в России видят освободительницу, — крестьянство потеряет немного. По всей видимости, Югославии эта участь уже готовится. Коммунистическое панславянское движение как будто говорит об общей судьбе, ожидающей славянские народы. Едва ли для Румынии будет сделано исключение. В ожидании будущего, скромная молдавская автономная республика, входившая в состав Украины, теперь, расширенная Бессарабией, стала республикой федеративной. Для советской Румынии уже готовы административные рамки. Зато славянские страны западной культур-

ной традиции, Чехословакия и Польша, представляют трудности того же порядка, что и Франция. В Польше Москва еще может надеяться на исконную классовую рознь между шляхтой и крестьянством. Но необычайная сила польского национального чувства, опыт царской России, не сумевшей справиться с ним, как будто должны предостеречь от нового поглощения Польши.

Государства, которые не войдут в состав СССР, могут сделаться его вассалами. Чехословакия уже как будто примирилась заранее с этим положением. Москве выгоднее иметь послушного соседа, чем подданного-саботажника. За линией вассалов начинается область народов чуждых и враждебных. Запад и Север Европы не годятся для коммунизма. Они должны быть обезврежены, ослаблены, минированы внутри классовой борьбой и вовне международным соперничеством. Здесь братские коммунистические партии могут продолжать свою почтенную роль — пятой колонны Москвы.

Такова была бы политика Москвы, если бы она пожелала руководиться национальными интересами в их грубом и агрессивном понимании. Если же правы сторонники коммунистической гипотезы (Сталин ученик Ленина), то попытка полной советизации Европы после первых удач может привести к разложению России. СССР является живым и жизненным как продолжение России. СССР, включивший всю Европу, перестает быть Россией. Он вбирает в себя такие центробежные силы, которые должны будут привести к его распаду.

Иной характер имеет экспансия на Восток. Революционизировать Восток — материк угнетенных рас — чтобы бросить его, вместе с пролетариатом, на разрушение западного капитализма — было одной из любимых идей Ленина. Но в его схеме Восток играл служебную роль. Позже соотношение переменилось. Опыт насаждения коммунизма среди азиатских народов самой России оказался очень удачен. В общем, восточные народы принимают советскую культуру с гораздо большей легкостью, чем массы русского народа. Они никогда не знали свободы. Абсолютная власть и даже ее террористические методы кажутся им вполне естественными. Они легко принимали и старую русскую власть в эпоху завоеваний. Теперь же Москва несет им нечто весьма привлекательное: опьяняющее чувство национального и расового равенства с белым человечеством и легкое приобще-

ние к современной технической цивилизации. Через советскую политику неподвижно спавшие массы Востока впервые проснулись, увидели свет, получили книгу, приобщились через нее к мировой культуре. Восток — это единственное место, куда советская культура несет с собой нечто прогрессивное.

Осуществляется даже некоторое подлинное — не политическое — освобождение: женщины от власти мужа, рабочего человека от власти родовых старейшин, беков или ханов. Правда, одновременно происходит убийство старых традиций, уклада жизни, нравственных понятий, прежде всего религии. Это по необходимости повлечет за собой оскудение национальных культур, которые, утратив живописность фольклора и глубину духовной жизни, получают взамен лишь механические продукты цивилизации. Но до этого еще далеко. Пока Восток живет старыми запасами духовных сил, пробужденных к новой активности.

Народы тех же культур, часто тех же рас и языков, живут и за восточными рубежами России. И среди них пропаганда коммунизма в его восточном издании — как национально-расового освобождения — находила всегда благодарную почву. Здесь коммунистический агитатор идет по следам царского дипломата. Скрытая экспансия России в Персии, Монголии, Китае продолжается с большим успехом СССР. Монголия почти совсем советская республика. Северо-западные провинции Китая сильно обрусели. Глубокое проникновение в Китай было остановлено только Японией и национальным сопротивлением Чан-Кай-Ши. Как и на Западе, русская экспансия останавливается перед угрозой настоящей, рискованной войны.

Возможный разгром Японии открывает новые перспективы. Уход англичан из Индии, которая не в силах защищать себя и даже не нашла своего национального единства, делает вполне реальной фантастическую сказку русской Индии. Огромные пустыни средней Азии естественно продолжают русско-евразийские пространства и не представляют для русской экспансии никаких преград, кроме чисто технических.

Единственно серьезная сила в Азии (после гибели Японии) — это Китай. Но Китаю понадобится немало лет, чтобы организовать свои огромные возможности.

Что отличает восточную экспансию России, это присутствие в ней положительных и бескорыстных мотивов.

Современная Россия любит Восток, увлекается им и хочет содействовать его освобождению. Для нее это не почва для насаждения своей русской культуры, не «жизненное пространство» для вытеснения чужих, низших рас. Это естественное расширение своего организма не за счет иных, а в слиянии с ними. Братание с народами Востока происходит на каждом шагу, в каждой политической и культурной демонстрации советской России. В России представителям меньшинств отводятся всюду почетные места. А меньшинства в России почти все на Востоке.

Какая огромная разница в отношении к Западу! Запад силен и опасен. От него СССР отгородился глухой стеной. Двадцать пять лет стена разделяет новые русские поколения от Западной Европы. Путешествие туда для рядового гражданина невозможно. Общение с иностранцами опасно. Опасна даже переписка с заграницей. Двадцать пять лет печать окутывает Запад густым покровом лжи. Там капитализм и фашизм, там голод и вечная эксплуатация. Давно уже ничего не осталось от свободы. Над этим разлагающимся варварством СССР возвышается как страна культуры и свободы. Вероятно, массы верят в этот миф. У них нет других источников осведомления. Этот миф к тому же тешит их молодую национальную гордость. Запад перестал быть «страной святых чудес», местом паломничеств, второй родиной. Он стал дантовским адом. Только далекая Америка, страна технических чудес, вызывает внимание и сочувствие. Но в Америке ищут лишь второе издание советской России.

Иное дело Восток. Чтобы видеть его, нет надобности хлопотать о паспорте. Достаточно поехать в заволжские губернии (виноват, республики). Туркестан стал поэтической землей советских писателей и художников — тем же, чем был Кавказ в эпоху романтизма. Никогда еще в России так не изучали Восток, научно и художественно, основательно и любовно. Востоку прощают и его средневековые суеверия и варварские пережитки. Он не чужой, а свой. Он самое прекрасное, что есть в России.

Быть может, не случайно, что во главе России стоит не русский, а кавказец. Марксизм не убил в нем национального грузинского чувства. Свои личные вкусы и национальные пристрастия он в силах навязать всей России: грузинскую поэзию, грузинскую оперу. Не случайно, что учебники русской истории начинают ее с Урарту (Ванского царства), и отмечают судьбу Тифлиса при монгольском завоевании.

Сталин сам типичный человек Востока, который чувствовал бы себя неплохо на троне персидских шахов или преемников Чингисхана. Он почти не бывал в Европе, явно не любит ее, презирает ее революционное движение, даже ее коммунистические партии. Сейчас его Россия ведет свою вторую отечественную войну и, может быть, объективно спасает Европу от германского завоевания. Но можно ли представить себе Сталина новым Александром [7], освободителем и организатором Европы? Для Александра Европа была настоящей родиной (чужой была Россия). Александр читал даже Евангелие по-французски. Для него спасение Европы было своим, насущным делом. Но то же самое и для его преемников, даже для Николая I, даже для двух последних славянофильствующих царей. Никто из них не мог представить себе России вне круга европейских народов. Дело Петра Великого оспариванию не подлежало.

Революция с этим покончила. Сталин не станет плакать о гибели Европы. Напротив, гибель, или упадок Европы, сняли бы с него тяжелое бремя тревоги, развязали бы руки для иного, куда более интересного дела — на Востоке. Конечно, политика — дело извилистое. Война с Германией вовлекает Россию в целый ряд европейских проблем. Так как русская экспансия ищет места наименьшего сопротивления, то и западное направление ее нельзя считать исключенным. В своем развитии она может снова перевернуть сложившееся в СССР равновесие сил. Уже Балтийские республики с Галицией представляют для СССР серьезную политическую проблему. Но такая, какой она является сейчас, Россия мало заинтересована в судьбах Запада. Вернее, заинтересована отрицательно. По существу, ее политика на Западе оборонительная, что не мешает ей быть во многих случаях разрушительной. Так древние германцы, по Тациту, видели самую надежную защиту своих границ в пустых пространствах, их окружающих. На Востоке Россия готова к иной экспансии — завоевательной, агрессивной и в то же время культурно-творческой.

Это подводит нас к четвертой, последней загадке России — уже не столько политической, сколько культурной и духовной. Что такое теперь сама Россия — с точки зрения вечной тяжбы Запада и Востока. Россия родилась на свет со своей особой, греческо-византийско-славянской темой, поставленная историей

между христианским Западом — и магометанским Востоком. В Киевское время она дышала легко и свободно обоими легкими, не изменяя себе и участвуя в культурном общении с Западом и Востоком. Ее дальнейшая история есть колебание между двумя мирами. В Москве она создает восточное царство, наглухо отрезав себя от Запада. В Петербурге она возвращается на Запад не без забвения своей собственной исторической темы, которую она мучительно ищет и находит в середине XIX века. Революция снова бросает ее на Восток. Падает даже та преграда от него, которая в старой Москве дана была православной верой. Сейчас измена России ее исторической — греческой и христианской — миссии очевиднее, чем когда-либо в эпоху московских и петербургских ее блужданий.

Сотни тысяч людей западного воспитания, отчасти и крови, убиты или выброшены вон из России. На смену им Восток шлет своих пробудившихся сынов, которые занимают все новые культурные позиции. Сам русский человек глубоко меняется психологически и даже физически. В его сложном, славяно-восточном типе все больше проступают монгольские черты. Достаточно взглянуть на лица красноармейцев, на портреты военных вождей. Конечно, перемена в русском типе, прежде всего, духовного порядка. Погас религиозный свет, который некогда одухотворял и некрасивое русское лицо. Выросло поколение, которое никогда не молилось, никогда не думало о вечности. Занятое звериной борьбой за существование, в лучшем случае вопросами политики и материалистической науки, привыкшее считать злобу и безжалостность за добродетель воина и революционера, это поколение страшно огрубело. Преобладание физической природы сказалось внешне монголизацией. Для этого поколения Восток — не Индия и Китай с их древними утонченными культурами — а ближний туранский Восток оказывается своим, родным, более притягательным даже, чем великорусский, почти вымерший фольклор.

И здесь Блок оказался пророком. В своих «Скифах» он дал новый образ России, уже не славянской, а евразийской. Он верно уловил отличие русско-скифского типа от монгольского. Ложь его поэмы в другом. Идея скифов, открывающих путь монголам для разрушения Европы, не соответствует никакой реальности. Вне России уже нет никаких монголов, способных грозить хри-

стианскому Западу. Все боеспособные монголы — в рядах Красной Армии.

Тенденция этого развития явно указывает на перерождение русского национального сознания в евразийское. Может быть, на наших глазах возникает новая нация, связанная с русским языком и территорией, но столь же отличная от нее, как Византия от классической Греции. Однако этого может и не случиться. Резкий оборот русского колеса на 90 градусов к Востоку еще может выпрямиться. Это зависит прежде всего от работы подсознательных духовных сил, действующих в самой России, но зависит также, не в малой степени, и от Запада.

Сумеет ли Запад заградиться (с очень малым напряжением) от русской (не очень энергичной) экспансии в Восточной Европе? Сумеет ли он сам решить свои собственные — социальные и национальные проблемы, и, собрав воедино свои еще немалые духовные силы, поверив опять в свою тысячелетнюю правду, начать новый культурный расцвет? Если да, то для него открыта возможность дружеских взаимоотношений с Россией, обмена культурными ценностями, которые мало-помалу способны будут преодолеть русский суеверный страх перед Западом и вывести Россию из ее вольной изоляции. Тогда, видя, как Запад решает свою социальную проблему без попрания личности и свободы, может быть, пошатнулась бы и русская вера в спасительность самодержавия. Открылись бы пути для эволюции советского строя в направлении к новым формам демократии.

Если же нет, если Европа не в состоянии преодолеть своего хаоса или малодушия, тогда будущее ее мрачно. В гражданских и национальных войнах она быстро скатывается к своему упадку и становится окраиной материковой Евразийской Империи.

Как бороться с фашизмом?

1

Как будто странно задавать такой вопрос во время войны. Разве не борются с ним сейчас пушками, танками, бомбовозами — и разве его военный разгром не вырисовывается уже явственно на горизонте — хотя и не близком?

Не знаю, много ли сейчас оптимистов, верящих в то, что победа решает все вопросы мира, и что поражение Германии есть окончательное поражение фашизма. Чтобы думать так, нужно быть уверенным в том, что настоящая война есть война чисто идеологическая, что она идет между фашизмом и демократией, и, наконец, что Германия и фашизм одно и то же.

Да, было время, когда разделение между воюющими народами проходило довольно четко по политическому водоразделу. В 1939 году, действительно, демократия объявила войну фашизму. Это создавало необыкновенно чистую политическую атмосферу, в которой самые трезвые и ответственные государственные люди мечтали вслух о федерации свободных народов. За эту чистоту мы заплатили дорогою ценою. Фашизм оказался сильнее демократии. Франция пала его жертвой — пала прежде всего потому, что сама не готова была к «чистой» войне. Она сама разрывалась внутренним фашизмом и скрытой классовой войной. Ее верхи были за Гитлера, низы за Сталина — тогда шедших вместе. Ее демократия оказалась без защитников.

Эта чистая, но почти безнадежная ситуация изменилась с развитием войны. Для всех почти народов Европы война приняла характер борьбы за существование. Даже Англия почувствовала это летом 1940 года. Но в такой борьбе не приходится особенно приглядываться к чистоте своих союзников; дорожат всякой силой, какую можно использовать. Фашистские и полуфашист-

ские страны оказались союзниками демократий. Одна, по крайней мере, демократическая страна — Финляндия — идет с Гитлером. Карты перепутались с момента нападения Гитлера на Россию. И лишь с этого момента явились шансы на нашу победу.

Но факт остается фактом. Сейчас не приходится говорить об идеологической чистоте. Война за демократию [a] — за свободу — сплелась с войной за существование; и не одни демократии будут строить будущий мир.

Это, конечно, не лишает настоящую войну ее идеологического содержания. Она остается освободительной войной прежде всего, и сейчас все надежды на сохранение свободы в мире по-прежнему связаны с победой союзников. Ведь совершенно ясно, что с победой Гитлера в Европе не осталось бы ни одной свободной страны; победа же союзников обеспечит свободу, по крайней мере, на известной территории, создавая возможность для ее укрепления и расширения в мире.

С поражением Германии уничтожается один из самых гнойных очагов фашистской заразы, откуда она расползалась во все страны, соперничая, и очень успешно, с распространением коммунизма. Но фашизм остается: остается как строй в одних государствах, как угроза или скрытая болезнь в других. В 1918 году демократия имела все основания торжествовать победу над реакцией. Но именно война, как мы теперь видим, нанесла ей тяжелый удар. Рождение фашизма и его постепенное развитие в Европе есть одно из следствий первой войны. Экономический хаос, созданный войной, нищета и классовые столкновения в побежденных странах, самый дух насилия, в котором воспитывался цвет Европы в течение четырех лет — привычка решать все вопросы мечем, а не сговором — создавали условия для фашистских революций.

Настоящая война застает правительства демократий более зрелыми, более подготовленными к послевоенным кризисам. Но кризисы ожидают нас — кризисы подобные 1918–1919 гг., но, может быть, более острые. Все те проблемы — капитализма, безработицы, национальных и расовых конфликтов — перед которыми мир стоял в бессильной прострации в 1939 году, встре-

[a] В настоящей статье слово «демократия» везде употребляется в смысле политической свободы — терминология, может быть, неправильная, но всюду принятая.

тят его на следующем повороте истории. Ничто не решено, все ожидает решения — в условиях еще более трудных, чем до войны. Ибо, хотя война объективно делает более податливой, пластичной социальную массу, она же создает новые объективные препятствия для работы над ней: безмерно увеличивая сумму отрицательных, отталкивающих сил — сил ненависти и злобы. Но в этой ядовитой послевоенной атмосфере и размножаются фашистские микробы, первоначально ничтожные и незаметные. Кто мог бы разгадать будущее нацизма в 1925 году или большевизма в марте 1917 года?

2

Нет, демократия не может рассчитывать на одни «пушки» (простите за архаизм). Генералы могут только расчистить или слегка очистить для нее поле действий: «Теперь ваше дело, господа. Вам дается историей еще десять — много двадцать лет — последняя передышка. Не сумеете справиться, пеняйте на себя». И эти воображаемые слова, которые слышатся уже теперь сквозь грохот снарядов, должны звучать не безнадежностью, а вызовом. В них призыв к действию, к борьбе, в них живет последняя, доступная нам надежда.

Демократия должна напрячь все силы своего ума, воображения и воли в борьбе со своим страшным врагом. И прежде всего отказаться от иллюзий, все еще соблазняющих ее, — эти иллюзии стоили уже нам так дорого. Видеть правду, видеть истинное лицо врага — самое элементарное условие победы. Дон-Кихоты не побеждают; всего менее Дон-Кихоты, жаждущие покоя. У демократий сейчас слишком много льстецов, убаюкивающих ее, по рецепту Горького, «золотыми снами». Но ей нужны, прежде всего, беспокойные и бестактные оводы, жалящие ее, как Сократ афинян. Если народные массы будут по-прежнему отравляться иллюзиями военного времени, то к моменту мира они будут неспособны к политическому действию. Или же действие их сведется к новому самоубийству демократии...

Вопрос о том, как бороться с фашизмом, решается различно, в зависимости от того, что понимают под фашизмом. Если фашизм — это Германия, или Япония, то решение заключается в ко-

нечном уничтожении этих стран. Впрочем, для целого ряда народов Европы главный враг, подлежащий истреблению, носит другие имена, заслоняющие или дополняющие Германию: Италия, Венгрия, Румыния, Болгария, даже Сербия (для хорватов)... Стоит ли останавливаться на этих заблуждениях, хотя и широко распространенных, но столь явно несостоятельных: они подменивают анализ внутреннего недуга, угрожающего существованию нашей цивилизации, указанием внешних врагов — отличных для каждой страны, — руководясь голосом национального чувства. Германию легко вынести за скобку: в этой стране произошла, действительно, кристаллизация мировых фашистских энергий. Но они всегда могут найти другие фокусы, другие очаги.

Более серьезно и столь же вредно другое представление, широко распространенное в рядах демократий: это убеждение в том, что фашизм приходит справа, являясь боевой организацией консервативных сил старого общества. Из этого убеждения вытекает непосредственно, что главной мерой антифашистской обороны является объединение всех «левых» сил, создание «народных фронтов» и нанесение правым как можно более сокрушительных ударов. В результате происходит — опыт был проделан неоднократно — сплочение реакционных сил, их действительная фашизация и создание атмосферы гражданской войны, в которой рождается фашистская диктатура.

Роковая ошибка этого взгляда — в том, что фашизм не есть консервативная, а скорей революционная сила, что он стремится не к сохранению старого, буржуазно-либерального общества, а к построению нового, принципиально отличного. А так как он берет для этой постройки некоторые крайне-правые идеи и сочетает их с другими, крайне-левыми, то обычные характеристики левого и правого к нему абсолютно не подходят. Азбука современной политической грамотности должна начинаться с того, чтобы отучиться от этих определений, сложившихся в эпоху борьбы буржуазного либерализма с абсолютизмом. Для социальной революции нашей эпохи, которая по своим тенденциям противоположна либеральным революциям старого времени, нужны совершенно другие определения.

Движущие силы фашизма, тот динамит, которым он взрывает старое общество, не создаются, а находятся им в его недрах. Эти силы доселе разрывали общество на части, распределяясь меж-

ду обоими лагерями гражданской войны. Правые имели монополию националистических чувств, левые — социальной справедливости. Фашизм берет оба этих самых могучих рычага нашей эпохи и соединяет их для своего революционного действия. В этом секрет его успехов. Эти силы, законные и подчас благородные сами по себе, в условиях великого кризиса уже взвинчены, доведены до болезненного пароксизма. Фашизм берет их в этом раскаленном состоянии и направляет их на разрушение всех слоев культуры, которые могли бы оказать сопротивление их неограниченному разливу. Отсюда его революционность, которую он постоянно подчеркивает. Он действительно разрушает старую собственность, семью, церковь, аристократические классы, что делали, или пытались делать революционеры XIX века. Но он распространяет свое разрушение и на науку, искусство, нравственное сознание гуманистическо-христианской эры, перед чем останавливались самые смелые из революций прошлого. Сообразно своему двуликому характеру, фашизм притягивает к себе людей противоположных лагерей. К нему идут националисты, для которых мощь («величие»!) страны дороже привилегий господствующих классов. К нему идут специалисты, для которых организация общественного хозяйства дороже свободы. Крайних правых и левых объединяет вкус к насилию и динамический имморализм. Ницше, Сорель [1] и Ленин являются их учителями. Если насилие Ницше кажется нам скорее «правым», а насилие Ленина — левым, то Сорель, пришедший слева, отливает всеми цветами политического спектра. В этом смысле он является подлинным предтечей фашизма.

Типическая обстановка, в которой рождается фашизм, есть ожесточенная борьба обоих соперников. Исход этой борьбы определяют средние, умеренные слои, которые, по соображениям оппортунизма и выбора меньшего зла, оказывают поддержку одному из флангов. Обычно консерваторы предпочитают правый фашизм, радикалы и социалисты — фашизм левый. Борьба кончается не союзом между двумя врагами, но чем-то политически равнозначным такому союзу. Победитель, кто бы он ни был, утолив свою ярость в крови противника, берет к себе на службу всех перебежчиков, вместе с ними осуществляя подавление средних слоев. Консерваторы и демократы одинаково вырезываются, в прямом или переносном смысле, в награду за свое малодушие.

Не только люди, но и идеи побежденной партии используются для наступления «нового порядка». Национализм становится социалистическим, социализм приобретает национальную окраску. Через несколько лет или десятилетий они сближаются почти до тождества, если отвлечься от национальных особенностей, которые окрашивают фашизм в каждой стране.

Имя «фашизм» создано в Италии и не принимается германскими наци, а тем более коммунистами. Но если согласиться употреблять его в широком смысле, обнимающем хотя бы Италию и Германию вместе, то всякое определение фашизма, которое могло бы быть органически выведено из анализа нового строя этих двух стран, неизбежно покроет все тоталитарные режимы нашего времени. Возьмем политический строй, столь характерный для фашизма и небывалый в истории: соединение единоличной диктатуры вождя, единой правящей партии и пассивно-революционного возбуждения масс, непрерывно поддерживаемого аппаратом партии. Эта система создана, конечно, Лениным и воспринята всеми его соперниками — учениками. Сама идея тоталитарности, т. е. государственного всевластия во всех сферах культуры — тоже революционного происхождения. Всякая «великая» революция (т. е. Французская и Русская — других еще не было) развивает тоталитарность из своих собственных недр: из пафоса абсолютного разрушения и абсолютно нового творчества. Но революционный абсолютизм, вооруженный мощью современного государства, ищет в истории оправдания и образцов. И он находит их в тоталитарных культурах древности: в Римской империи, в германском средневековье, в Москве Ивана Грозного. Уже этот суммарный анализ показывает, какой осмос происходит между силами «реакции» и «революции», между правыми и левыми ядами, разлагающими демократию.

3

Из этого анализа прямо вытекает первый постулат антифашистской обороны: необходимость *борьбы на оба фронта.* Фашизм приходит справа и слева одновременно. Все односторонние «народные» или «национальные» фронты в настоящее время кончаются гибелью демократии. Враг вводится внутрь осаж-

денной крепости и рано или поздно открывает ворота для штурмующих колонн (какой архаизм!). Так погибли, на наших глазах, демократии в России, в Германии, во Франции. В Германии правые пытались использовать Гитлера, во Франции и правые и левые опирались на фашистских или коммунистических союзников. Не всегда это делается по наивности и слепоте. Можно не ошибаться в истинных намерениях временных союзников и все же предпочитать их. Из чувства слабости, из неверия в свое собственное знамя, люди начинают выбирать меньшее зло. Начинаются нескончаемые и глубоко безнравственные споры: что лучше — фашизм или коммунизм? Не то, чтобы спор был совершенно беспредметным, многое можно сказать по существу pro и contra. Безнравственна молчаливо подразумеваемая готовность покориться без боя одному из врагов — менее страшному. Можно безошибочно сказать: где начинается спор о том, кто лучше, там уже совершается, сознательно или бессознательно, предательство демократии. Люди, поверившие в то, что Гепеу лучше Гестапо, или наоборот, начинают постепенно идеализировать предмет своего выбора и в решающий момент склонятся перед ним. Идеализация фашизма среди демократии самое распространенное явление. В настоящее время почти все книги, которые пишутся о России, наносят раны демократии в своей стране — в Америке или в Англии. То же самое можно было наблюдать до войны по отношению к Германии. Неверно то, что будто бы только консерваторы содействовали успехам гитлеризма. Среди радикальной молодежи Англии и Франции, особенно на почве пацифизма, было широко распространено стремление «понять и простить». Люди, не принимавшие антисемитизма и националистической истерики, восторгались идеализмом гитлеровской молодежи, ее жертвенностью, ее «горением». Сознавая слабость жертвенности в своей собственной, демократической среде, они готовы были преклоняться перед жертвенностью, направленною на ложные или прямо преступные цели. Впрочем, и эти цели начинали казаться не столь отвратительными на фоне радикального отрицания собственного, домашнего зла. Нетерпение и желчность, характерные для демократического радикализма, заставляют многих рассуждать: «Хоть хуже, да по-иному». Или: «Хуже не может быть». Отсюда один шаг до прямой измены. И вот юный «идеалист» записывается в фа-

шистскую или коммунистическую партию. Впрочем, и не дойдя до этого, он оказывается пятиколонником, подготовляющим наступление врага.

Итак, вторая заповедь антифашизма: *непримиримость*. Надо предоставить историкам их опасную объективность и воздержание от нравственной оценки. Последний или абсолютный суд принадлежит Богу. Но для того, чтобы жить человеческой, а не животной жизнью, надо судить себя и других. Общество, утратившее способность оценок, умирает, т. е. поглощается другим, более жизнеспособным, хотя бы и более примитивным. Когда дело идет о самом существовании культуры, т. е. нашей иерархии ценностей, тогда приходится быть суровым в самозащите: ни признание полуправд и полуистин, ни сочувствие молодой биологической энергии, ни любовь к родине не должны смягчать нашего отвращения, ужаса, нашей ненависти к злу. Мы все знаем: зло и добро не распределяются начисто между партиями, нациями, культурами. Но, может быть, никогда еще в истории внутренний, незримый водораздел не приближался так близко к культурно-политическому. Защищая демократию, мы не себя защищаем и не существующее общество со всем его злом, а великие принципы, на которых оно построено, и великие возможности, которые в нем заключены.

Третья заповедь лояльного демократа нашего времени — *точная мера* вещей и слов. Преувеличение, которое было недавно законной риторической фигурой и необходимой формой радикального и революционного слова, становится общественной опасностью. Я имею в виду прежде всего соблюдение меры в отрицании, в критике, но также и в сравнении социальных явлений. Сколько раз приходилось слышать, например, что положение свободного пролетариата хуже рабства или средневекового крепостничества. И вот он, действительно, закрепощен во всех фашистских странах, и наполовину он сам виноват в своем закрепощении: потому что поверил демагогам, твердившим ему, что его свобода хуже рабства. Разве не приходилось слышать, что ГПУ (или Гестапо) ничем не хуже Intelligence Service'a [2] или других полиций демократических стран? Ваше указание на миллионы замученных жертв отводится ссылкой на избиения во всех полицейских участках мира. В философском обществе принято снобировать аргументы от количества. Но разве не количе-

ством зла, насилия, лжи измеряется относительное нравственное достоинство культуры? Разве все равно для меня, для каждого из нас, — даже если мы являемся абсолютными противниками смертной казни, — казнит ли государство одного человека в месяц или тысячу в одну ночь? Или как казнит: по суду ли, с возможностью законной защиты, или в глухом застенке, без свидетелей, без отчета, даже без интенции справедливости? Стереть все отличия, размешать все в грязной кровавой водице, чтобы в ней ловить свою рыбу, — такова тактика фашистских демагогов, на которых работает, к несчастью, столько прекраснодушных или озлобленных, но честных людей.

Но, говоря о точной мере вещей, надо иметь в виду и другое нарушение меры: в раздутии, «инфляции» подлинных ценностей. Фашистские государства паразитируют на некоторых подлинных человеческих ценностях. Главные из них, как мы сказали выше: любовь к Родине и к справедливости (равенству). Вырванные из целостной полноты органических культур, развиваясь безмерно за счет остальных тканей общественного организма, эти подлинные ценности становятся раковыми опухолями, несущими культурную смерть. Процесс ракообразования начинается уже в демократическом обществе, в его предфашистской стадии. С потерей духовного равновесия и цельности, самые законные и даже великие вещи становятся смертоносными. Болезненно-распухшая любовь к справедливости делает ленинистом или троцкистом, любовь к родине — гитлеровцем или сталинцем. Даже в любви к добру нужна мера, ибо и добро нередко становится источником человеконенавистничества. Все эти «прекрасные уродства» могли быть терпимы в недрах старой, прочной культуры, могли придавать ей вкус и остроту: сейчас все пряное, терпкое, едкое становится отравой. Национализм, равенство, возмездие — мы должны быть настороже по отношению ко всем законным и даже прекрасным вещам, если они притязают на суверенитет.

4

Вышеуказанные максимы антифашистского поведения относятся и к обывателю и к политику, к каждому из нас. Все мы, и граждане и бесправные беженцы, в личных отношениях, в серь-

езных речах и праздной болтовне содействуем образованию известной общественной ауры, благоприятной или враждебной фашизму. Недостаточно проклинать фашизм на словах, если вся психическая установка разлагает демократическое сопротивление. Это особенно относится к нам, русским, – с нашей горечью поражений, с нашим скептицизмом и обостренным национальным чувством. Блюсти себя, дисциплинировать свое воображение, свои страсти, свой язык – это наш первый долг, выражающийся в этих трех – конечно, примерных – заповедях: на два фронта, непримиримость, чувство меры.

Но, конечно, не обывателю одолеть фашизм. Борьба с ним требует величайшего напряжения всех политических и духовных сил демократии. Анализ фашизма показывает, что он рождается из глубоких внутренних недугов нашей цивилизации. Исцеление их, всестороннее обновление жизни и культуры – не будем употреблять двусмысленного слова «революция» – единственно верная победа над фашизмом. Борясь с ним – словом, властью, оружием – надо строить, сейчас уже, немедленно, новое общество, строить под огнем войн и революций, как евреи строили некогда стены разрушенного Иерусалима – с мечом в руке. Консервативная установка не только не достаточна, она просто губительна. Старая жизнь, привычный уклад, – business as usual [3], – со всем придется проститься в поисках новой жизни. Ибо старая жизнь безнадежно обветшала, и не может даже держаться на инерции. Говорят, это поняли в Англии. Поймут ли это до конца войны и в других странах демократии? От этого зависит, в конечном счете, судьба мира, не одной демократии.

В строительстве новой культуры фашизм является не просто чертом, от которого открещиваются, но и Мефистофелем, к которому надо прислушаться. В своей критике старого мира фашизм, или коммунизм, во многом прав. Без этой правды отрицания он не мог бы повести за собой молодые поколения. Но и в своей положительной, или разрушительной работе, где он выявляет свое звериное лицо, он может ставить вехи для будущих путей демократии. Дело в том, что основные проблемы современного общества везде одни и те же. Они поставлены жизнью, а не прихотью революционеров. Было бы безумием отмахиваться от них только потому, что фашизм сделал на них свою карьеру. Да он и родился-то на свет только потому, что мы не сумели

решить их, или даже понять их значения. Вот почему одна из опасностей послевоенного времени — это опасность консервативно-либеральной реакции, как ни странно звучит сочетание этих слов. Я разумею под этим возвращение к традициям прошлого века, оживление — не свободолюбия — а либерализма, в отрицательном смысле этого слова: невмешательства, бездействия, стихийности социальных процессов, ведущих к пропасти. Отвращение к фашизму легко может привести к возрождению ложной либеральной установки на 10—20 лет, до нового революционного или военного взрыва. Борьба с фашизмом осложняется еще более этими положительными задачами. Тот фонд либерализма, который давно стал натурой средних классов буржуазного общества, этот фонд, наиболее надежный в смысле антифашистской сопротивляемости, сам становится серьезной опасностью. Средние классы должны проснуться к сознанию революционной ситуации мира, чтобы иметь надежду справиться с ней. Если радикалы должны научиться смотреть на фашизм с отвращением, то консерваторам-либералам не мешает кое-чему поучиться у фашизма: пониманию остроты современных проблем.

В каком направлении следует искать выхода из тупика: фашизм-либерализм, может уяснить беглый взгляд на основные из проблем, поставленных, но не решенных фашистской революцией.

А. Проблема власти и свободы

Основная трудность состоит в том, что борьба за свободу требует частичной жертвы свободой. Эта жертва противна всем вкусам и привычкам демократии, — и это очень хорошо, что противна. Но демократия, не способная принести эту тягостную жертву, погибает: жертва свободой необходима, как в борьбе с наступлением фашистской революции, так и в тяжелом труде построения нового общества. Фашизм пользуется свободой, предоставляемой ему демократией, чтобы раздавить эту свободу. Вооруженные армии революции маршируют по улицам столиц, совершают нападения, убийства, репетируя гражданскую войну, и шаг за шагом разрушают всю, и без того слабую оборонительную организацию государства. Но закрытие фашистского лист-

ка, роспуск митинга вызывают крики о «диктатуре», попирании свободы. Потеряв в этой игре три-четыре величайших государства Европы, демократии должны бы стать умнее. Равенство оружия в войне необходимо — все равно, гражданской или международной. Слово не оружие против кулака, кулак против пулемета. Это ясно. И все же даже во время ужасной войны, потрясающей все основания мира, журналисты демократии жалуются на военную цензуру, которая мешает им разбалтывать военные тайны или, ради сенсации, сеять раздор между союзниками.

Каковы пределы необходимого ограничения свободы в самообороне демократии? Их нельзя указать заранее; они диктуются степенью опасности. Даже прямая диктатура не противоречит принципам демократии, но является ее необходимым и крайним дополнением — подобно цареубийству в самодержавной монархии. Вашингтон и Клемансо были демократическими диктаторами. В Римской Республике диктатура, точно ограниченная временем, была гражданской магистратурой.

Но говорят: ограничение свободы воспитывает тоталитарные привычки. Оно разрушает те самые ценности, за которые мы боремся. Фашизм сменяет легко буржуазную диктатуру, созданную для противодействия ему (пример — Австрия).

Опасность, бесспорно, существует. Мир знает немало примеров, когда демократический диктатор превращался в тирана. Но принципиальный отказ от диктатуры равняется самоубийству демократии, т. е. сдаче той же самой тирании без боя.

Думается, выход из противоречия лежит не во внешних ограничениях диктатуры, а в ее духе. Если пафос ее — подлинно пафос свободы, тогда можно не бояться ее суровости. Она сама ощущает свою миссию как временное, необходимое зло. Она почти стыдится того, что делает по необходимости. Демократия в диктатуре подобна демократии на войне. Она не может любить войны — там, где рождается культ войны, свобода умирает. Умирает она и там, где рождается культ власти. Два пафоса — власти и свободы — несовместимы. Не только одна из них должна подчиниться, но, в категориях абсолютного, одна должна представляться для другой злом. Для христианской демократии свобода есть абсолютное благо, власть — относительное зло. Что не мешает, конечно, иным формам свободы становиться тоже относительным злом, которое должно подавляться относи-

тельным злом власти. Для тоталитарного сознания власть абсолютное благо, свобода — зло, в лучшем случае терпимое. Разница именно в пафосе, т. е. в морально-религиозном отношении. Скептическое отношение к свободе опаснее самого сурового ее подавления. Интеллигент, пожимающий плечами при слове «свобода» и отказывающийся понять ее смысл («слово без всякого содержания»), худший враг свободы, чем диктатор, ее распинающий. Внешнее насилие может пробуждать любовь к свободе в охладевших к ней сердцах — при условии, если не угасла ее последняя искра. Но фашизм стал возможным в Европе потому, что целое поколение философов, юристов, писателей развенчивали свободу. В странах, оставшихся верными ей, она утверждается религиозно. У нее есть защитники, которых не покинул дух пророчества. Это дает надежду, что они не предадут ее и тогда, когда вынуждены будут взяться за меч для ее защиты.

Власть — относительное зло, становящееся относительным добром в защите свободы, жизни и справедливости. В наше время ее значение вырастает не только в обороне демократии, но и в строительстве новых, прежде всего экономических форм жизни. В течение веков демократия в буржуазном обществе развивалась в борьбе с монархическим и полицейским государством прошлого. Все ее отношение к государству и власти было построено на недоверии. Военно-судебно-полицейские функции исчерпывали призвание государства. В капиталистическом обществе свободная инициатива брала на себя все остальное. Чем меньше власти, тем лучше. Такова была демократическая установка XIX века — благородная и соответствующая своей эпохе. Теперь другое дело. Частное хозяйство достигло такой мощи, которая в дезорганизованности своей взрывает и общество и государство. Для спасения свободного общества государство вынуждено взять на себя геркулесовское бремя социальной реорганизации. Современная демократия нуждается в твердой власти, но вся прошлая традиция ее учреждений оставила ей в наследство власть слабую, разделенную, подорванную систематическим недоверием. Для настоящей эпохи все демократические учреждения нуждаются в реформах. Здесь не место обсуждать сравнительное достоинство различных проектов. Скажем только, что консервативная позиция антифашистского либерализма просто самоубийственна. Если во Франции, например, восстано-

вить строй, существовавший до разгрома и внутренне разложившийся до конца, он не выдержит первого толчка и будет сметен любой фашистской волной.

Чтобы провести сложную и глубокую перестройку экономических основ общества, которая была бы эквивалентом «социальной революции», власть должна обладать авторитетом и прочностью, обеспечивающими ее на долгие годы кризиса. Вынужденная глубоко ранить интересы всех классов ради общего спасения, власть не должна зависеть от сменяющихся настроений общественного мнения. Получившая от нации мандат на New Deal [4] или на «Социальную Революцию», демократическая власть должна вести твердой рукой свой народ, как Моисей через пустыню, сквозь все лишения и жертвы переходного времени. Народное представительство, поддерживающее власть, перестает быть представительством интересов и настроений, а становится отбором компетентностей. В какие окончательные формы выльется демократия трудового общества, это дело будущего. Идеал XIX века, идеал безвластия, имеет для себя большое нравственное оправдание. Но он не для нашего времени, не для эпохи борьбы и странствий. Нужно помнить: если демократия не сумеет создать власти, способной провести социальное преобразование, тогда останется только путь революции. А в наше время революция — это фашизм.

Б. Проблема нового социального строя

Здесь по необходимости приходится быть еще более кратким. Современные экономические проблемы отличаются чрезвычайной сложностью. Профану трудно говорить о том, в чем нет и тени согласия между специалистами. Но говорить нужно, потому что жизнь каждого из нас, и жизнь общества в целом зависит от решения этих проблем. Профану ничего не остается, как изложить свое убеждение или результат своего жизненного опыта.

Мы были свидетелями таких событий, которые должны раскрыть глаза и тем, кто не хочет видеть противной истины.

Настоящая военно-революционная полоса истории открылась в 1929 году сначала американским, потом мировым экономическим кризисом. Этот кризис был, видимо, беспричинным,

то есть имел какую-то глубокую органическую причину. Одно из возможных и, нам представляется, наиболее вероятное объяснение состоит в том, что современный капитализм не может развиваться без непрерывной внешней экспансии. Но внешние рынки постепенно закрываются для него вместе с индустриализацией отсталых и колониальных стран: России, Японии, Канады, Вост[очной] Европы, даже Индии. Внутренний рынок не может поглотить продуктов непрерывной капиталистической экспансии. Но стабилизировать капитализм, или заморозить его энергию значит убить самую его душу. Это конец капитализма. Миллионы или десятки миллионов безработных, уничтожение продуктов и искусственное понижение техники – не временное, а нормальное состояние его одряхления. Это означает для масс если не голод, то потерю веры в будущее, деклассированность и отчаяние. Англия спаслась от революции, взяв на государственное содержание миллионы рабочих, и тем унижая и развращая их. Америка пошла, было, смело по пути перестройки всего народного хозяйства. Здесь рисовался просвет в будущее – не только для нее, но и для всех стран демократии. Это развитие было приостановлено – не только войной, но и реакцией всех капиталистических сил, страшно могущественных в этой стране и вернувших себе свою самоуверенность с выходом из кризиса.

Сейчас эта хозяйственная реакция идет под лозунгом свободы. Экономическая свобода, похороненная везде в мире, лишь в Америке имеет шансы продлить свое существование. Эти шансы даются войной, опустошениями войны и возможностями послевоенной экспансии американского капитала. На сколько лет: два-три года, пять лет? Об этом не думают люди, для которых жизнь без власти – без экономической власти – не жизнь, а прозябание. Если они победят, война между капиталом и трудом неизбежна, со всеми ее хорошо знакомыми последствиями.

Из всех проблем нашего времени вопрос о «хлебе» (тоже архаизм) или обеспеченности, является самым острым. Мы довольно повидали на нашем недолгом веку, чтобы понимать, что для масс хлеб дороже свободы. Всегда был и, вероятно, долго будет. Массы всегда, во всех странах, пойдут за тем, кто обещает им обеспеченность – хотя бы ценой рабства. Выбор предстоит не между свободой XIX века и фашизмом, а между самоограничением экономической свободы в демократии и ее полным по-

давлением в фашизме. Действительно, демократия дает возможность использовать частную инициативу на службе общества, при условии отказа от прибыли и частного интереса как цели и нормы рационального хозяйства. Организация хозяйства при условии согласования и ограничения частных свобод представляет неизмеримо большие трудности, чем всякая фашистская организация, которая ни с чьей свободой не считается. В наших глазах, однако, это преимущество покупается слишком дорогой ценой. Надо спасти человека в социальной революции — спасти его не только как гражданина, но и как хозяйствующего субъекта. Рабочий, ремесленник и предприниматель — в какой-то мере — должны сами определять свой труд, свою жизнь. В какой мере, может показать только опыт. Во всяком случае, сегодняшний день и здесь — может быть, еще в большей мере, чем в политике, — требует жертвы свободой, ради сохранения самой возможности свободы.

В. Проблемы культуры и духа

Политические и хозяйственные проблемы неотложны. Решать их необходимо сегодня. Но их решение еще не спасает. Политико-экономические кризисы являются лишь отражением более глубокого кризиса, протекающего во всех сферах культуры. Их источник в тяжелом недуге духа, который творит эту культуру. Уже давно она начала терять свое единство, свою связанность, а в последнее время и веру в себя. Она пыталась утвердиться на науке, но наука раскололась на отдельные, бессвязные сферы, еще пригодные технически, но неспособные дать цельный образ мира. Ее искусство, в лихорадочных поисках новых форм и ощущений, проникается прямой ненавистью к жизни и к человеку. Ее политические идеалы — свобода, равенство и братство — коренящиеся в христианской традиции, с потерей этой традиции, обессмысливаются. Современное воспитание, не имеющее цели в нормативном образе человека, перестало быть воспитанием, бросая ребенка и юношу беззащитным в страшный мир, его окружающий. Пустота и бесцельность заполняются лишь внешне напряженными трудовыми процессами.

Фашизм притязает заполнить эту пустоту, и успех его тоталитарных мифов показывает всю остроту религиозного голода со-

временного человека. Он хочет молиться — хотя бы пенькам, — до того невыносимо жить в метафизической пустоте.

Далеко не все страны достигли того духовного опустошения, которое делает их легкой добычей фашизма. Но «предфашистская ситуация» существует везде. Преодоление ее возможно лишь с возрождением духовных энергий, некогда создававших нашу культуру и далеко еще не исчерпавших себя.

Борьба идет глубокая, не слишком бросающаяся в глаза, но исход ее в большей мере, чем исход войны, определит судьбу свободы в нашем культурном мире. Если бы христианские силы в настоящий день были только пережитком, тогда борьба с фашизмом была бы безнадежной. Но христианство не только пережиток, оно и возрождение. Оно еще теряет в количестве, но выигрывает в качестве: в чистоте, мужестве и разуме своих вождей. Его возрождение заметно для всех во многих тоталитарных странах, где оно является одним из самых твердых носителей антифашистского сопротивления. В англосаксонских демократиях христианство проявляет не столько героизм, сколько большую проницательность и широту социального сознания. Самые прогрессивные социальные программы Англии и Америки вынашиваются в недрах церквей.

Схематический взгляд на духовное состояние Америки поможет уяснить соотношение сил в духовной войне за свободу. Свобода в этой стране была некогда утверждена на Библии горстью пуритан, которые понимали ее как свободу веры. Пуританство в Америке до последнего времени было огромной силой. Оно гуманизировалось в течение столетий, восприняло немало от светских принципов французской демократии, но в основном оставалось верно библейско-протестантскому своему происхождению. Отголоски Библии слышатся и поныне в речах политических вождей Америки. Белый Дом до сих пор может быть символом христианской свободы.

За последние поколения, в реакции против узости и нетерпимости пуританской провинции, выросла новая Америка: Америка чистого, т. е. безбожного гуманизма. Она внесла свою струю свежего воздуха в спертую пуританскую среду, но подобно Европе разлагается сама своим релятивизмом и безверием. Эта Америка представлена «передовой» школой, журналистикой, кино и театром — точнее, театральными подмостками. Бродвей и Голливуд сейчас ее духовные центры, ее символы.

Усталая толпа, жаждущая зрелищ и острых слов, сейчас с ними. Это они создают «предфашистскую ситуацию», на словах отрекаясь от фашизма – впрочем, только правого. Но настоящая фашистская опасность угрожает Америке не от разгромленного Бунда и разных цветных рубашек, а от либерального Бродвея, т.е. того духовного опустошения, которое этот символ выражает. За Белым Домом стоят все нравственные силы страны; трудовой подвиг рабочего и фермера, горение идеалистов социальной справедливости, пророческое слово проповедников обновляющегося христианства. Окидывая взглядом эту армию Божьих воинов, мы далеки от безнадежности. Но настоящая борьба еще впереди. Она по ту сторону войны. Это борьба между Белым Домом и Бродвеем.

Ирина Кнорринг[1]

Недавно дошло до нас из Франции — вероятно, запоздалое — известие о смерти поэтессы Ирины Николаевны Кнорринг-Софиевой. Покойная была дочерью историка-педагога Н. Н. Кнорринга и женою поэта Юрия Софиева. Необычайно тяжелая судьба отметила ее, даже и по настоящему жестокому времени. Изгнание, нищета, беспросветная борьба за существование — общий удел рядовой эмиграции, всего этого было для нее недостаточно. С юных лет страдала она тяжким, неумолимым недугом, знала о его неизлечимости, и жила, ежедневно задерживая смерть, постоянными впрыскиваниями инсулина. Опыт близкой смерти изолировал ее от мира живых и прожигал горечью безнадежности. Таковы и ее стихи — с первой книги «Стихи о себе» (Париж, 1931). Она не была лишена таланта и отличалась беспощадной правдивостью: писала только о том, что пережила лично, и не пыталась уходить от отчаяния в мир мечты.

Легко представить себе, что в голодном Париже под немецкой оккупацией, когда исчезли и необходимые для продления ее жизни медикаменты, она была обречена. Не знаем, что стало с ее мужем и сыном. В печатаемом выше стихотворении Юрия Софиева проходит образ Ирины Николаевны в один из светлых моментов ее мучительной жизни.

Неслыханное

Кажется иногда, что все мы видели, все пережили, что нас уже ничем не пронять. Постепенно сердце обрастает корой самосохранения и едва вздрагивает в ответ на новые ужасы войны. В частности, Гитлер и его армия приучили нас к тому, что всякие остатки человечности, сохранившиеся в прошлых войнах, теперь отброшены, затоптаны во имя новой, «тоталитарной» войны. И вот все же случилось нечто, от чего кровь стынет в жилах, охватывает ужас превыше всякого негодования, почти физическое чувство тошноты... Становится страшно за человека.

Известие это пришло под гром новых и радостных военных событий, среди союзнического наступления в Северной Африке, русского наступления на Волге. Волнующие отголоски этих побед отодвинули для многих в задний угол сознания смысл того страшного известия, о котором я пишу. Но никто не смеет забывать о нем. Это новое бремя, возложенное на нашу совесть, мы должны пронести до конца войны. Наше отношение к нему определяет и моральный исход войны, и моральную ценность созидаемого в ней мира.

Польское правительство в Лондоне опубликовало меморандум, согласно которому германские оккупационные власти получили приказ уничтожить к концу текущего 1942 года половину еврейского населения в Польше. Это истребление идет с самого начала войны. Голод и болезни в новом созданном гетто, массовая гибель в закрытых товарных поездах, индивидуальные расстрелы оказываются недостаточными. Нетерпение палачей изобрело новые наукообразные средства убийства, о которых мы до сих пор не слышали. Оказывается, существуют человеческие «бойни», где людей истребляют, как клопов, газами или другими способами. Оказывается, что таким образом убивают и детей. Более того, дети, женщины и старики становятся первы-

ми жертвами, поскольку взрослое мужское население еще используется как рабочая сила на фронте. Были случаи, когда детей вытаскивали из приютов и расстреливали из пулемета. Так пишет польское правительство.

Перед лицом таких неслыханных ужасов первое естественное движение — сомнение. Может быть, не все здесь правда, может быть, точные факты перемешаны со слухами, с творимыми легендами. Может быть — но это утешение слабое. Слишком хорошо вяжется новое со старым, известным. Уничтожение еврейства было всегда одной из целей нацизма. Вопрос был только в темпах и средствах убийства. Но когда начались отправки евреев из Франции на «Восток», не могло уже быть сомнения в целях немецких властей. Ведь не для того увозили евреев, чтобы кормить их немецким хлебом вместо французского. Ужасный смысл польских «заповедников» и гетто становился ясным. Гитлер еще стесняется прибегать к массовым убийствам в Западной Европе. Присутствие ли нейтральных свидетелей (Швейцария, Швеция), незримое ли моральное давление покоренных народов — надо было считаться и с Петэном! [1] — но только на Западе нацизм еще носил культурную маску. Чем дальше на Восток, тем более свободным он чувствует себя от стеснения либеральных и христианских «предрассудков». Польша и Россия — идеальное поле для его биологических экспериментов.

Мы слишком часто злоупотребляем выражениями о небывалых в истории зверствах по поводу современных ужасов. Нет, в истории многое бывало, и специалисты слыхали. Бывали в истории войны с истреблением целых народов. Древний Восток, и не только Восток, знает массовые убийства всего населения городов, провинций и племен. Библейская книга «Эсфирь» сохранила легендарное воспоминание об одной из таких неудавшихся попыток истребления еврейского народа, «молодых и стариков, малых детей и женщин». Гитлер хочет осуществить то, что не удалось Аману [2].

Однако вот что говорит история. С конца «древнего» мира, за полторы тысячи лет средневековья и новой истории таких примеров не знала Европа. Ее история была ужасна, кровава. Мы знаем: XVIII и XIX века были лишь светлым промежутком. И все-таки, никто еще не пытался повторить опыт Амана... Мало ли гнали евреев в средние века? Их ненавидели, их боялись, рас-

сказывали о них страшные легенды и подозревали в самых тяжких злодеяниях. Их запирали в гетто, насильственно крестили, разоряли, изгоняли из страны, убивали во время погромов. Но никому, даже Филиппу II [3], не приходила в голову такая простая, такая осуществимая мысль: убить всех евреев. Для этого не нужно было и особой техники, нужна была только абсолютная свобода от голоса совести, воспитанной в Европе тысячелетним христианством... Этой свободы или этого опустошения, этой полной нравственной оголенности человечество начало достигать, в лице своих революционных авангардов, лишь в наш технический, научный, экономически и биологически мыслящий век.

Сколько людей среди нас, слыша или читая про эти злодейства, готовы повторить древние слова: «Дочь Вавилона окаянная»... Пока еще немецкие дети защищены от участи их невинных еврейских братьев тонким щитом культурной совести. Есть еще, слава Богу, разница между сознанием тоталитарных и демократических стран. Признать ее не значит впадать в лицемерие или самообольщение. Но крепок ли щит? Долго ли удастся христианскому и культурному меньшинству сдерживать такие естественные, такие человечески-понятные, но смертельно опасные порывы мести?

Но отказ от мести не есть отказ от суда, от наказания. В такие дни, перед таким торжеством зла начинаешь понимать всю относительную, историческую оправданность карающего меча власти. «Не даром он носит меч. Он Божий слуга, отмститель и воздаяние делающему злое»[4]. Этими словами часто злоупотребляли, власть сама так часто покрывала зло своим авторитетом, что мы разучились уважать ее меч. Нет власти чистой и безгрешной. Но если победит сейчас союз демократий, руководимых Англией и Америкой, то это будет торжеством относительно правой силы, и от победителей мир вправе потребовать справедливого суда. Простить? Но на такое прощение способна лишь святость, — для остальных прощение означало бы лишь равнодушие эгоизма, слишком короткую память. Если бы такие преступления оставались безнаказанными, они придавили бы нас, поработили бы наше воображение, отравили бы всю нашу жизнь. Люди потеряли бы веру в земное правосудие, а без такой веры никакой общественный союз стоять не может. Без такой

веры каждый стал бы своим собственным мстителем, общество вернулось бы к анархии разбойничьих банд или к тупой, безнадежной покорности рабов.

Но, в ожидании грядущего суда, ужасно сознавать наше бессилие помешать злодеяниям, которые в этот момент совершаются и будут совершаться до самого конца — т. е. до военного поражения Германии. Никакие вопли, никакие жесты не остановят чудовищ в их черном деле. Не остановит даже мысль о каре. Столько уже совершено преступлений, что все равно, нет надежды на амнистию. Возврата к честной жизни нет, и убийца, в кровавом тумане, почти бесцельно, громоздит все новые трупы, увлекаемый темным роком. Лишь быстрое окончание войны, т.е. скорая победа, могла бы сократить ужасы этих дней. Хорошо, если бы об этом помнили те, кто привык мыслить войну в экономических категориях и в длительных проекциях времени. Человек не ждет, пока заводы заработают полным ходом. Человек умирает или превращается в зверя.

SOS

На пятом году войны мы не только верим в победу; мы уже видим явственно ее очертания. Но чем ближе победа, тем сумеречнее становятся перспективы мира. Все страшнее за Европу: сможет ли она, покончив с одним фашистским гнездом в своем центре, наладить основы общей политической, хозяйственной и культурной жизни? Если это не удастся, Европа будет ввергнута в кровавый хаос, из которого не видно выхода. Тогда все миллионы жертв этой войны были напрасны.

Но мы знаем, кто будет виноват в таком исходе. Мы знаем, как называется та сила, которая сейчас подрывает и разлагает все усилия государственных людей, направленные к организации мира. Это та самая сила, которая вызвала эту войну, которая создала самый фашизм, сделавший ее возможной. Эта сила, самая могучая из социальных двигателей нашего времени, называется национализмом.

Острый национализм, как ядовитое наследие первой войны, сперва разложил духовно и политически один из великих народов Европы, который еще недавно был средоточием ее гуманизма. В короткое время он уничтожил все нравственные, все человеческие сдержки — на сторонний взгляд, все, накопленное за два тысячелетия христианской цивилизации, — превратил народ в организованное стадо зверей-роботов и бросил его на завоевание мира. Покушение, по счастью, не удалось. Но в борьбе с насильником законный патриотизм порабощенных народов, защищающих свою родную землю, сам становится опасностью, заражаясь жестокостью, узостью, слепотой врага. Это старая история. Ведь и корни немецкого национализма восходят к освободительным войнам против Наполеона. И русский, духовно мертвящий национализм Николаевской эпохи был ничем иным, как окостенением пламенного патриотизма Отечествен-

ной войны. Но эта «старая история» становится сейчас по-новому, по-небывалому трагичной. Четыре года тому назад всем было ясно, что спасение родины — всех родин — невозможно без отказа от ее суверенитета. Современный мир может жить только в сверхнациональных формах политических объединений. Но на пути этих объединений стоят национальные претензии, самолюбия, ненависти народов, необычайно раздутые самой войной. За время войны они как будто забыли то, что было ясно для них в первые месяцы смертельной опасности. Освобождение родины заслонило задачу построения нового великого Отечества, без которого само существование родины невозможно. Так движущие силы этой войны вступают в противоречие с единственно законными целями ее, т. е. целями мира.

Тридцать лет тому назад «Интернационал» был для одних «музыкой будущего», для других отвратительной гримасой механической цивилизации. Сейчас нечто, ему соответствующее, Великое Отечество, стало жизненным, неотложным делом сегодняшнего дня. В ту войну некоторую правду узрели те социалисты, которые в кровавой борьбе и опасности открыли для себя впервые свою родину. Сейчас для них встает иная задача: интеграция родин в единое Отечество. Это не та задача, что ставил себе Ленин. Он разрушал родины — для того, чтобы его наследник слил их в общем рабстве Чингисхановой Империи. Мы же должны пожертвовать частью национального суверенитета, чтобы сохранить свободу нации; пожертвовать частью ее интересов, чтобы сохранить ее достоинство; пожертвовать ее мощью, чтобы сохранить ее лицо.

Эта борьба не безнадежна. Не все еще проиграно на фронте мира. В великих демократиях, поднявших меч, идет глухая борьба сил за цели мира. Оживающий призрак слепого национализма встречает энергичное противодействие. Борьба идет с переменным успехом, и пока еще рано судить, чья возьмет. Но это значит, что заранее спекулировать на поражении преступно. Преступно действовать так, как будто бы национализм уже победил по всему фронту, и нам ничего не остается, как приспособляться заранее к этой обстановке в интересах собственного национального дома.

Среди всех растущих и обостряющихся национализмов нашей эпохи особенно трагична судьба национализма русского. В его

пользу говорит оборонительный и праведный характер войны, которую ведет Россия. Но это национализм не слабого, а сильного, который борется не только во имя своего освобождения, но уже сейчас требует порабощения других малых народов, стоящих на его дороге к мировому господству. Оборонительные и завоевательные мотивы русской политики перемешаны неразрывно; в действительности русская агрессия даже предшествовала русской обороне.

Впрочем, таков всякий национализм — и праведный и преступный одновременно — как все чисто натуральное, не просветленное нравственным сознанием. В последнем взрыве русского национализма ужасно другое: резкость разрыва с недавним прошлым, измена той русской традиции, которая была величайшим достижением русской культуры.

Мы были воспитаны на сознании особого «всечеловеческого» характера этой культуры, говоря словами Достоевского. Думаю и теперь, что эта оценка была внушена ему не одним его безмерным национализмом. Во всяком случае, важно, что его национализм подсказал ему именно это, а не другое — напр[имер], славянофильское — определение русского человека. Это определение соответствует в целом облику классической русской литературы — от Пушкина до 30-х годов XX века. Нужно помнить, однако, что эта всечеловечность русской культуры XIX века не отражала вполне ни народного, ни государственного мироотношения. И народ и государство жили обычным, довольно грубым, хотя и не зверским, национальным сознанием, которое допускало и порабощение Польши и бытовой антисемитизм. Наша «всечеловечность» была светом среди тьмы, подобием чудесных русских усадеб среди окружающей нищеты и варварства. С другой стороны, не следует забывать, что «всечеловечность» русской интеллигенции зародилась в годы «молодой Европы», 30-е и 40-е годы, когда революционные национальные идеалы Франции, Италии, Польши, всего славянства сливались в шиллеровском идеале человечества и человечности. Молодая Европа погибла в революциях 48-го года. «Молодая Россия» сохранилась — на три поколения — быть может, благодаря оторванности русской интеллигенции от государства и народа. В ее всечеловечности было много анархизма и политической наивности. Но в слабости ее вырастало ее величие, которое было истинным величием

России. Быть может, будет время, когда исчезнет государство русское, и самый язык его угаснет. Но никогда, верим, не будет забыто русское слово. Пушкин и Толстой будут жить, как живут Гомер и Эсхил... И тогда станет ясным, что Александры Невские и Петры, самое существование русского государства имело лишь один смысл: создание этой культуры, «вечного» слова России.

Увы, эта великая культура, уже подточенная декадентством, не выдержала испытания двух войн.

В первую войну национализм охватил широкие слои интеллигенции, хотя далеко не вся она поддалась искушению. Народ упивался тогда революционной сивухой, отшибавшей всякую память о родине. Вторая война нашла его, или его новую интеллигенцию, во власти совершенно примитивных, николаевских, националистических эмоций. В то же самое время почти вся эмиграция, видевшая вчера еще свое призвание в обороне заветов русской культуры, позорно пала ниц перед идолом народобожества. Там, в России, Кукольник занял место Толстого, Давыдов — Лермонтова, в русском истолковании войны. Впрочем, и это неточно: все слышнее доносится топот татарских коней на мниморусском Куликовом поле. Чингисхан все явственнее вступает в центр русской истории. Здесь же, за рубежом, вчерашние рыцари свободы готовы приветствовать рождение Евразийской кнуто-монгольской империи.

* * *

Сравнение с Германией напрашивается само собой. И здесь и там в прошлом длительная традиция космополитического гуманизма, беззаботного на счет национальных интересов, которые блюла монархическая государственность. И здесь и там национальное сознание рождается в освободительных войнах, искушаясь соблазнительной близостью свободы и силы. И здесь и там чистому политическому империализму предшествовало долгое высиживание его в философской и религиозной скорлупе. Кстати сказать, и философские предпосылки немецкого идеализма и русского славянофильства почти одни и те же (Шеллинг-Гегель). И там и здесь обретение отечества приходит с большим опозданием против старых национальных государств

Европы, и потому его рост отличается особой буйностью. Торопятся наверстать упущенное, и в новый националистический грех вносят психологию покаяния — перед столь долго забываемым отечеством. И, становясь уже самыми нетерпимыми и насильственными среди других народов, не перестают повторять: мы — немцы, русские — не ценим своего, любим чужое, позволяем всякому обижать себя.

В эту последнюю эпоху Европейского мелкодержавия, когда старые демократические народы, никогда не изменявшие национальному чувству, начинают ограничивать его притязания, хотят подчинить его сверхнациональному единству, там, в центре и на Востоке Европы, сложились две могущественных империи, которые сами изолировали себя от общества народов и поставили выше всего свою мощь.

Неужели пример Германии не является грозным предостережением и для России? Германия погибла, потому что вооружила против себя все народы Европы. Даром убила она в себе свою честную немецкую душу, — власть над миром ей не достанется. Сейчас ее наследником, с теми же притязаниями, выступает Россия. Убийством русской души занималась не без успеха партия, вынесенная на гребне Революции. Сейчас она пытается переключить революционный динамизм и революционную «злость» (их любимое слово) на линию мировых завоеваний. Что же? Может быть, на время это удастся. Может быть, Сталин и станет господином Восточной и Средней Европы, осуществив то, что не удалось Гитлеру. Культура рабства и лжи расползается уже не на 1/6, а на 1/5 или 1/4 мира. Но 1/4 мира еще не весь мир. Дело свободы еще не проиграно с торжеством нового Чингисхана. Вряд ли в ближайшие годы ему удастся подчинить себе Север и Запад Европы: Скандинавские страны, Голландию, даже Швейцарию, где демократия всего сильнее, где она прочно укоренена в нравственном и религиозном сознании народов. И, наконец, вне Европейского континента остается англо-саксонский мир, пока еще хозяин всех океанов, экономический и военный потенциал которого больше Евразии.

С другой стороны, с каждым новым завоеванием структура России-Евразии становится все более неустойчивой. И сейчас великороссы в ней составляют не многим более половины населения. Многочисленные меньшинства примирялись, хотя и не

без борьбы, с сожительством в СССР, когда он вместе с политической тиранией нес им культурное возрождение, холил и пестовал их юные национальные самосознания. Но и сейчас концентрационные лагери Союза заключают немало патриотов малых народов, мечтающих об освобождении. Эти народы могли бы найти условия и формы для общей жизни в Свободной Российской Федерации. Они терпели тиранию, пока она не была гнетом господствующей нации. Смогут ли они вытерпеть безмерно раздуваемый национализм великорусский, который заменяет постепенно былую сверхнациональную идеологию Союза?

Но вместе с победой новые народы совершенно иной культуры, воспитанные в традициях западной свободы или хотя бы вкусившие ее насильственно, включаются в рамки СССР. Уже сейчас, после краткой русской оккупации 1939–1941 гг., их ненависть к России, по всем сведениям, не уступает их ненависти к Германии. В лице их Россия приобретает миллионы врагов-патриотов, имеющих опыт партизанской и подпольной войны. Не означают ли все эти стратегические исправления границ, на самом деле, подлинного политического, а в конечном счете и военного ослабления России? Национализм, который сейчас спасает Россию, может оказаться источником ее гибели. День, когда Сталин или его преемник вздумает бросить свои полки против сил мировой демократии, может быть днем восстания всех порабощенных им народов. И дорого заплатит тогда Россия за злую мечту своих слепых вождей.

Предупреждать об этом — долг всех, кто любит истинную Россию, кому дорого ее вечное лицо. Сейчас еще не поздно остановиться. Преступные замыслы еще не воплотились в непоправимые акты, еще не выросли из стадий притязаний, интриг и подстрекательств к междуусобным войнам. Русские армии еще обороняют родину. Сейчас — в этой стадии войны — они никого не порабощают. Мир полон признательности перед Россией и готов вознаградить понесенные ею жертвы. Сейчас ей могла бы выпасть на долю завидная роль — освободительницы и устроительницы мира. Могла бы...

Но даже если ничто не сможет остановить рокового выбора, на нас здесь, на горсти свободных русских за рубежом, лежит большая ответственность. Мы не можем влиять на политику СССР, но мы, перед миром и перед будущим, можем выражать

мысли и чаяния России. Мы не притязаем на представительство СССР. Может быть, наши мысли и настроения встретят там сейчас слабый отклик. Но когда история произносит свой суд над народом, она судит его в лице его немногих избранников. Несколько голосов спасают народ, как десять праведников могли бы спасти Содом. Так слово Герцена о Польше в 1863 году, которое стоило ему потери всего политического влияния, теперь является главным свидетельством зашиты в пользу подсудимой России. Так и нам, бессильным и последним, вместе со свободным словом доверены честь и достоинство России.

Рождение свободы

Полнеба охватила тень.
Лишь там, на западе, брезжит сияние...

«Человек рождается свободным, а умирает в оковах». Нет ничего более ложного, чем это знаменитое утверждение.

Руссо хотел сказать, что свобода есть природное, естественное состояние человека, которое он теряет с цивилизацией. В действительности, условия природной, органической жизни вовсе не дают оснований для свободы.

В биологическом мире господствуют железные законы: инстинктов, борьбы видов и рас, круговой повторяемости жизненных процессов. Там, где все до конца обусловлено необходимостью, нельзя найти ни бреши, ни щели, в которую могла бы прорваться свобода. Где органическая жизнь приобретает социальный характер, она насквозь тоталитарна. У пчел есть коммунизм, у муравьев есть рабство, в звериной стае — абсолютная власть вожака («вождя»).

В XVIII веке на природу смотрели романтически — или, вернее, теологически. На нее переносили учение Церкви о первозданной природе человека и помещали библейский потерянный рай в Полинезии. Но в наше время биология недаром ложится в основу всех новейших идеологий рабства. Расизм корнями своими уходит в биологический мир и, будучи никуда не годной философией культуры, ближе к природной или животной действительности, чем Руссо.

Руссо, в сущности, хотел сказать: человек должен быть свободным, или: человек создан, чтобы быть свободным, и в этом вечная правда Руссо. Но это совсем не то, что сказать: человек рождается свободным.

Свобода есть поздний и тонкий цветок культуры. Это нисколь-

ко не уменьшает ее ценности. Не только потому, что самое драгоценное — редко и хрупко. Человек становится вполне человеком только в процессе культуры, и лишь в ней, на ее вершинах, находят свое выражение его самые высокие стремления и возможности. Только по этим достижениям можно судить о природе или назначении человека.

Впрочем, даже в мире культуры свобода является редким и поздним гостем. Обозревая тот десяток или дюжину высших цивилизаций, нам известных, из которых слагается для современного историка (Тойнби) некогда казавшийся единым исторический процесс, мы лишь в одной из них находим свободу, в нашем смысле слова, — и то лишь в последнем фазисе ее существования. Я, конечно, имею в виду нашу цивилизацию и наше время, оставляя пока неопределенными границы *нашего* в пространстве и времени.

Все остальные культуры могут поражать нас своей грандиозностью, пленять утонченностью, изумлять сложностью и разумностью социальных учреждений, даже глубиной религии и мысли, но нигде мы не найдем свободы, как основы общественной жизни.

Личность везде подчинена коллективу, который сам определяет формы и границы своей власти. Эта власть может быть очень жестокой, как в Мексике или Ассирии, гуманной, как в Египте или в Китае, но нигде она не признает за личностью автономного существования. Нигде нет особой, священной сферы интересов, запретных для государства. Государство само священно, и самые высшие абсолютные требования религии совпадают с притязаниями государственного суверенитета.

Греция не исключение. Ни наша благодарная к ней любовь, ни признание единственности ее высшей культуры, ни даже поколения наших предков, боровшихся за свободу с Плутархом, вместо Евангелия, в руках, не могут заслонить основного факта: *наша* свобода не была обеспечена в Греции.

Греки сражались и умирали за свободу; но под свободой они понимали или независимость своего города-отечества или его демократическое самоуправление. Это была свобода для государства, на которую не могли притязать ни личность, ни меньшинственная группа. Нас обманывает часто вольность и легкость жизни в классическую пору Афинской демократии — в те

короткие полтораста лет, которые отделяют греко-персидские войны от македонского завоевания. Но эта вольность — результат разложения, скорее распущенность, чем закон жизни. Новые торгово-промышленные классы подорвали крепость патриархальных деревенских нравов, наука софистов разлагала древнюю веру; в образовавшейся пустоте легче стало жить, то есть наслаждаться жизнью без помехи устарелых норм. «Буржуазная» свобода Афин напоминает судьбу свободы в пореволюционной Франции. За полтора века оказались подорваны все нравственные устои демократии, и Афины, как и вся Греция, сделались легкой добычей Филиппа.

Но даже на время наибольшей свободы Афин падает процесс и казнь Сократа, изгнание Анаксагора и Протагора и — что гораздо страшнее — социальная утопия Платона. Величайший из философов Греции был теоретиком абсолютного, тоталитарного государства. Быть может, только в Софокловой Антигоне брезжит заря нашей свободы: пророчество, предвосхищение совершенно иной духовной эры.

Исключительность, единственность свободы не должна нас смущать. Только грубое биологическое или социологическое мышление, оперирующее с количествами, с повторяемостями, со средними величинами, может видеть в единственности порок. Да, свобода — исключение в цепи великих культур. Но сама культура — исключение на фоне природной жизни. Сам человек, его духовная жизнь — странное исключение среди живых существ. Но ведь и жизнь, как органическое явление, — тоже исключение в материальном мире. Конечно, здесь мы вступаем в область неведомого, но много оснований на стороне тех теорий, которые считают, что только на планете Земля могли создаться благоприятные условия для возникновения органической жизни. Но что значит Земля в солнечной системе, что значит солнце в нашем Млечном пути, что значит наша «галаксия» во вселенной?

Одно из двух: или мы остаемся на внешне убедительной, «естественнонаучной» точке зрения и тогда приходим к пессимистическому выводу. Земля — жизнь — человек — культура — свобода — такие ничтожные вещи, о которых и говорить не стоит. Возникшие из случайной игры стихий на одной из пылинок мироздания, они обречены исчезнуть без следа в космической ночи.

Или мы должны перевернуть все масштабы оценок и исходить не из количеств, а из качеств. Тогда человек, его дух и его культура, становятся венцом и целью мироздания. Все бесчисленные галаксии существуют для того, чтобы произвести это чудо — свободное и разумное телесное существо, предназначенное к царственному господству над вселенной.

Остается не разрешенной — практически уже не важная — загадка значения малых величин: отчего почти все ценностно-великое совершается в материально-малом? Интереснейшая проблема для философа, но мы ее можем оставить в стороне.

Свобода разделяет судьбу всего высокого и ценного в мире. Маленькая, политически раздробленная Греция дала миру науку, дала те формы мысли и художественного восприятия, которые, даже при сознании их ограниченности, до сих пор определяют миросозерцание сотен миллионов людей. Совсем уже крохотная Иудея дала миру величайшую, или единственно-истинную религию — не две, а одну — которую исповедуют люди на всех континентах. Маленький остров за Ла-Маншем выработал систему политических учреждений, которая — будучи менее универсальной, чем христианство или наука — тем не менее господствует в трех частях света, а ныне победоносно борется со своими смертельными врагами.

Ограниченность происхождения еще не означает ограниченности действия или значения. Рожденное в одной точке земного шара может быть призвано к господству над миром; как всякое творческое изобретение или открытие, оно стремится стать общим достоянием человечества. Не все ценности допускают такое обобщение; многие остаются навсегда связанными с одним определенным культурным кругом. Но другие — и самые высшие — существуют для всех. Это о них сказано: «ничто человеческое мне не чуждо». Все народы призваны к христианству. Всякий человек, в большей или меньшей степени, способен к научному мышлению. Но не все признают — и обязаны признавать — каноны греческой красоты. Все ли народы способны признать ценность свободы и осуществить ее? Этот вопрос сейчас решается в мире. Не теоретическими соображениями, а только опытом возможно решить его.

* * *

О чем идет речь? О какой свободе? Пора, наконец, определить нашу тему. Но сделать это надо покороче, без лишних сложностей. В наше время определения свободы требуют прежде всего ее враги. Они утратили способность понимать ее; самые простые вещи начинают представляться для них чудовищно трудными. Раздувая эти трудности до абсурдов, они делают из свободы философскую бессмыслицу. Однако и они и всякий читатель имеют право на ясный и точный ответ: что здесь, на этих страницах, понимается под свободой?

Итак, мы говорим о свободе не в философском или религиозном смысле. Наша свобода не свобода воли, то есть выбора, которую ничто, никакое ослепление греха или предрассудков не способно до конца отнять у человека; такой свободой обладает и комсомолец, и член Hitler-Jugend. Это и не свобода от страстей и потребностей низшей природы, к которой стремятся стоический философ и аскет; Эпиктет осуществлял ее в рабстве, святые находили ее в добровольной темнице кельи.

Но это и не динамическая свобода социального строительства и разрушения, которой охвачена фашистская молодежь, отдающая свою личную волю в полное подчинение вождям ради этого чувства коллективной мощи и власти.

Наша свобода — социальная и личная одновременно. Это свобода личности от общества — точнее, от государства и подобных ему принудительных общественных союзов. Наша свобода отрицательная — свобода от чего-то, и вместе с тем относительная; ибо абсолютная свобода от государства есть бессмыслица.

Свобода в этом понимании есть лишь утверждение границ для власти государства, которые определяются неотъемлемыми правами личности. Будучи относительной в своей мере и в формах, по-разному определяясь в разных странах современной демократии, она, однако, зиждется на некоторых абсолютных предпосылках, которые мы должны установить. Утрата их, полная релятивизация свободы для нее смертельна: по нашему убеждению, это и является главной причиной современного помрачения свободы.

Рассматривая длинный список свобод, которыми живет современная демократия: свобода совести, мысли, слова, собраний и т. д., мы видим, что все они могут быть сведены к двум основным началам; именно к двум, а не к одному, к прискорбию

для логической эстетики. Этот дуализм свидетельствует о различии исторических корней нашей свободы.

Главное и самое ценное ее содержание составляет свобода убеждения — религиозного, морального, научного, политического, и его публичного выражения: в слове, в печати, в организованной общественной деятельности. Исторически, вся эта группа свобод развивается из свободы веры.

С другой стороны, целая группа свобод защищает личность от произвола государства независимо от вопросов совести и мысли: свобода от произвольного ареста и наказания, от оскорбления, грабежа и насилия со стороны органов власти определяет содержание конституционных гарантий, за которые велась вековая борьба с монархией. Они нашли себе выражение в характерном английском акте-символе, известном под именем Habeas Corpus [1]. Пользуясь этим символом, мы могли бы назвать эту группу свобод свободой тела в отличие от другой группы — свободы духа.

Разнородность их природы уясняется из одного простого рассуждения. Идеальный христианин, святой, может без ропота отдать свое тело, имущество и жизнь тирану; даже видеть в этом непротивлении свой долг — подражания Христу. Но он не поклонится идолам, не отречется от Христа по требованию императора. Величайшие конфликты государства с церковью происходили по преимуществу из-за этой свободы — духа; конфликты государства со светским обществом — преимущественно по вопросам свободы тела.

Разумеется, слово «тело» мы употребляем в очень широком смысле; оно включает как собственность лица, так и его честь — то есть не только физическую, но и социальную его индивидуальность, за исключением духовной; или, выражаясь иначе, все, что принадлежит личности, но не является ею самой. Вера и убеждение не принадлежат ей, но она сама скорее принадлежит им; в некотором смысле, ее подлинное бытие с ними совпадает.

Быть может, большинство демократов в наши дни убеждены, что эти свободы — завоевание нового времени: английской революции XVII-го века или даже французской XVIII-го. Пуритане и якобинцы кажутся для многих отцами нашей свободы, а революция вообще местом ее рождения. Отсюда оптимистический взгляд на исход новейших революций. Они представляются не-

избежно тяготеющими к свободе и осуществляющими ее после тяжелых испытаний.

Какую роль в развитии нашей свободы играли великие исторические революции, мы увидим дальше. Но прежде всего необходимо подчеркнуть и, не уставая, повторять, что свобода зарождается в средневековье, хотя своего полного развития достигает в XIX веке. То христианское средневековье, которое было родиной всей нашей культуры, как отличной от культуры классического мира, было и родиной свободы. Magna Charta [2] датируется 1214 годом.

Но задолго до английского восстания баронов против Иоанна Безземельного Европа видела войны и революции, которые велись за свободу. Конец XI века был полон громом потрясений, народных движений и международных войн. Самым боевым лозунгом тех лет была свобода — только свобода в особом смысле: libertas Ecclesiae [3]. И это возвращает нас к истокам первичной свободы — свободы веры.

Западная церковь пережила кризис Римской империи и хранимой ею эллинистической культуры. Она победоносно встретила волны варварских вторжений и покорила их кресту и Риму. Она не растворилась в германских королевствах и не слилась с ними в «симфонии», подобной Византийской, но сохранила свою независимость от государства и даже более, свою учительную и дисциплинарную власть над ним. Однако до теократии дело не дошло. Варварская стихия восставала против римской опеки. Установилось двоевластие, двойное подданство. Внешним выражением его было двойное право — каноническое и национальное, двойная юрисдикция — духовная и светская. Но еще важнее, что каждый человек был подданным двух царств: града Божия и града земного. В его сердце сходились и часто сталкивались оба суверенитета, из которых один — и только один — притязал на абсолютное значение. Церковь брала себе душу, король — тело. Размежеваться было трудно, ибо жизнь сложнее этого дуализма. Сложность вызывала постоянный конфликт, по существу неразрешимый. И в этом конфликте создалось и окрепло первое, хотя и смутное, сознание свободы.

Человек должен был выбирать; волей судеб каждый христианин становился судьей в споре двух высочайших авторитетов: папы и императора. В грандиозных конфликтах XI-XIII веков

все общество раскалывалось надвое в этом споре. При этих условиях, каковы бы ни были социальные основы общества, не могло быть и речи об абсолютности светской власти. Даже отвлекаясь от самого содержания духовного суверенитета, даже в нелепом предположении, что им могла бы быть любая не-христианская религия, самый факт церковно-государственного дуализма ограничивал власть государства, создавал сферу личной свободы. Но, конечно, вдумавшись, мы понимаем, что никакая иная из известных нам религий не могла бы выполнить этой роли: для этого она должна быть одновременно религией абсолютного вечного, и в то же время связанного, соотносительного с телесным и земным. Ни посюстороннее язычество, ни потустронний спиритуализм (буддизм, платонизм) не могли бы создать религиозной сферы, высшей, чем государство, но чересполосной с ним. Ислам не в счет, ибо там, как и в Византии, высшая духовная власть совпадает с государственной.

В католической Европе у Церкви был один важный шанс в борьбе за ее свободу: феодальный характер государства. Конечно, буйное и воинственное рыцарство причиняло церкви много зла и хлопот. Церковь встречала больше послушания среди городских коммун, среди рабочих первых индустриальных городов Италии и Нидерландов. Но бароны, хотя бы и гибеллины [4], ослабляли королевскую власть, раздробляли светский суверенитет. Перед церковью не возникало угрозы Левиафана.

Обращаясь к самому феодальному миру, мы наблюдаем в нем зарождение иной свободы, менее высокой, но, может быть, более ценимой современной демократией — той, которую мы условились называть свободой тела. В феодальном государстве бароны — не подданные, или не только подданные, но и вассалы. Их отношения к сюзерену определяются договором и обычаем, а не волей монарха. На территории, если не всякой, то более крупной сеньории, ее глава осуществляет сам права государя над своим крепостным или даже свободным населением.

Формула «помещик-государь», хотя и не свободная от преувеличения, схватывает основную черту этого общества. В нем не один, а тысячи государей, и личность каждого из них — его «тело» — защищена от произвола. Его нельзя оскорблять. За обиду он платит кровью, он имеет право войны против короля. Восстание баронов в Англии 1214 года и Magna Charta были не ре-

волюционным взрывом, началом новой эры, а одним из нормальных эпизодов политической борьбы.

Во время коронации английских королей, в самый торжественный момент, когда монарх возлагает на свою голову корону, все пэры и пэрессы, присутствующие в Вестминстерском аббатстве, тоже надевают свои короны. Они тоже государи, наследственные князья Англии. Сейчас это символ уже почти не существующих сословных привилегий. Но я хотел бы видеть в нем символ современной демократической свободы. То, что было раньше привилегией сотен семейств, в течение столетий распространилось на тысячи и миллионы, пока не стало неотъемлемым правом каждого гражданина.

В западной демократии не столько уничтожено дворянство, сколько весь народ унаследовал его привилегии. Это равенство в благородстве, а не в бесправии, как на Востоке. «Мужик» стал называть своего соседа Sir и Monsieur, то есть «мой государь», и уж во всяком случае в обращении требует формы величества: Вы (или Они).

Мы говорим не о пустяках, не об этикете, но о том, что стоит за ним. А за ним Habeas Corpus, распространенный постепенно с баронов-государей на буржуазию городских общин и на весь народ. В Magna Charta граждане Лондона разделяют некоторые привилегии баронов. В XI-XIII веках повсюду в Европе существовали свободные городские общины, коллективные сеньории, наделенные привилегиями общей и личной свободы. Освобожденные города тянули за собой деревни. Крепостное право смягчалось и отмирало под влиянием свободного воздуха городов.

Таков схематический рост свободы. Действительность была много сложнее. Важно отметить, что в своем зарождении правовая свобода (свобода тела) была свободой для немногих. И она не могла быть иной. Эта свобода рождается, как привилегия, подобно многим плодам высшей культуры. Массы долго не понимают ее и не нуждаются в ней, как не нуждаются и в высоких формах культуры. Все завоевания деспотизма в новой истории (Валуа, Тюдоры, Романовы, Бонапарты) происходили при сочувствии масс. Массы нуждаются в многовековом воспитании к свободе, которое нам на рубеже XIX-XX веков уже казалось, может быть ошибочно, законченным.

Люди, воспитанные в восточной традиции, дышавшие веко-

вым воздухом рабства, ни за что не соглашаются с такой свободой — для немногих, — хотя бы на время. Они желают ее для всех или ни для кого. И потому получают «ни для кого». Им больше нравится царская Москва, чем шляхетская Польша. Они негодуют на замысел верховников, на классовый эгоизм либералов. В результате на месте дворянской России — империя Сталина.

Мы нисколько не хотим идеализировать средневековье. Свободолюбивые бароны были, большей частью, жестокими господами для своих подданных. В хищнике, разбойнике, тиране нам трудно узнать отца нашей свободы. Как трудно поверить, что за духовную свободу боролась католическая церковь, сжигавшая еретиков на кострах. Свобода совести, конечно, и не снилась князьям средневековой церкви. Свобода была им нужна не для верующей личности, а для «церкви», то есть для ее иерархии. Впрочем, и папы должны были делиться ею с университетами, как бароны с купцами. Важно было то, что в результате их борьбы за свободу призрак тоталитарного государства на Западе рассеялся на много веков. Несмотря на все реакции времен Ренессанса и абсолютной монархии, всевластию государства был положен предел. И этот предел был указан двумя началами, по-видимому, всегда необходимыми для осуществления свободы: плюрализмом власти и абсолютным характером духовных (религиозных) норм.

Переход от средних веков к новому времени принес не расширение, а умаление свободы. Блестящий культурный Ренессанс в политической сфере означал появление тирании в Италии и королевского абсолютизма в заальпийской Европе. Создается централизованное национальное или территориальное государство на развалинах средневековых сословных вольностей. Парламенты теряют свой авторитет, Etats Généraux перестают собираться, постоянные армии и зародышевая бюрократия вытесняют феодальный aide et conseil [6]. Ограничивается, если не исчезает совсем, плюрализм власти — одно из условий свободы. Другое духовное условие поколеблено также, вместе с упадком или затмением религиозности.

Церковь отступает от своих универсальных позиций, замыкается в стенах храма. Кесарь начинает владеть не только телом, но отчасти и душой подданных. Сопротивление его посягательствам на духовную сферу жизни становится редким и слабым.

Томас Мор, гуманист и мученик за свободу церкви, составляет редкое исключение.

Может быть, напоминание об этом потускнении свободы на заре великолепного дня нашей культуры способно принести некоторое утешение в наши дни ее вторичного затмения. Рано еще хоронить свободу. Социалистическая революция теперь, как некогда национальное государство, питается кровью свободы. И теперь, как во время Ренессанса, существует угроза окончательной смерти свободы, то есть завершения нашей культуры в тоталитарном государстве. Но если эта опасность была предотвращена однажды, ее можно победить и теперь. Важно лишь помнить, каковы были условия, сделавшие возможным ее преодоление.

* * *

Культура Ренессанса с ее победным ростом деспотизма нашла свой предел в Реформации. Всякая попытка построить генеалогию современной свободы, минуя Реформацию, обречена на неудачу. Линия, связывающая непосредственно Ренессанс с Просвещением, Леонардо да Винчи с Ньютоном, пригодна для истории науки, но не для истории свободы. Конечно, утверждение реакционеров-католиков, что вся современная «индивидуалистическая» свобода порождена грехопадением Лютера, есть огромное преувеличение. Но оно содержит в себе зерно истины. После католической борьбы за свободу церкви (XI–XII в.) религиозные войны эпохи Реформации (XVI–XVII в.) знаменуют второй этап в развитии свободы.

Не следует только представлять дело таким образом, что провозглашенный Лютером принцип свободного толкования Библии сыграл эту революционную роль. На самом деле, авторитет католической церкви был сейчас же заменен авторитетом новых пророков; за пророками следовали схоластики, создавшие протестантские катехизисы. Аугсбургское или Вестминстерское исповедание [7] сами по себе ничуть не свободнее Тридентского катехизиса [8]. Фанатизм новых сект нисколько не уступал нетерпимости старой церкви. Протестанты жгли или вешали еретиков с не меньшим усердием, чем католики. Более того, там, где Реформация передала власть над церковью князьям — в Англии,

в Германии, в скандинавских странах — государственный абсолютизм получил новое подкрепление за счет католической церкви. Тюдоры становятся «правителями церкви» и в силу этого владыками совести. Но для судеб свободы имел огромное значение тот факт, что в Англии — именно в Англии — господствующее «англиканское» исповедание не смогло стать религией всего народа. Религиозная буря, поднявшаяся с начала XVII столетия, привела не к единству новой реформированной церкви, а к образованию множества сект, боровшихся страстно, но безуспешно, за господство. Менее всего можно было ждать признания свободы со стороны религиозных радикалов; в XVII веке скорее можно было встретить сторонников терпимости — как тогда говорили, «латитудинаристов» — в государственной церкви, среди сторонников Стюартов. Английская революция или, правильнее, гражданская война не принесла ничего для свободы — ни религиозной, ни политической. После тирании Кромвеля Англия вернулась к исходной точке, к реставрации Стюартов с прежними темами борьбы: церковь и секты, король и парламент. Свобода пришла вместе с терпимостью — конечно, ограниченной — лишь к концу века, когда выяснилась невозможность религиозного объединения Англии. Вторая, «Славная» революция принесла с собой действительный Habeas Corpus и свободу главным сектам протестантизма; католикам и евреям пришлось ждать ее до XIX столетия.

Почти то же мы видим и в Америке. Здесь не англиканская церковь, а конгрегационалисты или пресвитериане пытались установить режим вероисповедного единства в отдельных колониях. Удушливая атмосфера нетерпимости Новой Англии была не лучше старой: в Коннектикуте вешали квакеров. Однако дробность сект и их чересполосица заставляли создавать островки свободы для совместной жизни иноверцев: таков Род-Айленд.

Так постепенно создавалась свобода, или ее оазисы, в мире нетерпимости, принималась не принципиально и не радостно, а по необходимости — как неизбежное зло. Но уже «из необходимости создавалась добродетель». На перекрестках духовных дорог встречаются люди — и число их растет, — которые утверждают свободу, как принцип, которые исповедуют религию свободы. Для этих избранных умов, для Мильтона, Джорджа Фокса,

для Роджера Вильямса[9] свобода неотъемлема от христианства. И тезис этих утопистов, заблудившихся в жестокий век религиозный войн, восторжествовал. Свобода оказалась практичнее насилия. Принудительное единство грозило бесконечной войной и гибелью культуры; свобода ее спасала.

* * *

Терпимость поневоле мало радует. Если бы будущее свободы зависело от утраты духовного единства, от наличия расколов и ересей, это не сулило бы ничего доброго для более счастливых времен — для Европы, вновь обретшей цельность своей культурной жизни. По счастью, христианская свобода имеет более глубокие корни, чем практическую безвыходность. Прошли века, и убеждение немногих утопистов времен Реформации вошло в плоть и кровь большинства христиан. Мало кто посмеет защищать в наши дни идею насильственного спасения. Самые авторитарные церкви ныне стоят на почве свободы — быть может, не до конца, не с полной искренностью, но это другой вопрос. Важно хотя бы то, что они не смеют утверждать насилие ради спасения, ради любви, как утверждали наши предки в течение веков, или даже тысячелетий. Христианство во многом созрело, стало мудрее, совестливее за последние века. Среди тяжелых неудач и поражений, даже гонений, которые ему случается переживать, оно могло углубиться в свои истоки, лучше осознать, «какого оно духа». Вне всякого сомнения, христианство сейчас ближе к опыту ранней церкви, ближе к Христу, чем во времена его призрачного господства над миром.

Быть может, никто с такой силой не утверждал смысла свободы для христианской церкви, как это сделал Достоевский в своей знаменитой «Легенде». Достоевский, конечно, не иерарх и даже не богослов. Но поразительно, что никто из реакционеров победоносцевской России не посмел прямо восстать против самозванного пророка. Никто не сказал: это ересь. Делали только вид, что «это нас не касается»: речь идет о папизме.

В Евангелии от Иоанна и в Павловых посланиях есть много вдохновенных слов о свободе. Но они говорят о той глубокой, последней свободе, путь к которой ведь может вести и через отрицание свободы. По крайней мере, такова была тысячелетняя

диалектика богословия. Свобода, о которой мы говорим здесь, свобода социальная, утверждается на двух истинах христианства. Первая — абсолютная ценность личности («души»), которой нельзя пожертвовать ни для какого коллектива — народа, государства или даже Церкви («девяносто девять праведников»). Вторая — свобода выбора пути — между истиной и ложью, добром и злом. Вот именно эта вторая, страшная свобода была так трудна для древнего христианского сознания, как ныне она трудна для сознания безбожного. Признать ее — значит поставить свободу выше любви, значит признать трагический смысл истории, возможность ада. Все социальные инстинкты человека протестуют против такой «жестокости». Если можно вытащить за волосы утопающего человека, почему же нельзя его вытащить «за волосы» из ада? Но в притче о плевелах и пшенице сказано: «оставьте их вместе расти до жатвы». И в древнем мифе о грехопадении, который лежит в основе христианской теодицеи, Бог создает человека свободным, зная, что этой своей страшной свободой человек погубит прекрасный Божий мир. И Бог желает спасти падший мир не властным словом («да будет»), а жертвой собственного Сына. Как же может эта жертва отменить свободу, ради которой она и была принесена? В свете этого откровения мы скорее признаем, что ошибалось и грешило полтора тысячелетия христианское человечество, чем что ошибся Бог, создав свободным человека, или ошибся Христос, взошедший на крест, чтобы спасти человека в свободе.

* * *

Но времена изменились. Новый этап борьбы за свободу начинается в XVIII веке. Люди, не помнящие истории, склонны вообще начинать историю свободы с этого века или даже с французской революции. На самом деле, в век Просвещения произошла лишь — и то не полная — секуляризация свободы. Изменились ее идеалы, ее обоснование, — как говорили недавно в России, ее «во имя». Если отвлечься от особенностей идеологии французского просвещения и взять в целом два последних века Европы с их борьбой за свободу, торжеством свободы и ее упадком, — то мы увидим две могущественных силы, которые вынесли свободу и ныне предают ее: науку и капитализм.

На рубеже XVII-XVIII века, после бесплодного надрыва религиозных войн, надолго скомпроментировавших религию, лучшие умы ищут спасения в науке. От фанатических страстей уходят в мир чистых истин математики и механической физики. Здесь нет обмана, нет произвола; здесь истина одна для всех. И разум, открывший новые миры умопостигаемых и все же реальных объектов, не только находит в их прохладном воздухе временное успокоение своей тоски по абсолютному; он приходит к убеждению, что уже обладает этим абсолютным ключом к тайнам бытия. Весь мир и жизнь начинают мыслиться по образу математических величин и их материальных субстратов. Ньютоновская физика и все производное от нее естествознание — даже социология — до наших дней владели умами и пытались утвердить себя в качестве религии разума, на место обанкротившегося христианства.

Новая наука, как всякая наука, нуждается в свободе. Эта свобода есть «свобода исследования», свобода от догматических предпосылок, свобода выбора между возможными заключениями. Такая свобода необходима для ограниченного числа ученых. По существу, она не нужна даже для популяризаторов и педагогов, не говоря о массах. Но, благодаря огромному, почти религиозному значению науки в новое время, идеалы ученых стали идеалами всего общества, то есть всех образованных или полуобразованных слоев его. Школа на всех ступенях стремилась к развитию критической мысли и к усвоению элементов научного метода. Каждый юноша, хоть бы на самое короткое время своей жизни, приобщался к армии работников науки и заражался ее патриотизмом, тем более, что образование XIX века было почти исключительно интеллектуальным.

Свобода научного исследования находила себе мощную поддержку в свободе хозяйственной предприимчивости, которую несла с собой молодая буржуазия. Она не нуждалась более в опеке государства. Прежде ценимое покровительство его становилось, или ощущалось, путами. Ученики Адама Смита приветствовали неограниченную свободу торговли, конкуренции, экономического эгоизма. Всеобщее счастье должно было родиться из борьбы всех против всех.

Но, утвердившись в хозяйстве, в этом центре социальной жизни, свобода распространяется быстро на все сферы: политику,

быт, семью, воспитание, гигиену, общественную мораль. Всюду ограничивается, минимализируется значение норм, авторитетов, принуждения, порядка. Общей предпосылкой становится оптимистический взгляд: свободная борьба стихий в личности и обществе сама по себе приводит к гармонии или к повышению творческих энергий. И, в течение двух или трех поколений, жизнь оправдывала эти надежды. XIX век был одним из величайших веков в истории человечества: одним из самых творческих и уж, конечно, самым гуманным и самым свободным.

Свобода мысли на высотах культуры, свобода хозяйства в ее центре взаимно поддерживали друг друга. Они покоились на одном принципе — рационализма. Зомбарт [10] верно уловил сродство между пробуждением экономического рационализма в итальянском Возрождении и первыми шагами научной мысли. В середине XIX века положение не изменилось. Банкир или фабрикант не только ради интереса, но и бескорыстно сочувствует успехам науки, ее борьбе против всех суеверий и торжеству народных революций, свергающих или ограничивающих власть королей.

Свобода мысли в истории новых веков сменила свободу веры, как либеральная — то есть минималистическая концепция государства — заняла место феодального плюрализма власти. Вернее, произошла перестановка ударений. Как будто бы новая чета свобод преемственно связана со старой. Свобода веры предполагает свободу неверия. Но, когда свобода неверия (сомнения, исследования) становится центральной, меняется все человеческое содержание ее: из целостной, объемлющей все ценности и все стремления человека, она становится чисто интеллектуальной. Подобно этому, плюрализм власти, защищая личность, не подрывал государства, ни его нравственного достоинства. Новый либерализм, не отменяя, конечно, государства, его дискредитирует и обезоруживает. Впрочем, не одно государство...

Здесь необходимо сделать существенную оговорку. Наблюдая народные политические движения XIX века — борьбу за свободу и равенство — мы видим, что под поверхностью рационалистических идей в них живет совсем иное содержание. Не за свободу исследования и не за свободу хозяйства французские студенты и рабочие умирали на баррикадах. Они умирали за «свободу» вообще, то есть за целостный идеал преображения жизни, за но-

вую землю и новое человечество, за эсхатологическую утопию. Даже сама организация политических партий, столь существенная для современных демократий, менее всего напоминает научную ассоциацию или хозяйственный трест. В Англии, родине всех «партий», они преемственно связаны с сектами XVII века или, точнее, с теми мирянскими союзами, «ковенантами» для защиты веры, которыми так богата история английской реформации. Партии XIX и XX века, превратившиеся (и то не до конца) в органы защиты групповых интересов, все еще покоятся на идеологической основе, на признании (а не исследовании) некоторых истин, или теоретических положений, и на общности нравственных оценок. Консерватизм, либерализм, социализм — не научные системы, хотя они и стремятся к научному обоснованию. Это определенные мировоззрения, то есть системы общественно-моральных оценок, за которыми стоят философские начала, принимаемые на веру, как основа жизни. Для XIX века это были еще крипто-религиозные силы.

Силы, открыто религиозные, великие исторические церкви в новое время редко принимают участие в борьбе за свободу. Чаще всего они оказываются в лагере врагов свободы. Со времени Ренессанса церковь выпустила из своих рук водительство культурным движением человечества. Это движение пошло по таким путям, которые вызывали ее, вполне справедливое, недоверие и осуждение. Не изменяя своим вечным началам, она не могла, конечно, принять механической системы мира, ни оптимизма Руссо, ни утилитаризма либералов, ни детерминизма марксистов... Но все эти ереси ложились в основание новых освободительных движений. Впрочем, еретическое обоснование свободы никак не может оправдать союза с обветшавшими формами социального строя. Проклиная беззаконную свободу, цеплялись за все остатки рабства или угнетения. Каждый шаг свободы, каждое новое раскрепощение личности, класса или народа встречало наиболее сильное или принципиальное сопротивление со стороны церквей. Отсюда прочно сложившееся убеждение нового либерализма, что для торжества свободы нужно «раздавить гадину». В опыте новых веков освободительное движение забывало о христианском своем происхождении. Оно ищет мнимой генеалогии в язычестве древней Греции или в неопаганизме Ренессанса.

Впрочем, этот разрыв между религией и свободой не типичен для англо-саксонского мира, то есть для родины свободы. Трагический разрыв остается господствующим фактом для европейского континента, и особенно для стран, связавших свою свободу с легендой французской революции: для Франции, Италии, Испании, России.

* * *

Трудно понять, каким образом Великая французская революция могла считаться колыбелью свободы. Так думают люди, для которых ярлыки и лозунги важнее подлинных исторических явлений. Верно то, что революция шла под великим лозунгом свободы, равенства и братства, но верно и то, что в истории Франции не было эпохи, когда эти начала предавались бы так жестоко, как за четверть века революционной эпохи. Эти лозунги, или воплощенные в них идеи, были, конечно, созданием не революции, а XVIII века. Созданием революции была централизованная Империя. Революция нашла в старом режиме, вместе с устарелыми привилегиями и неоправдываемым уже гражданским неравенством, многочисленные островки свободы: самоуправление провинций, независимость суда (парламентов), профессиональные корпорации, университет. Она уничтожила все это, решившись на то, на что не посмели Бурбоны в своей двухвековой работе по разрушению средневековых свобод. Она осуществила равенство без свободы — в противоположность тому, что повторяется обычно — конечно, равенство лишь гражданское. Грандиозное административно-совершенное здание Империи закрепило все положительные «завоевания» революции, раздавив всю ее идеологию. Империя Наполеона не есть ни реакция против революции, ни ее несчастное извращение, но логически необходимое завершение. Революция так радикально выполола мечту о свободе и даже потребность в ней, что никакая серьезная оппозиция не угрожала Империи. Она могла бы существовать хотя бы целое столетие, если бы ее не свергла иноземная интервенция. О прочности, об органичности Империи на почве, жирно политой кровью революции, свидетельствует уже тот факт, что Франция еще раз вернулась к этой форме деспотизма и жила в ней два десятилетия; Вторая Империя точно

так же была свергнута лишь внешним врагом. Но еще долго спустя бонапартизм, в том или ином виде, угрожал III республике, которая унаследовала сама почти всю свою административную организацию от той же Империи.

Свободу Франции и Европы спасла Англия и спасла дважды: отстояв свой остров от Наполеона — единственный оазис свободы в Европе 1812, как и 1940 года — и подарив — вместе с императором Александром — конституционную хартию Франции 1814 года. Только с Реставрацией начинают всходить слабые ростки французской свободы: представительные учреждения, либеральная пресса, свободное слово парламентской оппозиции. В то время политическая мысль французского либерализма искала опоры в английских учреждениях. Революция была предметом ужаса для поколений, еще хранивших живые воспоминания о ней. Лишь тогда, когда сошли в могилу последние свидетели, в 1830-х годах начинает твориться, в книгах Мишле и Луи Блана [11], легенда Революции, которой живет сейчас республиканская Франция. Эта легенда, сама по себе, может иметь освобождающую силу, подобно легенде Вильгельма Телля, не имеющей, как известно, никакого исторического оправдания. В ней британская свобода прикрыта фригийской шапкой. Но двусмысленность, создавшаяся из этого переодевания, не всегда безвредна. Рецидивы якобинства угрожают и современной Франции; Россия заплатила за увлечение Мишле (через немца Блосса! [12]) миллионами лишних жертв ЧК.

Не одна Франция получила свою конституцию из-за Ла-Манша. Все европейские конституции XIX века восходят к тому же британскому источнику. Если рецепция британских учреждений оказалась возможной и плодотворной, то это прежде всего потому, что вся Западная Европа была одной семьей народов. Они все прошли ту же историческую школу, имели не только в памяти, но и в крови рыцарство, католицизм, Реформацию. Ростки свободы жили повсюду, хоть и приглушенные веками абсолютизма. Лишь с точки зрения конституционных учреждений переход от абсолютизма к представительному строю был или казался революционным. Для «личных субъективных» прав не было революции; было лишь расширение и развитие их содержания. Если взять самые реакционные из монархических режимов старой Европы — например, Австрию Меттерниха — ее культур-

ная жизнь покажется необычайно свободной по сравнению с культурами Азии, не знавшей феодально-христианского опыта, со старой Москвой или даже с современной ей Николаевской Россией. Свобода для Европы не есть новейшее завоевание, но лишь пышное прорастание от древних корней.

Обращаясь к той стране, которая в эту эпоху была «детоводительницей к свободе», мы видим, что в ней более, чем где бы то ни было в Европе, свобода утверждается не только на новых, но и на древних основаниях. Конечно, и в Англии либерализм питался и экономическими мотивами капитализма и научным мировоззрением нового времени. Это столь хорошо знакомая — и единственно знакомая — нам, русским, линия Локка, Бентама, Милля, Спенсера. Но рядом с ней живет другая, христианская традиция свободы, сильная особенно в «свободных церквах». Гладстон [13] сделал для свободы мира больше, чем какой-либо другой политический деятель Англии. Но Гладстон был и теологом; притом теологом не одной из многочисленных сект, но государственной церкви Англии. До последнего времени лидеры рабочего движения Англии выходили из сектантских проповедников. Антихристианский радикализм начала XIX века был скорее временным увлечением. И если положительная религия в Англии, как и повсюду, переживала в XIX веке процесс медленного выветривания, ее нравственные приложения живы и поныне; да и чисто религиозные силы в достаточной мере еще питают политическую жизнь. Что касается феодальной свободы, то она переживает себя и в широком самоуправлении, в развитии всех форм «социального» (внегосударственного) права и даже в общественном значении аристократии; аристократия эта активна и часто прогрессивна, участвует во всех сферах жизни; хранимое ею феодальное начало личной чести передается всей нации. Идеал джентльмена, еще чисто сословный лет сто тому назад, теперь становится обще-национальным. Мы не знаем, конечно, правда ли, что «британцы никогда не будут рабами». Но безусловная правда, что тот тиран, вождь или «спаситель», который попытается поработить Англию во имя равенства, или во имя славы, должен будет раскусить весьма крепкий орех.

* * *

Кризис свободы за последние полвека связан с упадком тех двух основ, на которых она пыталась утвердиться в новое время: капиталистической экономики и научного позитивизма. Свободная игра гигантски выросших производительных сил привела не к гармонии, а к разрушению. Вот почему задача освобождения сменилась задачей организации. Началось с возрождения покровительственных тарифов, окончилось попытками построения социалистического хозяйства. В эпоху, когда экономические проблемы занимают центральное место, потребность экономической организации распространяется на все сферы жизни. Она поддерживается небывалым ростом техники, которая сама по себе требует принудительной организации: автомобильного движения, радио, надземных и воздушных путей. Неорганизованная техника означает столкновение, взрыв, разрушение, смерть. Но пробудившееся и праведное стремление к разумному устроению жизни выражается и в растущей системе социального обеспечения и социальной гигиены, всюду ограничивающей старую свободу, понимаемую в смысле невмешательства. Кстати, кризис парламентаризма отчасти объясняется этой же новой потребностью в рациональном и сложном законодательстве. Старая парламентарная машина создавалась не столько для управления, сколько для обуздания правителей; не для отбора компетентных законодателей, а для отражения общественных настроений. Времена изменились, и конституционная машина отказывается выполнять работу, для которой она не создана.

Кризис миросозерцания открылся в конце прошлого века, когда во Франции Брюнетьер [14] провозгласил «банкротство науки». Наука, конечно, не обанкротилась, а делает ежедневно поразительные открытия и изобретения. Но обанкротилась научная вера или суеверие, которое ждало от науки ответа на все проклятые вопросы жизни. Оказалось, что чем дальше развивается наука, тем более она удаляется от чаемого единства. В решении пограничных, метафизических вопросов ученые безнадежно расходятся друг с другом. И уж во всяком случае, из системы точных наблюдений над фактами никак не удавалось вывести систему норм. Ученый, как и последний невежда, стоит так же беспомощно перед проклятыми вопросами: в чем смысл жизни? как жить? что добро и что зло?

Когда это стало ясно для широких кругов, ученый потерял то религиозное обаяние жреца истины и пророка лучшего будущего, которым он был недавно окружен. Исследование истины перестало быть делом каждого. Техника вообще заслонила чистое знание. Интеллектуализм во всех его проявлениях оказался не ко двору. Новая ересь — иррационализм торжествует повсюду: в новейшей психологии, в искусстве, в философии.

При таких условиях «свобода исследования» стала узко-профессиональным интересом ограниченного круга ученых. Политики, ведущие за собой массы, перестали с ней считаться. Ученому просто задают задачи для обслуживания национальных или политических интересов, не считаясь с его взглядами или убеждениями. Нет такой грязной работы, которая не возлагалась бы на современного ученого в «передовых» коммуно-фашистских странах. Самое поразительное — та легкость, с которой огромное большинство ученых принимает «социальный заказ». Это показывает, что ученый сам перестал уважать науку, что его отношение к ней стало «формалистическим». Его интересует работа, техника ее, а не содержание открываемой или приоткрываемой им истины. Современный ученый не собирается умирать за науку, как умирал пуританин, гугенот или католик за свою веру.

Впрочем, это все общеизвестно. И наша тема была — рождение свободы, а не ее упадок. Но некоторые выводы из этого анализа все же можно сделать.

Известное ограничение или затмение свободы неизбежно в переживаемую нами эпоху социальной революции. До тех пор, пока задача организации нового общества, хотя бы в грубых чертах, не будет осуществлена, свободе придется приносить жертвы.

Если единственное основание нашей свободы — буржуазная свобода хозяйства и научная свобода исследования, то они, вместе с политическими свободами, из них вытекающими, вряд ли способны пережить этот кризис. Тогда это не помрачение свободы, а ее смерть.

К счастью, корни нашей свободы гораздо глубже. Рожденная в христианском средневековье, она пережила свое затмение в абсолютизме меркантилистического государства; она имеет шансы пережить и социалистическую революцию.

В тех странах, которые сейчас являются ведущими в борьбе за демократию, христианские корни свободы еще живы; есть еще люди, способные умирать не только за родину, не только за равенство, но и за свободу. Для ее новой победы и для дальнейшего роста и укрепления ее в мире, необходим ряд условий. Вот важнейшие из них:

1. Возрождение в мире абсолютного, то есть религиозного начала, которое могло бы ограничить, обуздать и исправить все относительные — праведные и неправедные — притязания государства.

2. Раскрытие этого абсолютного начала, как религии личности и свободы.

3. Ограничение суверенитета национально-социалистического государства — сверху международным принудительным союзом, снизу — федеративными и автономно-групповыми образованиями, возвращающими общество, в более совершенных правовых, демократических формах, к феодальным началам его юности.

Nicolai Gogol by Vladimir Nabokov

New Directions Books. Norfolk. Conn. 172 pp.

Новая книга о Гоголе, написанная изумительным английским языком, полная блеска, остроумия, тонких догадок и интуиций — начинается главой о его смерти; последний абзац пятой, в сущности последней, главы — словами: «Гоголь родился 1-го апреля 1809 года». Это не значит, что книга написана сзади наперед, против течения времени, по недавно создавшейся моде. Это значит только, что автор не думал писать ни биографию, ни популярного очерка гоголевского творчества. Да, по правде сказать, было бы жаль, если бы Набоковское (Сиринское) перо тупилось на такой работе: говоря известным сравнением, для чего приколачивать гвозди золотыми часами? Предоставим американским критикам защищать американского читателя. Книга Набокова, несмотря на все дополнительные «комментарии», «хронологии» и «индексы», написана для читателя (если вообще для читателя), хорошо знакомого с Гоголем и способного увлечься трудными проблемами гоголевского творчества.

То, что мы имеем здесь и за что должны быть благодарны автору, это, прежде всего, заметки на полях трех величайших созданий Гоголя: «Ревизора», «Мертвых Душ» и «Шинели». Заметки, посвященные анализу творческого воображения Гоголя и его стиля. Ценность их определяется конгениальностью обоих художников. Один из самых больших, если не самый большой, русский писатель наших дней, и притом искушенный в рефлексии на проблемы искусства, пишет о самом великом мастере русского слова; в Гоголе главная связь самого Сирина с русской литературной традицией.

Заметки Набокова освещают целый ряд проблем поэтики Гоголя: например, стремление случайных образов к разростанию

и воплощению в живых лицах; гоголевские имена, символика «Носа» и многие другие. Чего стоит одно открытие лирического смысла окрика ямщика: «Эй вы, залетные!» в «Ревизоре». И при всем том основное в поэтике Гоголя остается по-прежнему нераскрытым и загадочным.

Со времени символистов доказывать, что Гоголь не был реалистом, что он творил воображаемые миры, значит ломиться в открытые двери. Набоков не хочет отказать себе в удовольствии лишний раз поиздеваться над читателем-тупицей, который этого не понимает. Но такой читатель ничего не поймет и в книге Набокова. Однако, столь же резко отказываясь говорить о «юморе» или «комическом» у Гоголя, он не замещает образовавшейся пустоты никакой новой концепцией. И Гоголь, и Набоков творцы воображаемых миров. Однако эти миры совершенно различны. Каковы законы, управляющие мирами Гоголя? Комическое, как и трагическое, несомненно входит в их состав. Всякий смеется, читая Гоголя; и Гоголь-художник рассчитывает на этот смех. Но есть множество родов комического, как и трагического, и мы ждем, чтобы кто-нибудь дал точное описание трагикомического у Гоголя.

Трагикомическое искусство есть прежде всего человечески-окрашенное искусство. Евклидова природа и не-евклидова геометрия равно чужды и комедии и трагедии. Попытка Набокова отрицать, наравне с реализмом, человечески-нравственное содержание Гоголя обессмысливает и его искусство и его судьбу. Различие между Гоголем и Сириным существует; более того, это различие огромно, и, может быть, анализ его даст лучший ключ к пониманию Гоголя.

Верить Гоголю в его наивно-моралистической интерпретации своего искусства невозможно. Набоков убедительно доказывает – не он первый – недостоверность и даже лживость Гоголя. Но, сводя личную драму и гибель Гоголя к «иссяканию творческих сил», Набоков отказывается от ее объяснения. Это иссякание становится чем-то внешним, как физическая болезнь. Но мы ясно чувствуем, что иссякание было следствием какой-то основной порочности творческой личности.

Искусство не сводимо на нравственность, как пытались у нас сводить его Гоголь и Толстой. Но искусство – почти всегда – вырастает из той же глубины, что и нравственная жизнь. Засыха-

ние личности неизбежно должно вести и к гибели искусства. Ключ к Гоголю-художнику, в последнем счете, дается его религиозной драмой.

Замечательно, что, когда Набоков подходит к интерпретации «Мертвых Душ», он не может избавиться от вне-эстетических, а именно религиозных категорий. Для него – а не для Гоголя только – Чичиков есть выходец из ада, воплощение злого духа. Автор повторяет это чуть не на каждой странице. Не знаю, верит ли Набоков в черта, как верил Гоголь, но не означает ли это, что вне религиозных, хотя бы отрицательных категорий мы не можем дать адекватного описания гоголевского искусства?

О. Сергий Булгаков

Среди вестей из освобожденного Парижа, то радостных, то печальных, дошло известие о смерти о. Сергия Булгакова. О. Сергий скончался 3 июля, не приходя в сознание в течение 37 дней после постигшего его удара. Эта потеря огорчит многих, не одних учеников и единомышленников покойного. Имя Сергия Булгакова принадлежит столько же русской Церкви, сколько русской культуре. Ни одна история русской мысли не пройдет мимо него. Это одна из великих вех на, может быть, не очень влиятельном, но очень значительном пути, которым шла часть русской интеллигенции. А.С. Хомяков и В.С. Соловьев — его великие предшественники. Сергий Булгаков может быть без ложного панегирического преувеличения назван в этой славной плеяде, как равный среди равных.

Сейчас мы хороним одного за другим последних могикан, бывших носителей великой русской культуры в предреволюционном поколении. В их лице мы провожаем наше прошлое. С Булгаковым уходит не одно прошлое, но и настоящее. Он умер 73 лет от роду, но годы не имели над ним никакой власти. Его мысль не знала ни минуты покоя. Он не переставал мыслить и писать до самого конца — умер, можно сказать, с пером в руках. Мы имели в Америке точные сведения, что он закончил и даже сдал в печать последний том своей богословской трилогии «Невеста Агнца». Этот том посвящен учению о Церкви и эсхатологии, т. е., в существенном, философии истории и культуры. Это те самые проблемы, которые волновали целое столетие русскую интеллигенцию. Когда-то С.Н. Булгаков, марксистский экономист, отдал им свою молодость; теперь священник о. Сергий приносит для разрешения их опыт Церкви и вдохновение своего неиссякаемого творчества.

Это сопоставление дает ключ к человеку и писателю. При

всем бесспорном единстве его творческой личности, С.Н. Булгаков выражал себя в разных точках и в разных сферах идей. Различие здесь может показаться глубоким до несовместимости. Для поверхностного читателя есть не один, а, по крайней мере, три Булгакова, – говорящих совершенно разными языками: Булгаков – марксист, Булгаков – христианский идеалист и Булгаков – православный богослов. Теперь трудно думать о Булгакове как о профессоре политической экономии. Никто уже не читает его «Капитализм и земледелие» или его экономические статьи, собрание которых могло бы заполнить не один том. Но Булгаков – идеалист, кантианец, критик Маркса, христианский социалист – у многих в памяти. Книги, написанные им в этот период – от 1900 до 1917 гг., – «Два града», «Философия хозяйства», «Свет невечерний» в литературном отношении принадлежат к лучшему, что вышло из-под пера его. В них есть свежесть и трепет ищущей мысли, изящество формы, а в последней из названных особенный мистический воздух, чувство приоткрываемой тайны, подобное древним мистериям. И действительно, здесь философ-неоплатоник впервые посвящается в христианские таинства.

«Свет невечерний» стоит на грани. Вскоре после издания этой книги в 1917 году, в грохоте и буре революции, профессор Булгаков принимает священство и отдает свою жизнь на служение той Церкви, от алтаря которой он бежал молодым семинаристом. Тогда он ушел от господствующей, привилегированной Церкви. Теперь он возвращается к Церкви гонимой, мученической, в древнем учении которой он открыл вдохновляющую истину. В те страшные годы арест и смерть не раз угрожали ему в Крыму, где он нес свой крест рядового приходского священника. Его спасение и высылка за границу (он не уехал бы из России по доброй воле), кажутся почти чудом.

Людям, стоящим вдали от Церкви, возвращение в нее представляется почти всегда как поиски тихой пристани. В Церкви все твердо, нерушимо, все теоретические вопросы решены тысячелетия тому назад; нормы поведения предписаны законом. Этот взгляд является большим недоразумением. Несомненно, есть люди, которые приходят в Церковь в жажде покоя. Находят ли они его или нет – другой вопрос. На самом деле, если для верующего решены многие из вопросов, которые безнадежно

мучат позитивиста, перед ним встает множество проблем, о которых последний не имеет понятия. Религиозная ответственность и целостная жизненная ориентировка сообщают остроту трагедии темам, которые со стороны могут представляться баловством или роскошью теоретической мысли.

О. Сергий Булгаков пришел в Церковь не для покоя, а для борьбы — во всяком случае, для творчества. Да, он смирял себя, он проходил долгий искус покаяния. Он не переставал слушать голос Церкви, идущий из ее предания, из ее живой литургии. Он сделал огромные усилия (может быть, напрасные), чтобы сломать свой прекрасный русский язык и научиться тем славянизмам, на которых привыкла говорить русская Церковь. Эта последняя операция — стилистически сомнительная — делает его богословские сочинения почти недоступными для людей, не привыкших к языку Филаретов и Иннокентиев. Ни Хомяков, ни Соловьев так не писали, но они и не носили рясы. Для о. Сергия полуславянский язык был символом его священства. Он соответствовал новому методу в богословии, проповедуемому им: методу литургическому, который ищет выражения церковного голоса больше в словах молитв, чем в догматических трактатах.

Но о. Сергий навсегда сохранил свое убеждение, что Церковь есть не консервативное, а творческое начало в мире, что предание есть «живое» и непрестанно развивающееся; что даже догматическое творчество ее не закончено с эпохи вселенских соборов, и что как раз ныне, в России, в нашу революционно-апокалиптическую эпоху настало время нового догматического пробуждения.

О. Сергий принимал без оговорок и сомнений все догматическое наследие Церкви. Догматы были для него не оковами, а крыльями собственной мысли, которая в них обретала свободу для творческого полета. Но он верил, что новая эпоха ставит перед церковным сознанием новые догматические вопросы, на пороге которых остановилась Византия. Главнейшая из этих догматических проблем: Святая София (тема, поставленная у нас Соловьевым), и учение о Св. Духе, мало разработанное в древности.

Материалом для решения этих вопросов для Булгакова служили творения мистических отцов греческой Церкви, обойденные в школьном богословии, литургическое наследие Византии

и религиозная интуиция русского народа, раскрывающаяся во всей его исторической церковной и нецерковной культуре. Богословская система (или системы) о. Сергия представляют (вместе с о. Флоренским) первый опыт построения христианской догматики на чисто восточных основах. Это крайнее выражение богословского славянофильства.

Понятно, что на этом пути смелого богослова подстерегали большие опасности. Реакционные элементы в русской Церкви смотрели с подозрением на опыты новой «софиологии». Булгаков приобрел славу еретика. Его учение было осуждено как правым «Карловацким» направлением зарубежной Церкви, так и митрополитом Сергием в Москве.

Проблемы, поставленные о. Сергием Булгаковым, так глубоки, что не одно поколение русских христиан будет биться над их решением. Сам он все время работал над все новым выражением своих излюбленных идей. Нельзя не находить противоречий между тем, что он в разное время писал о России. Более того, метод «антиномий», принятый им, вводил противоречие в самое сердце мысли. Противоречия находятся на каждой странице. Но о. Сергий был убежден, что без противоречий нельзя говорить о непостижимом.

Менее всего образ о. Сергия исчерпывается качеством чистой мысли. О. Сергий был человеком вдохновения и «харизматиком» в древнехристианском смысле. Ему была особенно дорога ипостась Святого Духа (которому посвящена его последняя выпущенная книга), как источника всякого вдохновения и творчества. Он не переставал находить ключи этого вдохновения в природе и искусстве, как и в молитве и в таинстве. Для него не существовало ничего абсолютно мирского и профанного. В жизни и творчестве он остался романтиком. Океан, который он увидел на пути в Америку, волновал его, как некогда Пушкина и Байрона. Он сам в себе носил океан идей, эмоций, волнений. Может быть, он не достиг последней просветленной ясности и тишины. Но он не переставал гореть перед Богом, не свечой, а костром, в духе и силе ветхозаветного пророка. Дух Илии — огненосимого библейского Икара — почил на нем. Тишина и мир не были даны ему в здешней жизни. Будем верить, что он вкусил их за ее последней чертой.

Россия и свобода

1

Сейчас нет мучительнее вопроса, чем вопрос о свободе в России. Не в том, конечно, смысле, существует ли она в СССР, — об этом могут задумываться только иностранцы, и то слишком невежественные. Но о том, возможно ли ее возрождение там после победоносной войны, мы думаем все сейчас — и искренние демократы и полуфашистские попутчики. Только прямые черносотенцы, воспитанные в разных Союзах Русского Народа, чувствуют себя счастливыми в Москве Ивана Грозного. Большинство среди апологетов московской диктатуры — вчерашние социалисты и либералы — убаюкивают свою совесть уверенностью в неизбежном и скором освобождении России. Чаемая эволюция советской власти позволяет им принимать с легким сердцем, а то и с ликованием, порабощение все новых народов Европы. Можно потерпеть несколько лет угнетения, чтобы впоследствии жить полноправными участниками самого свободного и счастливого общества в мире.

С другой стороны, прошлое России как будто не дает оснований для оптимизма. В течение многих веков Россия была самой деспотической монархией в Европе. Ее конституционный — и какой хилый! — режим длился всего одиннадцать лет; ее демократия — и то скорее в смысле провозглашения принципов, чем их осуществления — каких-нибудь восемь месяцев. Едва освободившись от царя, народ, пусть недобровольно и не без борьбы, подчинился новой тирании, по сравнению с которой царская Россия кажется раем свободы. При таких условиях можно понять иностранцев, или русских евразийцев, которые приходят к выводу, что Россия органически порождает деспотизм — или фашистскую «демотию»[1] — из своего национального духа, или своей геополитической судьбы; более того, в деспотизме всего легче осуществляет свое историческое призвание.

Обязаны ли мы выбирать между этими крайними утверждениями: твердой верой или твердым неверием в русскую свободу? Мы принадлежим к тем людям, которые страстно жаждут свободного и мирного завершения русской революции. Но уже давно горький опыт жизни приучил нас не смешивать своих желаний с действительностью. Не разделяя доктрины исторического детерминизма, мы допускаем возможность выбора между разными вариантами исторического пути народов. Но с другой стороны, власть прошлого, тяжелый или благодетельный груз традиций, эту свободу выбора чрезвычайно ограничивает. Ныне, когда, после революционного полета в неизвестность, Россия возвращается на свои исторические колеи, ее прошлое, более, чем это казалось вчера, чревато будущим. Не мечтая пророчествовать, можно пытаться разбирать неясные черты грядущего в тусклом зеркале истории.

2

В настоящее время немного найдется историков, которые верили бы во всеобщие законы развития народов. С расширением нашего культурного горизонта возобладало представление о многообразии культурных типов. В своей статье в № 8 «Нового Журнала» я старался показать, что лишь один из них — христианский, западно-европейский — породил в своих недрах свободу в современном смысле слова — в том смысле, в котором она сейчас угрожает исчезнуть из мира. Не буду возвращаться к этой теме. Сегодня нас интересует Россия. Ответить на вопрос о судьбе свободы в России почти то же, что решить, принадлежит ли Россия к кругу народов западной культуры; до такой степени понятие этой культуры и свободы совпадают в своем объеме. Если не Запад, — то значит Восток? Или нечто совсем особое, отличное от Запада и Востока? Если же Восток, то в каком смысле Восток?

Восток, о котором идет речь всегда, когда его противополагают Западу, есть преемство передне-азиатских культур, идущих непрерывно от Шумеро-Аккадской древности до современного Ислама. Древние греки боролись с ним, как с Персией, побеждали его, но и отступали перед ним духовно, пока, в эпоху Визан-

тии, не подчинились ему. Западное средневековье сражалось с ним и училось у него в лице арабов. Русь имела дело сперва с иранскими, потом с (тюркскими) татарскими окраинами того же Востока, который в то же самое время не только влиял, но и прямо воспитывал ее в лице Византии. Русь знала Восток в двух обличиях: «поганом» (языческом) и православном. Но Русь создалась на периферии двух культурных миров: Востока и Запада. Ее отношения с ними складывались весьма сложно: в борьбе на оба фронта, против «латинства» и против «поганства», она искала союзников то в том, то в другом. Если она утверждала свое своеобразие, то чаще подразумевая под ним свое православно-византийское наследие; но последнее тоже было сложным. Византийское православие было, конечно, ориентализированным христианством, но прежде всего оно было христианством; кроме того, с этим христианством связана изрядная доля греко-римской традиции. И религия, и эта традиция роднили Русь с христианским Западом даже тогда, когда она не хотела и слышать об этом родстве.

В тысячелетней истории России явственно различаются четыре формы развития основной русской темы: Запад – Восток. Сперва в Киеве мы видим Русь свободно воспринимающей культурные воздействия Византии, Запада и Востока. Время монгольского ига есть время искусственной изоляции и мучительного выбора между Западом и Востоком (Литва и Орда). Москва представляется государством и обществом существенно восточного типа, который, однако же, скоро (в XVII веке) начинает искать сближения с Западом. Новая эпоха – от Петра до Ленина – представляет, разумеется, торжество западной цивилизации на территории Российской Империи.

В настоящей статье мы рассматриваем лишь один аспект этой западно-восточной темы: судьбу свободы в древней Руси, в России и в СССР.

3

В Киевскую эпоху Русь имела все предпосылки, из которых на Западе в те времена всходили первые побеги свободы. Ее церковь была независима от государства, и государство, полуфео-

дального типа — иного, чем на Западе — было так же децентрализовано, так же лишено суверенитета.

Христианство пришло к нам из Византии и, казалось бы, византинизм во всех смыслах, в том числе и политическом, был уготован как естественная форма молодой русской нации. Но византинизм есть тоталитарная культура, с сакральным характером государственной власти, крепко держащей церковь в своей не слишком мягкой опеке. Византинизм исключает всякую возможность зарождения свободы в своих недрах.

К счастью, византинизм не мог воплотиться в киевском обществе, где для него отсутствовали все социальные предпосылки. Здесь не было не только императора (царя), но и короля (или даже великого князя), который мог бы притязать на власть над церковью. Церковь и на Руси имела своего царя, своего помазанника, но этот царь жил в Константинополе. Его имя было для восточных славян идеальным символом единства православного мира — не больше. Сами греки-митрополиты, подданные Византии, менее всего думали о перенесении на князей варварских народов высокого царского достоинства. Царь — император — один во всей вселенной. Вот почему церковная проповедь богоустановленности власти еще не сообщала ей ни сакрального, ни абсолютного характера. Церковь не смешивалась с государством и стояла высоко над ним. Поэтому она могла требовать у носителей княжеской власти подчинения некоторым идеальным началам не только в личной, но и в политической жизни: верности договорам, миролюбия, справедливости. Преп. Феодосий бесстрашно обличал князя узурпатора, а митр. Никифор мог заявлять князьям: «Мы поставлены от Бога унимать вас от кровопролития».

Эта свобода церкви была возможна прежде всего потому, что русская церковь не была еще национальной, «автокефальной», но сознавала себя частью греческой церкви. Ее верховный иерарх жил в Константинополе, недоступный для покушений местных князей. Перед вселенским патриархом смирялся и Андрей Боголюбский.

Важно, конечно, и другое. Древнерусский князь не воплощал полноты власти. Он должен был делить ее и с боярством, и с дружиной, и с вечем. Менее всего он мог считать себя хозяином своей земли. К тому же он и менял ее слишком часто. При таких

условиях оказалось возможным даже создание в Новгороде единственной в своем роде православной демократии. С точки зрения свободы, существенно не верховенство народного собрания. Само по себе вече, ничуть не более князя, обеспечивало свободу личности. На своих мятежных сходках оно подчас своевольно и капризно расправлялось и с жизнью и с собственностью сограждан. Но само разделение властей, идущее в Новгороде далее, чем где-либо, между князем, «господой», вечем и «владыкой», давало здесь больше возможностей личной свободы. Оттого такой вольной рисуется нам, сквозь дымку столетий, жизнь в древнем русском народоправстве.

В течение всех этих веков Русь жила общей жизнью, хотя скоро и разделенная религиозно, с восточной окраиной «латинского» мира: Польша, Венгрия, Чехия и Германия, Скандинавские страны далеко не всегда враги, но часто союзники, родичи русских князей — особенно в Галиче и Новгороде. Основное христианское и культурное единство их с восточным славянством не забыто. Восток же обернулся своим хищным лицом: кочевники-тюрки, некультурные иранцы соседят с Русью, опустошают ее пределы, вызывают напряжение всех политических сил для обороны. Восток не соблазняет ни культурой, ни государственной организацией. Церковь не устает проповедовать необходимость общей борьбы против «поганых», и здесь ее голоса слушались охотнее, нежели предупреждений против латинян, исходящих от греческой иерархии.

Словом, в Киевской Руси, по сравнению с Западом, мы видим не менее благоприятные условия для развития личной и политической свободы. Ее побеги не получили юридического закрепления, подобного западным привилегиям. Слабость юридического развития Руси факт несомненный. Но в Новгороде имело место и формальное ограничение княжеской власти в форме присяги. Традиция под именем «отчины» и «пошлины» в средние века была лучшей охраной личных прав. Несчастье Руси было в другом, прямо обратном: в недостаточном развитии государственных начал, в отсутствии единства. Едва ли можно и говорить об удельной Руси как о едином государстве. Это было династическое и церковное объединение — политически столь слабое, что оно не выдержало исторического испытания. Свободная Русь стала на века рабой и данницей монголов.

Двухвековое татарское иго еще не было концом русской свободы. Свобода погибла лишь после освобождения от татар. Лишь московский царь, как преемник ханов, мог покончить со всеми общественными силами, ограничивающими самовластие. В течение двух и более столетий северная Русь, разоряемая и унижаемая татарами, продолжала жить своим древним бытом, сохраняя свободу в местном масштабе и, во всяком случае, свободу в своем политическом самосознании. Новгородская демократия занимала территорию большей половины восточной Руси. В удельных княжествах церковь и боярство, если не вече, уже замолкшее, разделяли с князем ответственность за судьбу земли. Князь по-прежнему должен был слушать уроки политической морали от епископов и старцев и прислушиваться к голосу боярства. Политический имморализм, результат чужеземного корыстного владычества, не успел развратить всего общества, которое в своей культуре приобретает даже особую духовную окрыленность. Пятнадцатый век — золотой век русского искусства и русской святости. Даже «Измарагды» и другие сборники этого времени отличаются своей религиозной и нравственной свободой от московских и византийских Домостроев.

Есть одна область средневековой Руси, где влияние татарства ощущается сильнее — сперва почти точка на карте, потом все расплывающееся пятно, которое за два столетия покрывает всю восточную Русь. Это Москва, «собирательница» земли русской. Обязанная своим возвышением прежде всего татарофильской и предательской политике своих первых князей, Москва благодаря ей обеспечивает мир и безопасность своей территории, привлекает этим рабочее население и переманивает к себе митрополитов. Благословение церкви, теперь национализирующейся, освящает успехи сомнительной дипломатии. Митрополиты, из русских людей и подданных московского князя, начинают отождествлять свое служение с интересами московской политики. Церковь еще стоит над государством, она ведет государство, в лице м[итрополита] Алексия (наш Ришелье) управляя им. Национальное освобождение уже не за горами. Чтобы ускорить его, готовы с легким сердцем жертвовать элементарной справедливостью и завещанными из древности основами христианского общежития. Захваты территорий, вероломные аресты князей-соперников совершаются при поддержке церковных уг-

роз и интердиктов. В самой московской земле вводятся татарские порядки в управлении, суде, сборе дани. Не извне, а изнутри татарская стихия овладевала душой Руси, проникала в плоть и кровь. Это духовное монгольское завоевание шло параллельно с политическим падением Орды. В XV веке тысячи крещеных и некрещеных татар шли на службу к московскому князю, вливаясь в ряды служилых людей, будущего дворянства, заражая его восточными понятиями и степным бытом.

Само собирание уделов совершалось восточными методами, непохожими на одновременный процесс ликвидации западного феодализма. Снимался весь верхний слой населения и уводился в Москву, заменяясь пришлыми и чужими людьми. Без остатка выкорчевывались все местные особенности и традиции — с таким успехом, что в памяти народной уже не сохранилось героических легенд прошлого. Кто из тверичей, рязанцев, нижегородцев в XIX веке помнил имена древних князей, погребенных в местных соборах, слышал об их подвигах, о которых мог бы прочитать на страницах Карамзина? Древние княжества русской земли жили разве в насмешливых и унизительных прозвищах, даваемых друг другу. Малые родины потеряли всякий исторический колорит, который так красит их везде во Франции, Германии и Англии. Русь становилась сплошной Московией, однообразной территорией централизованной власти: естественная предпосылка для деспотизма.

Но старая Русь не сдалась Московии без борьбы. Большая часть XVI столетия заполнена шумными спорами и залита кровью побежденных. «Заволжские старцы» и княжеское боярство пытались защищать духовную и аристократическую свободу против православного ханства. Русская церковь раскололась между служителями царства Божия и строителями московского царства. Победили осифляне и опричники. Торжество партии Иосифа Волоцкого над учениками Нила Сорского привело к окостенению духовной жизни. Победа опричнины, нового «демократического» служилого класса над родовой знатью означало варваризацию правящего слоя, рост холопского самосознания в его среде и даже усиление эксплуатации трудового населения. Побежденные принадлежали несомненно к уходящим, к отвергнутым жизнью слоям. Это была реакция — совести и свободы. В данную эпоху «прогресс» был на стороне рабства. Этого

достаточно, чтобы прельстить гегельянцев — Соловьевых и прочих попутчиков истории. Но разве не позволительно остановиться на одном из поворотных моментов русской жизни и спросить себя: что было бы, если бы «ближней раде» Адашевых, Сильвестров и Курбских, опираясь на земский собор, удалось начать эру русского представительного строя? Этого не случилось. Князь Курбский, этот Герцен XVI столетия, с горстью русских людей, бежавших из московской тюрьмы, спасали в Литве своим пером, своей культурной работой честь русского имени. Народ был не с ними. Народ не поддержал боярства и возлюбил Грозного. Причины ясны. Они всегда одни и те же, когда народ поддерживает деспотизм против свободы — при Августе и в наши дни: социальная рознь и национальная гордость. Народ имел, конечно, основания тяготиться зависимостью от старых господ, — и не думал, что власть новых опричных дворян несет ему крепостное право. И уж, наверное, он был заворожен зрелищем татарских царств, падающих одно за другим перед царем московским. Русь, вчерашняя данница татар, перерождалась в великую восточную державу:

А наш белый царь над царями царь,
Ему орды все подклонилися.

4

Московское самодержавие, при всей своей видимой цельности, было явлением очень сложного происхождения. Московский государь, как князь Московский, был вотчинником, «хозяином земли русской» (так называли еще Николая II [2]). Но он же был преемником и ханов-завоевателей и императоров Византийских. Царями называли на Руси и тех, и других. Это слияние разнородных идей и средств власти создавало деспотизм, если не единственный, то редкий в истории. Византийский император в принципе магистрат, добровольно подчиняющийся своим собственным законам. Он, хотя и без всяких оснований, гордился тем, что царствует над свободными, и любил противополагать себя тиранам. Московский царь хотел царствовать над рабами и не чувствовал себя связанным законом. Как говорил

Грозный, «жаловать есмя своих холопов вольны, а и казнить вольны же». С другой стороны, восточный деспот, не связанный законом, связан традицией, особенно религиозной. В Москве Иван IV и впоследствии Петр показали, как мало традиция ограничивает самовластие московского царя. Церковь, которая больше всего содействовала росту и успехам царской власти, первая за это поплатилась. Митрополиты, назначаемые фактически царем, им же и свергались с величайшей легкостью. Один из них, если не два, были убиты по приказу Грозного. И в чисто церковных делах, как показала Никоновская реформа, воля царя была решающей. Когда он пожелал уничтожить патриаршество и ввести в русской церкви протестантский синод, и это сошло для него безнаказанно.

Все сословия были прикреплены к государству службой или тяглом. Человек свободной профессии был явлением немыслимым в Москве — если не считать разбойников. Древняя Русь знала свободных купцов и ремесленников. Теперь все посадские люди были обязаны государству натуральными повинностями, жили в принудительной организации, перебрасываемые с места на место в зависимости от государственных нужд. Крепостная неволя крестьянства на Руси сделалась повсеместной в то самое время, когда она отмирала на Западе, и не переставала отягощаться до конца XVIII столетия, превратившись в чистое рабство. Весь процесс исторического развития на Руси стал обратным западно-европейскому: это было развитие от свободы к рабству. Рабство диктовалось не капризом властителей, а новым национальным заданием: создания империи на скудном экономическом базисе. Только крайним и всеобщим напряжением, железной дисциплиной, страшными жертвами могло существовать это нищее, варварское, бесконечно разрастающееся государство. Есть основания думать, что народ в XVI–XVII веках лучше понимал нужды и общее положение государства, чем в XVIII–XIX. Сознательно или бессознательно, он сделал свой выбор между национальным могуществом и свободой. Поэтому он несет ответственность за свою судьбу.

В татарской школе, на московской службе выковался особый тип русского человека — московский тип, исторически самый крепкий и устойчивый из всех сменяющихся образов русского национального лица. Этот тип, психологически, представляет

сплав северного великоросса с кочевым степняком, отлитый в формы осифлянского православия. Что поражает в нем прежде всего, особенно по сравнению с русскими людьми XIX века, это его крепость, выносливость, необычайная сила сопротивляемости. Без громких военных подвигов, даже без всякого воинского духа — в Москве угасла киевская поэзия военной доблести, — одним нечеловеческим трудом, выдержкой, более потом, чем кровью, создал москвитянин свою чудовищную империю. В этом пассивном героизме, неисчерпаемой способности к жертвам была всегда главная сила русского солдата — до последних дней империи. Мировоззрение русского человека упростилось до крайности; даже по сравнению со средневековьем — москвич примитивен. Он не рассуждает, он принимает на веру несколько догматов, на которых держится его нравственная и общественная жизнь. Но даже в религии есть нечто для него более важное, чем догмат. Обряд, периодическая повторяемость узаконенных жестов, поклонов, словесных формул связывает живую жизнь, не дает ей расползаться в хаос, сообщает ей даже красоту оформленного быта. Ибо московский человек, как русский человек во всех своих перевоплощениях, не лишен эстетики. Только теперь его эстетика тяжелеет. Красота становится благолепием, дебелость идеалом женской прелести. Христианство, с искоренением мистических течений «Заволжья», превращается все более в религию священной материи: икон, мощей, святой воды, ладана, просфор и куличей. Диететика питания становится в центре религиозной жизни. Это ритуализм, но ритуализм страшно требовательный и морально эффективный. В своем обряде, как еврей в законе, москвич находит опору для жертвенного подвига. Обряд служит для конденсации моральных и социальных энергий.

В Московии моральная сила, как и эстетика, является в аспекте тяжести. Тяжесть сама по себе нейтральна — и эстетически, и этически. Тяжел Толстой, легок Пушкин. Киев был легок, тяжела Москва. Но в ней моральная тяжесть принимает черты антихристианские: беспощадности к падшим и раздавленным, жестокости к ослабевшим и провинившимся. «Москва слезам не верит». В XVII веке неверных жен зарывают в землю, фальшивомонетчикам заливают горло свинцом. В ту пору и на западе уголовное право достигло пределов бесчеловечия. Но там это было

обусловлено антихристианским духом Возрождения; на Руси — бесчеловечием византийско-осифлянского идеала.

Ясно, что в этом мире не могло быть места свободе. Послушание в школе Иосифа было высшей монашеской добродетелью. Отсюда его распространение через Домострой в жизнь мирянского общества. Свобода для москвича — понятие отрицательное: синоним распущенности, «ненаказанности», безобразия.

Ну, а как же «воля», о которой мечтает и поет народ, на которую откликается каждое русское сердце? Слово «свобода» до сих пор кажется переводом французского liberté. Но никто не может оспаривать русскости «воли». Тем необходимее отдать себе отчет в различии воли и свободы для русского слуха.

Воля есть прежде всего возможность жить, или пожить, по своей воле, не стесняясь никакими социальными узами, не только цепями. Волю стесняют и равные, стесняет и мир. Воля торжествует или в уходе из общества, на степном просторе, или во власти над обществом, в насилии над людьми. Свобода личная немыслима без уважения к чужой свободе; воля всегда для себя. Она не противоположна тирании, ибо тиран есть тоже вольное существо. Разбойник — это идеал московской воли, как Грозный идеал царя. Так как воля, подобно анархии, невозможна в культурном общежитии, то русский идеал воли находит себе выражение в культе пустыни, дикой природы, кочевого быта, цыганщины, вина, разгула, самозабвения страсти, — разбойничества, бунта и тирании.

Есть одно поразительное явление в Москве XVII века. Народ обожает царя. Нет и намека на политическую оппозицию ему, на стремление участвовать во власти или избавиться от власти царя. И в то же время, начиная от смуты и кончая царствованием Петра, все столетие живет под шум народных — казацких — стрелецких, бунтов. Восстание Разина потрясло до основания все царство. Эти бунты показывают, что тягота государственного бремени была непосильна: в частности, что крестьянство не примирилось — и никогда не примирялось — с крепостной неволей. Когда терпеть становится не в мочь, когда «чаша народного горя с краями полна», тогда народ разгибает спину: бьет, грабит, мстит своим притеснителям — пока сердце не отойдет; злоба утихнет, и вчерашний «вор» сам протягивает руки царским приставам: вяжите меня. Бунт есть необходимый политический

катарсис для московского самодержавия, исток застоявшихся, не поддающихся дисциплинированию сил и страстей. Как в Лесковском рассказе «Чертогон» суровый, патриархальный купец должен раз в году перебеситься, «выгнать черта» в диком разгуле, так московский народ раз в столетие справляет свой праздник «дикой воли», после которой возвращается, покорный, в свою тюрьму. Так было после Болотникова, Разина, Пугачева, Ленина.

Нетрудно видеть, что произошло бы в случае победы Разина или Пугачева. Старое боярство, или дворянство было бы истреблено; новая казачья опричнина заняла бы его место; С. М. Соловьев и С. Ф. Платонов назвали бы это вторичной демократизацией правящего класса. Положение крепостного народа ничуть не изменилось бы, как не изменилось бы и положение царя с переменой династии. Ведь и Романовы вступили на престол при поддержке казаков и тушинцев. Крепостничество вызывалось государственными нуждами, а государственные инстинкты смутно жили и в казачестве. Народ мог только переменить царя, но не ограничить его. Больше того, он не пожелал воспользоваться самоуправлением, которое предлагал ему сам царь, и испытывал, как лишнее бремя, участие в земских соборах, которые могли бы, при ином отношении народа к государственному делу, сделаться зерном русских представительных учреждений. Нет, государство — дело царское, а не народное. Царю вся полнота власти, а боярам, придет пора, отольются народные слезы.

Если где и теплилась в Москве потребность в свободе, то уж, конечно, в этом самом ненавистном боярстве. Не взирая на погром времен Грозного, эти вольнолюбивые настроения нашли свой выход в попытках конституционных ограничений власти царя Василия, Владислава, Михаила. Боярство стремилось обеспечить себя от царской опалы и казни без вины — habeas corpus. И цари присягали, целовали крест. Не поддержал народ, видевший в царских опалах свою единственную защиту — или месть, — и первая русская конституция оказалась подлинной пропавшей грамотой.

Москва не просто двухвековой эпизод русской истории — окончившийся с Петром. Для народных масс, оставшихся чуждыми европейской культуре, московский быт затянулся до само-

го освобождения (1861 г.). Не нужно забывать, что и купечество, и духовенство жили и в XIX веке этим московским бытом. С другой стороны, в эпоху своего весьма бурного существования, московское царство выработало необычайное единство культуры, отсутствовавшее и в Киеве, и в Петербурге. От царского дворца до последней курной избы московская Русь жила одним и тем же культурным содержанием, одними идеалами. Различия были только количественные. Та же вера и те же предрассудки, тот же Домострой, те же апокрифы, те же нравы, обычаи, речь и жесты. Нет не только грани между христианством и язычеством (Киев) или между Западной и Византийской традицией (Петербург), но даже между просвещенной и грубой верой. Вот это единство культуры и сообщает московскому типу его необычайную устойчивость. Для многих он кажется даже символом русскости. Во всяком случае он пережил не только Петра, но и расцвет русского европеизма; в глубине народных масс он сохранился до самой революции.

5

Стало давно трюизмом, что со времени Петра Россия жила в двух культурных этажах. Резкая грань отделяла тонкий верхний слой, живущий западной культурой, от народных масс, оставшихся духовно и социально в Московии. К народу принадлежало не только крепостное крестьянство, но все торгово-промышленное население России, мещане, купцы, и, с известными оговорками, духовенство. В отличие от неизбежных культурных градаций между классами на Западе, как и во всяком дифференцированном обществе, в России различия были качественные, а не количественные. Две разные культуры сожительствовали в России XVIII века. Одна представляла варваризированный пережиток Византии, другая ученическое усвоение европеизма. Выше классовой розни между дворянством и крестьянством была стена непонимания между интеллигенцией и народом, не скрытая до самого конца. Некогда могло казаться, что этот дуализм, или даже самое существование интеллигенции, как особой культурной категории, есть неповторимое, чисто русское явление. Теперь, на наших глазах, с европеизацией Индии, Ки-

тая, мы видим, что то же явление происходит повсюду на стыке двух древних и мощных культур. Взгляд на Россию с Востока, или, что то же самое, глазами западного человека, который видит в ней «Скифию», необходимая предпосылка для понимания Империи. Но, признав это, сейчас же следует сказать: поразительна та легкость, с которой русские скифы усваивали чуждое им просвещение. Усваивали не только пассивно, но и активно-творчески. На Петра немедленно ответили Ломоносовым, на Растрелли – Захаровым, Воронихиным; через полтораста лет после петровского переворота – срок небольшой – блестящим развитием русской науки. Поразительно то, что в искусстве слова, в самом глубоком и интимном из созданий национального гения (впрочем то же и в музыке) Россия дала всю свою меру лишь в XIX веке. Погибни она, как нация, еще в эпоху наполеоновских войн, и мир никогда бы не узнал, что он потерял с Россией.

Этот необычайный расцвет русской культуры в новое время оказался возможным лишь благодаря прививке к русскому дичку западной культуры. Но это само по себе показывает, что между Россией и Западом было известное сродство; иначе чуждая стихия искалечила бы и погубила национальную жизнь. Уродств и деформаций было немало. Но из галлицизмов XVIII века вырос Пушкин; из варварства 60-х годов – Толстой, Мусоргский и Ключевский. Значит, за ориентализмом московского типа лежали нетронутыми древние пласты киево-новгородской Руси, и в них легко и свободно совершался обмен духовных веществ с христианским Западом. Могло ли быть иначе? Кто из нас, даже сейчас, может равнодушно перелистывать страницы киевской летописи, у кого не проходит холодок по спине от иных строк вечного «Слова о полку Игореве»?

Вместе с культурой, с наукой, с новым бытом с Запада приходит и свобода. И при этом в двух формах: в виде фактического раскрепощения быта и в виде политического освободительного движения.

Мы обычно недостаточно ценим ту бытовую свободу, которой русское общество пользовалось уже с Петра, и которая позволяла ему долгое время не замечать отсутствия свободы политической. Еще царь Петр сажал своих врагов на кол, еще бироновские палачи вздергивали на дыбу всех заподозренных в антинемецких чувствах, а во дворце, на царских пирах и ассамблеях уста-

навливался новый советский тип обхождения, почти уравнивающий вчерашнего холопа с его повелителем. Петербургский двор хотел равняться на Потсдам и Версаль, и вчерашний царь московский, наследник ханов и василевсов, чувствовал себя европейским государем, — абсолютным, как большинство государей Запада, но связанным новым кодексом морали и приличий. Мы как-то не отдавали себе отчета в том, почему русский император, который имел полное «божественное» право казнить без суда и без вины, жечь или сечь любого из своих подданных, отнять его состояние, его жену, не пользовался этим правом. Да и невозможно себе представить, чтобы он им воспользовался — даже самый деспотический из Романовых, как Павел или Николай I. Русский народ, вероятно, стерпел бы, как терпел он при Иване IV и Петре I — может быть, по-прежнему находил бы удовольствие в казнях ненавистных господ; были же попытки народной канонизации Павла. Но Петербургский император постоянно оглядывался на своих немецких кузнецов; он был воспитан в их идеях и традициях. Если народ кланялся ему в ноги или лез целовать его сапоги, ему это, вероятно, не доставляло никакого удовольствия. Если же он забывался, увлекаясь соблазном самовластия, дворянство напоминало ему о необходимости приличного обращения. Дворянство, возводя на трон одних государей и убивая других, добилось того, что император стал называть себя первым дворянином.

Агенты власти, сами принадлежа к тому же кругу, следовали примеру свыше. Дворянин был свободен по закону от телесных наказаний; по жизненному, неписанному уставу он был свободен и от личных оскорблений. Его могли сослать в Сибирь, но не могли ударить или обругать. Дворянин развивает в себе чувство личной чести, совершенно отличное от московского понятия родовой чести и восходящее к средневековому рыцарству.

Указ о «вольности дворянства» освободил его и от обязательной службы государству. Отныне он может посвящать свои досуги литературе, искусству, науке. Его участие в этих профессиях освобождает и их; они действительно становятся свободными профессиями — и тогда, когда пополняются плебеями, разночинцами, преимущественно из духовного сословия. Из дворянского ядра вырастает русская интеллигенция — до конца связанная с этим сословием своими добродетелями и пороками. Рос-

сия (кроме Китая) была единственной страной, в которой дворянство давалось образованием. Окончание средней, и даже полу-средней школы превращало человека из мужика в барина, — т. е. в свободного, защищало до известной степени его личность от произвола властей, гарантировало ему вежливое обращение и в участке, и в тюрьме. Городовой отдавал честь студенту, которого мог избивать лишь в особо редкие дни — бунтов. Эта бытовая свобода в России была, конечно, привилегией, как везде в начальную пору свободы. То был остров петербургской России среди московского моря. Но этот остров беспрерывно расширялся, особенно после освобождения крестьян. Его населяли тысячи в XVIII веке, миллионы в начале XX-го. В сущности, эта бытовая свобода была самым реальным и значительным культурным завоеванием Империи, и это завоевание было явным плодом европеизации. Оно совершалось при постоянном и упорном противодействии «темного царства», т. е. старой Московской Руси.

Гораздо печальнее была судьба политической свободы. Она виделась столь близкой и осуществимой в XVIII, особенно в начале XIX века. Потом она стала отдаляться и казалась уже химерой, «бессмысленными мечтаниями» при Александре III и даже Николае II. Она пришла слишком поздно; когда авторитет монархии был подорван во всех классах нации, а еще углубившаяся классовая рознь делала необычайно трудным перестройку государства на демократических началах.

Носителем политического либерализма у нас долго, едва ли не до самого 1905 года, было дворянство. Вопреки марксистской схеме, не буржуазия была застрельщицей освобождения: оставшись культурно в допетровской Руси, она была главной опорой реакции; вплоть до появления в конце XIX века нового типа, европейски-образованного фабриканта и банковского деятеля. Но дворянство, если не в массе своей, косной и малокультурной, то в европейски-образованных верхушках, долгое время одно представляло в России свободолюбие. Более того, в течение всего XVIII века и в начале XIX, русские конституционалисты — почти исключительно вельможи: члены Верховного Тайного Совета при Анне, граф Панин при Екатерине, при Александре — Мордвинов, Сперанский, кружок интимных друзей императора. Долгое время Швеция со своей аристократической

конституцией вдохновляла русскую знать; потом пришла пора французских и английских политических идей. Если бы вся Европа в XVIII веке жила в форме конституционной монархии, то весьма вероятно, что и Россия заимствовала бы ее, вместе с остальным реквизитом культуры. После французской революции это стало затруднительным. Европейский политический ветер подул реакцией, да и русские императоры не имели охоты всходить на эшафот, повторяя европейские жесты.

Но пересадка политических учреждений — конечно, возможная (ср. Турцию и Японию), гораздо труднее и опаснее, чем заимствование наук и искусств. Это показал неудачный «замысел верховников». Анализ событий 1730 года показывает, во-первых, что большинство столичного дворянства желало ограничения самодержавия; во-вторых, что оно недостаточно этого желало, чтобы преодолеть свою собственную неорганизованность и рознь. В итоге предпочли привилегиям верховников общее равенство бесправия. Таков смысл событий 1730 года, и он весьма пахнет Московией. Шляхетство того времени, в сущности, разделяет крестьянскую подозрительность к свободе господ. Вместо того чтобы утвердить ее для немногих (для вельмож) и потом бороться за ее расширение на все сословие, в пределе на всю нацию, — единственно возможный исторический путь, — предпочитают рабство для всех. Так велика власть Москвы даже в сознании культурных или полукультурных потомков опричного дворянства.

Весь драматизм российской политической ситуации выражается в следующей формуле: политическая свобода в России может быть только привилегией дворянства и европеизированных слоев (интеллигенции). Народ в ней не нуждается, более того, ее боится, ибо видит в самодержавии лучшую защиту от притеснений господ. Освобождение крестьян, само по себе, не решало вопроса, ибо миллионы безграмотных, живущих в средневековом быте и сознании граждан не могли строить новую европеизированную Россию. Их политическая воля, будь она только выражена, привела бы к ликвидации Петербурга (школ, больниц, агрономии, фабрик, и т. п.) и к возвращению в Москву: т. е. теперь уже к превращению России в колонию иностранцев. Сговор монархии с дворянством представлял единственную возможность ограниченной политической свободы. Французская

революция с ее политическим отражением 14 декабря 1825 г. — делала этот сговор невозможным. Оставалось управлять Россией с помощью бюрократии, которая и становится новой силой, по идеям Сперанского, при Николае I.

Со времени декабристов, отчасти еще в их поколении, освободительные идеи усваиваются и развиваются людьми, оттиснутыми или добровольно отошедшими от государственной деятельности. Это совершенно меняет их характер: из практических программ они становятся идеологиями. С 30-х годов они выращиваются в теплицах немецкой философии, потом естественных и экономических наук. Но источник их неизменно западный; русский либерализм, как и социализм, имеет свои духовные корни в Европе: или в английской политической традиции, или во французской идеологии — теперь уже Франции 40-х годов, — или в марксизме. Русский социализм уже с Герцена может окрашиваться в цвета русской общины или артели, он остается европейским по основам своего миросозерцания. Либерализму эта национальная мимикрия совсем не удалась.

Есть два кажущихся исключения. Славянофильство 40-х годов было, несомненно, движением либеральным и претендовало быть национально-почвенным. Но при ближайшем рассмотрении оказывается, что источник его свободолюбия все в той же Германии, а русское прошлое ему плохо известно; русские учреждения (земский собор, община) идеализированы и имеют мало общего с действительностью. Неудивительно, что, пустив корни в России, славянофильство скоро утратило свое либеральное содержание. Когда же оно победило и взошло на трон в лице Александра III (с Победоносцевым), оно оказалось реакционным тупиком, в явно московском направлении.

В 60-х годах одно довольно широкое, но политически не оформленное течение (нигилисты) носит определенную национальную окраску. Я имею в виду молодую русскую этнографию, сливающуюся с народничеством историков типа Костомарова, Пыпина, Щапова, Аристова; к ним примыкает кружок национальных композиторов — прежде всего, конечно, Мусоргский — и передвижники в живописи: Репин и Суриков. Одни из них, как Костомаров, правильно ищут русских корней свободы в далеком, замосковском прошлом. К сожалению, они не приобрели большого влияния в русском обществе. Костомаров защищал

побежденных (Новгород, феодальную Русь). Русская интеллигенция предпочла усвоить московскую историческую традицию митрополита Макария и Степенной Книги, пропущенную сквозь Гегеля. С необычайной легкостью, без ощущения всего трагизма русской истории, она вслед за Соловьевым и Ключевским — приняла, как нечто нормальное (вроде европейского абсолютизма), московско-татарское поглощение Руси, с непонятным оптимизмом ожидая всходов западной свободы на этой почве. Другие из радикалов увлекались стихией бунта, открывая ее в косной тяжести Москвы. С тех пор студенчество не перестает петь разбойничьи песни, и «Дубинушка» делается чуть ли не русским национальным гимном. Но мы видели, как мало общего разбойная воля имеет со свободой. Мусоргский, Суриков, идеализация казачества, раскола и разинщины, несомненно воодушевляли революционную армию. Однако если бы эта идеология направила революцию, она сообщила бы ей национально-черносотенный характер.

60-е годы, сделавшие так много для раскрепощения России, нанесли политическому освободительному движению тяжелый удар. Они направили значительную и самую энергичную часть его — все революционное движение — по антилиберальному руслу. Разночинцы, которые начинают вливаться широкой волной в дворянскую интеллигенцию, не находят политическую свободу достаточно привлекательным идеалом. Они желают революции, которая немедленно осуществила бы в России всеобщее равенство — хотя бы ценой уничтожения привилегированных классов (знаменитые 3 миллиона голов). Против дворянского либерализма — даже либерального социализма Герцена — они начинают ожесточенную борьбу. Раннее народничество 60–70-х годов считает даже вредной конституцию в России, как укрепляющую позиции буржуазных классов. Многое можно привести в объяснение этой поразительной аберрации: погоню за последним криком западной политической моды, чрезвычайный примитивизм мысли, оторванной от действительности, максимализм, свойственный русской мечтательности. Но есть один, более серьезный и роковой мотив, уже знакомый нам. Разночинцы стояли ближе к народу, чем либералы. Они знали, что народу свобода не говорит ничего; что его легче поднять против бар, чем против царя. Впрочем, их собственное сердце билось в такт

с народом; равенство говорило им больше свободы. Конечно, и здесь сказалось все то же московское наследие.

Потом они поумнели. Уже народовольцы признали борьбу за политическое освобождение. В конце века обе господствующие социалистические партии недвусмысленно ведут борьбу за демократию. Правда, марксизм понимал свободу инструментально, как средство в борьбе за диктатуру пролетариата: вскрывая «буржуазную подоплеку» освободительного движения, он унижал и обессмысливал свободу в глазах неискушенных в тактических тонкостях масс. Но здесь уже веял не старый «русский дух», а новый западный душок, — или сквозняк, который дул от утопического коммунизма сороковых годов в еще неведомое и негаданное царство фашизма.

И все же пятидесятилетие, протекшее со времени Освобождения, изменило весь лик России. Интеллигенция выросла в десятки, в сотни раз. Уже ей навстречу поднималась новая рабоче-крестьянская интеллигенция, которая, случалось, выносила на гребне волны такие яркие имена русской культуры, как Максим Горький и Шаляпин. В 1905 году, казалось, исчезла вековая грань между народом и интеллигенцией: народ, утратив веру в царя, доверил интеллигенции водительство в борьбе за свободу. Переход дворянства в лагерь реакции искупался развитием новой либеральной буржуазии. Старое земство, великолепная школа свободной общественности, работало превосходно, в ожидании своей демократизации. Профессиональное и кооперативное движение воспитывало общественно трудовую демократию. Народная школа, уже выработавшая план всеобщего обучения — быстро разлагала московскую формацию поверхностным просвещением. Уже любителям русского фольклора приходилось ездить за остатками его на Печору. Еще 50 лет, и окончательная европеизация России — вплоть до самых глубоких слоев ее — стала бы фактом. Могло ли быть иначе? Ведь «народ» ее был из того же самого этнографического и культурного теста, что и дворянство, с успехом проходившее ту же школу в XVIII веке. Только этих пятидесяти лет России не было дано.

Первое прикосновение московской души к западной культуре почти всегда скидывается нигилизмом; разрушение старых устоев опережает положительные плоды воспитания. Человек, потерявший веру в Бога и царя, утрачивает и все основы личной и

социальной этики. О хулиганстве в деревне заговорили с началом столетия. Учитель делается первым объектом дерзких шуток, интеллигенция как класс — объектом ненависти. После крушения революции 1905 года — и слишком поспешного отхода от народа ведущих слоев русской культуры — намечается новая рознь. В своих почти пророческих статьях Блок слушал нарастающий гул народной ненависти, грозившей поглотить блестящую, но хрупкую нашу культуру. Порою тот или иной выходец из новой народной интеллигенции (Карпов в своей книге «Пламя») бросал страстный вызов старой «буржуазной» интеллигенции, с которой он не успел еще слиться, как слились (или почти слились) Горький или Шаляпин. В этой перспективе все новейшее развитие России представляется опасным бегом на скорость: что упредит — освободительная европеизация или московский бунт, который затопит и смоет молодую свободу волной народного гнева?

Читая Блока, мы чувствуем, что России грозит не революция просто, а революция черносотенная. Здесь, на пороге катастрофы стоит вглядеться в эту последнюю, антилиберальную реакцию Москвы, которая сама себя назвала по-московски Черной Сотней. В свое время недооценили это политическое образование, из-за варварства и дикости ее идеологии и политических средств. В нем собрано было самое дикое и некультурное в старой России, но ведь с ним было связано большинство епископата. Его благословлял Иоанн Кронштадский, и царь Николай II доверял ему больше, чем своим министрам. Наконец, есть основание полагать, что его идеи победили в ходе русской революции, и что, пожалуй, оно переживет нас всех.

За православием и самодержавием, т. е. за московским символом веры легко различаются две основные тенденции: острый национализм, оборачивающийся ненавистью ко всем инородцам — евреям, полякам, немцам и т. д., и столь же острая ненависть к интеллигенции, в самом широком смысле слова, объединяющем все высшие классы России. Ненависть к западному просвещению сливалась с классовой ненавистью к барину, дворянину, капиталисту, к чиновнику — ко всему средостению между царем и народом. Самый термин «Черная Сотня» взят из московского словаря, где он означает организацию (гильдию) низового, беднейшего торгового класса; для московского уха он дол-

жен был звучать, как для Токвиля «демократия». Словом, черная сотня есть русское издание или первый русский вариант национал-социализма. При фанатической ненависти, при насильственности действий, принимавших легко характер погрома и бунта, движение таило в себе потенции разинщины. Власть, дворянство вскармливали его — но на свою голову. Губернатор не всегда мог справиться с ним, и пример Илиодора в Царицине показывает, как легко черносотенный демагог становится демагогом революционным. Не мешает остановиться на этой неприглядной реакции побежденной Москвы в те роковые годы, когда недаром вспомнили старое пророчество: Петербургу быть пусту.

6

Русская революция за 28 лет ее победоносного, хоть и тяжкого бытия, пережила огромную эволюцию, проделала немало зигзагов, сменила немало вождей. Но одно в ней осталось неизменным: постоянное, из года в год, умаление и удушение свободы. Казалось, что дальше Ленинской тоталитарной диктатуры идти некуда. Но при Ленине меньшевики вели легальную борьбу в советах, существовала свобода политической дискуссии в партии, литература, искусство мало страдали. Об этом так странно вспоминать теперь. Дело не в том, конечно, что Ленин, в отличие от Сталина, был другом свободы. Но для человека, дышавшего воздухом XIX века, хотя и в меньшей степени, чем для русского самодержца, существовали какие-то неписанные границы деспотизма: хотя бы в виде привычек, стеснений, ингибиций. Их приходилось преодолевать шаг за шагом. Так и до сих пор в тоталитарных режимах, введя пытку, еще не дошли до квалифицированных публичных казней. Иностранцы, посещающие Россию через промежуток нескольких лет, отмечали сгущение неволи в последних убежищах вольного творчества — в театре, в музыке, в синематографе. В то время как русская эмиграция ликовала по поводу национального перерождения большевиков, Россия переживала один из самых страшных этапов своей Голгофы. Миллионы замученных жертв отмечает новый поворот диктаторского руля. На последнем «национальном» этапе — а казалось

бы, он должен был вдохновлять художника — русская литература дошла до пределов наивной беспомощности и дидактизма; следствие утраты последних остатков свободы.

Второе и еще более грозное явление. По мере убыли свободы прекращается и борьба за нее. С тех пор как замерли отголоски гражданской войны, свобода исчезла из программы оппозиционных движений, — пока эти движения еще существовали. Немало советских людей повидали мы за границей — студентов, военных, эмигрантов новой формации. Почти ни у кого мы не замечаем тоски по свободе, радости дышать ею. Большинство даже болезненно ощущает свободу западного мира как беспорядок, хаос, анархию. Их неприятно удивляет хаос мнений на столбцах прессы: разве истина не одна? Их шокирует свобода рабочих, стачки, легкий темп труда. «У нас мы прогнали миллионы через концлагеря, чтобы научить их работать» — такова реакция советского инженера при знакомстве с порядками на американских заводах; а ведь он сам от станка — сын рабочего или крестьянина. В России ценят дисциплину и принуждение, и не верят в значение личного почина, — не только партия не верит, но и вся огромная ею созданная новая интеллигенция.

Не эта система тоталитарного воспитания ответственна за создание этого антилиберального человека; хотя мы и знаем страшную мощь современного технического аппарата социальной перековки. Тут действовал и другой социально-демографический фактор. Русская революция была еще невиданной в истории мясорубкой, сквозь которую были пропущены десятки миллионов людей. Громадное большинство жертв, как и во Французской революции, пало на долю народа. Далеко не вся интеллигенция была истреблена; технически необходимые кадры были отчасти сохранены. Но как ни слепо подчас действовала машина террора, она поражала, бесспорно, прежде всего элементы, представлявшие, хотя бы только морально, сопротивление тоталитарному режиму: либералов, социалистов, людей твердых убеждений, или критической мысли, просто независимых людей. Погибла не только старая интеллигенция, в смысле ордена свободолюбия и народолюбия, но и широкая народная интеллигенция, ею порожденная. Говоря точнее, произошел отбор. Народная интеллигенция раскололась — одна влилась в ряды коммунистической партии, другая (эсеро-меньшевистская)

истреблена. Интеллигенция просто — большевизмом не соблазнилась. Но те в ее рядах, кто не пожелал погибнуть или покинуть родину, должны были за годы неслыханных унижений убить в себе самое чувство свободы, самую потребность в ней: иначе жизнь была бы просто невыносимой. Они превратились в техников, живущих своим любимым делом, но уже вполне обездушенным. Писателю все равно, о чем писать: его интересует художественное «как»; поэтому он может принять любой социальный заказ. Историк получает свои схемы готовыми из каких-то комитетов: ему остается трудолюбиво и компетентно вышивать узоры... В итоге не будет преувеличением сказать, что вся созданная за 200 лет империи свободолюбивая формация русской интеллигенции исчезла без остатка. И вот тогда-то под нею проступила московская тоталитарная целина. Новый советский человек не столько вылеплен в марксистской школе, сколько вылез на свет Божий из московского царства, слегка приобретя марксистский лоск. Посмотрите на поколение Октября. Их деды жили в крепостном праве, их отцы пороли самих себя в волостных судах. Сами они ходили 9 января к Зимнему дворцу и перенесли весь комплекс врожденных монархических чувств на новых красных вождей.

Вглядимся в черты советского человека: — конечно, того, который строит жизнь, а не смят под ногами, на дне колхозов и фабрик, в черте концлагерей. Он очень крепок, физически и душевно, очень целен и прост, живет по указке и по заданию, не любит думать и сомневаться, ценит практический опыт и знания. Он предан власти, которая подняла его из грязи и сделала ответственным хозяином над жизнью сограждан. Он очень честолюбив и довольно черств к страданиям ближнего — необходимое условие советской карьеры. Но он готов заморить себя за работой, и его высшее честолюбие — отдать свою жизнь за коллектив: партию или родину, смотря по временам. Не узнаем ли мы во всем этом служилого человека XVI века? (не XVII-го, когда уже начинается декаданс). Напрашиваются и другие исторические аналогии: служака времен Николая I, но без гуманности христианского и европейского воспитания; сподвижник Петра, но без фанатического западничества, без национального самоотречения. Он ближе к москвичу своим гордым сознанием: его страна единственно православная, единственно социалистичес-

кая — первая в мире: третий Рим. Он с презрением смотрит на остальной, т. е. западный мир: не знает его, не любит и боится его. И, как встарь, душа его открыта Востоку. Многочисленные «орды», впервые приобщающиеся к цивилизации, вливаются в ряды русского культурного слоя, вторично ориентализируя его.

Может показаться странным говорить о московском типе в применении к динамизму современной России. Да, это Москва, пришедшая в движение, с ее тяжестью, но без ее косности. Однако это движение идет по линии внешнего строительства, преимущественно технического. Ни сердце, ни мысль не взволнованы глубоко; нет и в помине того, что мы, русские, называем духовным странничеством, а французы — inquiétude [3]. За внешним бурным (почти всегда как бы военным) движением — внутренний невозмутимый покой.

Мы здесь со страстным любопытством следим за эволюцией советского человека сквозь его условную, заказную литературу. Мы с радостью, граничащей с умилением, наблюдали, как на маске железного большевистского робота 20-х годов постепенно проступают черты человеческого лица. Может быть — и это даже вероятнее, — что то была скорее эволюция цензуры, или литературной политики партии, чем живой жизни. Все-таки советский человек, хотя бы с наганом в руках, был человек. И ему свойственны были, вероятно, и тогда, когда они считались запретными, и дружба, и любовь к женщине и даже любовь к родине. Но в тоталитарном строе государство воспитывает людей, их чувства, их мысли, самые интимные. И мы приветствуем официальное воскрешение человечности, мы радуемся, узнавая в советском герое черты любимого русского лица.

Эта эволюция далеко не закончена, и происходит с частыми и болезненными перебоями. Еще слово «злой», как в первые годы ЧК, употребляется в положительном смысле; иной раз злою называется даже русская земля. Война принесла с собой, естественно, апологию мести и жестокости. Но та же война разбудила ключи дремавшей нежности — к поруганной родине, к женщине, жене и матери солдата. Нет пока никаких признаков пробуждения религиозного чувства. Новая религиозная политика (НРП) остается в пределах чистой политики. Но и это со временем придет, если религия действительно составляет неотъемлемый атрибут человека; когда-нибудь метафизический голод про-

снется и в этом примитивном существе, живущем пока культом машины и маленького личного счастья.

Завершится ли эта внутренняя эволюция возрождением свободы, это другой вопрос, на который опыт истории, думается, дает отрицательный ответ. Свобода, в общественно-политическом смысле, не принадлежит к инстинктивным или всеобщим элементам человеческого общежития. Лишь христианский Запад выработал в своем трагическом средневековье этот идеал и осуществил его в последние столетия. Только в общении с Западом Россия времен Империи заразилась этим идеалом и стала перестраивать свою жизнь в согласии с ним. Отсюда как будто следует, что если тоталитарный труп может быть воскрешен к свободе, то живой воды прийдется опять искать на Западе.

Многие думают, что на этот раз России незачем идти так далеко; она уже накопила в своей литературе такие ценности свободолюбия, которые могут зажечь священный огонь в новых поколениях. Думать так — значит страшно переоценивать значение книги в развитии души. Мы почерпаем в книгах лишь то, чего ищет наше сознательное или бессознательное я. Вспомним, что Шиллер остается классиком в школах Германии, что Евангелие читалось в самые мрачные и жестокие века христианской истории. Комментаторы, или дух времени всегда приходит на помощь, чтобы обезвредить духовные яды. В России давно уже читают с увлечением классиков, но там, по-видимому, не приходит в голову перенести в современность сатиру Гоголя или Щедрина. Да и только ли свободолюбию учат русские классики? Гоголь и Достоевский были апологетами самодержавия, Толстой — анархии, Пушкин примирился с монархией Николая. Как читают классиков в советской России? В дни Лермонтовского юбилея все писали о поэте «Валерика» и «Родины» как о русском патриоте, дравшемся на Кавказе за российское великодержавие. В сущности, только Герцен из всей плеяды XIX века может учить свободе. Но Герцен, кажется, не в особом почете у советского читателя.

Если же солнце свободы, в противоположность астрономическому светилу, восходит с Запада, то все мы должны серьезно задуматься о путях и возможностях его проникновения в Россию. Одно из необходимых условий — личное общение, — сейчас чрезвычайно облегчено войной. Война в освобождении Рос-

сии — факт двусторонний. Ее победоносный конец, бесспорно, укрепляет режим, доказывая, путем проверки на полях битв, его военное превосходство перед слабостью демократий. Этот аргумент действует даже на иных либералов из русской эмиграции. Но, с другой стороны, война открывает для миллионов русских воинов возможности личного общения с Западом. Для того, чтобы демократические идеи Запада могли импонировать москвичам, необходимы два условия — в сущности сводящиеся к одному. Запад должен найти в своих идеалах опору для более удачного, более человечного решения социального вопроса, который до сих пор, худо ли, хорошо ли, решала лишь диктатура. Во-вторых, московский человек должен встретить в своем новом товарище, воине-демократе, такую же силу и веру в идеал свободы, какую он сам переживает, или переживал, в идеал коммунизма. Но это означает для демократа, отрицательно, нетерпимость ко всякой тирании, каким бы флагом она ни прикрывалась. Наши предки, общаясь с иностранцами, должны были краснеть за свое самодержавие и свое крепостное право. Если бы они встретили повсеместно такое же раболепное отношение к русскому царю, какое проявляют к Сталину Европа и Америка, им не пришло бы в голову задуматься над недостатками в своем доме. Льстецы Сталина и Советской России сейчас главные враги русской свободы. Или иначе: лишь борясь за свободу на всех мировых фронтах, внешних и внутренних, без всяких «дискриминаций» и предательства, можно способствовать возможному, но сколь еще далекому, освобождению России.

Запад и СССР

В последней статье моей в «Новом Журнале» (№ 10), озаглавленной «Россия и Свобода» — я выразил убеждение, что свобода в новой советской Московии может прийти только с Запада. Но в предпоследней — «Рождение Свободы» — (№ 8) западная свобода показывалась в состоянии тяжелого кризиса. Сопоставление этих двух точек зрения приводит к выводам, далеким от оптимизма. Может ли больной европеец вдохновить порабощенную Россию пафосом свободы, который он сам утратил? Где они, те могучие голоса, которые, ворвавшись в царство смерти, должны разбудить спящих? Во всяком случае, пока влияние России на западный мир — Европу и Америку — во много раз сильнее возможного влияния Запада на Россию. Оно поддерживается все еще не померкшим обаянием советского коммунизма, разлагающим демократические убеждения левой интеллигенции рабочего класса. Оно, за время войны, разлилось широкой волной по всем странам и всем социальным классам, поддержанное победами Красной Армии. Россия выступила в новой роли — спасительницы западной цивилизации от гитлеровского варварства. Ее участие в освободительной войне заставляет прощать все. Сейчас линия русской оккупации остановилась на Эльбе. Это значит, что не только Восточная, но и значительная часть Центральной Европы отторгнута из сферы западной, свободной и демократической культуры и включена в орбиту тоталитарной мировой державы. К западу от этой черты русская экспансия действует по внутренне-политическим линиям. Но остановка на линии Эльбы и Альп результат лишь первого раунда. Сейчас направление экспансии СССР передвинулось в Азию, на Ближний и Дальний Восток. Европа, или то, что от нее осталось живого, получила передышку. Это время дано, чтобы задуматься над смыслом происходящего, произвести проверку совести и

приготовиться к обороне. Время и нам, изгнанникам Европы и духовным сынам ее, поставить вопрос или ряд вопросов. Как могло случиться, что Европа позволила без борьбы отрезать от себя половину своего тела? Как могло случиться, чтобы тоталитаризм, который вчера был признан несовместимым с основами нашей цивилизации, теперь принят в состав демократического мира, призван решать его судьбы и многими признан новой, самой совершенной формой демократии? Нетрудно видеть, что этот вопрос и множество других, связанных с ним, сводятся к проблеме общего кризиса современной культуры. Этот кризис протекает в трех планах: духовной культуры, социально-политических и внешне-политических, или международных отношений. Наше понимание кризиса сводится к следующему. Во всех сферах жизни кризис является результатом распада исконного единства христианской цивилизации. Долгое время распад этот сопровождался освобождением огромных творческих сил. Гордая сознанием своего могущества культура эта мнила обосновать себя на перманентном конфликте, на свободной игре противодействующих сил. Но, наконец, распад достигает таких пределов, при которых жизнь становится невозможной. Тут вступают в действие революционно-фашистские силы, пытаясь осуществить новую интеграцию, на основе новых доминант, совершенно несовместимых с историческим типом христианской культуры. Между ними возможна лишь борьба на жизнь и смерть. Такова схема. Проследим ее развитие в трех указанных сферах, под одним лишь углом зрения, отмеченным в заглавии: как в атмосфере внутренне-европейского кризиса вырастала роль России, которая из вчерашней ученицы и члена европейской семьи становилась судьей и мстительницей и готовится стать наследницей Европы.

1

В средине прошлого века европейская культура достигла своего апогея. Она безраздельно господствовала на трех континентах — и в правящих классах России. На двух остальных материках, считавшихся варварскими, она разливалась, не встречая сопротивления; их окончательное духовное завоевание представ-

лялось вопросом времени — уже недалекого. Европейская культура имела право считать себя мировой. Вместе с тем она смотрела на себя не как на одну из возможных цивилизаций, а как на цивилизацию вообще, как на продолжение, в ходе однолинейного прогресса, греко-римской, уже универсальной традиции. Ели теперь эта претензия кажется неоправданной, то вполне законным было то высокое самосознание этой культуры, которое позволяло ей считать себя цветом и вершиной человечества. Во-вторых, всякая живая культура, как система ценностей, должна считать себя высшей, если не единственной. Релятивизм в мире ценностей есть начало распада и смерти. Во-вторых, европейская культура имела и все объективные основания (религиозные, нравственные, интеллектуальные и эстетические) для сознания своего первородства.

Однако внутри этой культуры было далеко не благополучно. Правда, ее наука и техника шли от успеха к успеху. Социальный прогресс был несомненным. Раскрепощение рабов, освобождение народов и быстрый подъем благосостояния низших классов делал девятнадцатое столетие самым благословенным в истории мира. Но давно уже, много веков назад, глубокая трещина прошла между христианством, которое оставалось еще живой религией масс и официальной религией наций — и тем научным рациональным миросозерцанием, которым жила культурнотворческая интеллигенция. В то время считалось, что отмирание религии и составляет завершение прогресса, что религия, сыгравшая свою положительную роль в истории, может быть убрана, как леса после постройки здания. Наука была призвана заменить ее. Связь между культурой и христианством была не совсем оборвана, но она держалась на одной этике. Нравственные основы жизни девятнадцатого века были еще в известной мере христианскими. Нельзя, конечно, как это часто делается, считать гуманизм девятнадцатого и двадцатого века чистым выражением христианской этики. Точная формула его была бы: иудео-христианский этический минимум, разбавленный не-христианским гедонизмом. Но в этом сплаве некоторые подлинно-христианские ценности — напр[имер], культура свободы и сострадания — достигли такого цветения, как ни в одну из древних, более религиозных эпох христианской жизни. Девятнадцатый век забыл о христианском происхождении этих ценностей. Для

него они, странным образом, вытекали из самого понятия цивилизации как научного просвещения, хотя языческая культура Ренессанса могла бы исцелить от этой иллюзии. Но только этими ценностями питался весь огромный энтузиазм социального прогресса, как освобождение рабов и бедняков. Только это согласие в основном этическом кодексе поддерживало единство борющихся классов, единство верующего народа и неверующей интеллигенции в пределах национального государства, связь государства в системе европейского равновесия.

Около 1850 г., как раз на перевале великого века происходит ряд духовных взрывов, впервые угрожающих нравственным основам западной цивилизации. На расстоянии нескольких десятилетий появляются: «Коммунистический Манифест», «Цветы Зла», «Записки из Подполья» и первые произведения Ницше. Лишь через два поколения ядовитые газы, вырвавшиеся из этих бомб, спустились в широкие слои интеллигенции и отравили их сознание. В наши дни всякий подросток в самые нежные годы проходит через эту ядовитую зону, и редко выходит из нее не отравленным: даже если он никогда не открывал этих книг. Каждая из них указывает разные пути или тупики. Общее для них — отрицание гуманистического христианства не как метафизики, а как нравственной основы жизни. Сюрреализм, фашизм и коммунизм произрастают на этой общей почве.

Полстолетия и более буржуазное общество не беспокоилось особенно по поводу «Цветов Зла», вырастающих в его подполье. Они казались нестрашными уродствами, чудачеством богемы или бредом революционеров. Здоровый организм был уверен, что сумеет преодолеть всякие яды. Но шли годы, и этот организм стал проявлять признаки той «атонии» или духовного безволия, которое страшнее всех острых болезней. В сфере культуры его имя — релятивизм. Во второй половине девятнадцатого века все оценки «благонамеренных» людей начинают приобретать относительный характер. В начале века Истина (или Наука), Свобода, Справедливость, Красота были абсолютами, в которых светились отблески заходящего солнца религии. В конце века то были уже относительные теории или условные нормы. Демократия или правовое государство — удобная форма для нашего цивилизованного общества. Но, может быть, деспотизм вполне пригоден для менее цивилизованных наций. Наша физи-

ка и естествознание позволили удовлетворительно описать и объяснить наличные данные опыта. Завтра новое открытие может перевернуть всю нашу картину мира; может быть, Птоломей окажется более прав, чем Коперник. Нам нравятся классические картины и статуи наших музеев; но есть другие формы искусства — древние и экзотические — может быть, не менее прекрасные. Наша этика хороша для нашей экономической и социальной системы; этика каннибалов пригодна для их примитивного хозяйства. И т. д., и т. д.

То была полоса чрезвычайно благоприятная для развития историзма, который перерос рамки одной науки — истории, и окрасил собою все области наук о духе. Об опасности историзма, как мировоззрения, предупреждал Ницше. Историки конца века проявляли изумительную способность «вчувствоваться» в чужие культурные миры. Но для них понимание означало оправдание и даже, зачастую, апофеоз. От Моммсена до Виппера [1] — мастера исторической науки занимались реабилитацией тиранов; можно утверждать, что для подрыва демократического сознания историческая наука сделала больше всякой другой.

История необычайно расширила культурные горизонты человека девятнадцатого века, воскрешая угасшие миры. Живое искусство идет в том же направлении. Художники открывают японское, китайское, египетское искусство — не для изучения только или восхищения, но и для подражания. Европейский художник потерял веру в себя. Он усомнился во всех завещанных предками канонах прекрасного и уверовал во множество путей искусства. Из этих путей для него исключался только один — торный путь от Ренессанса до наших дней, справедливо или нет, представлявшийся изжитым. Замечательно, что среди исторических перевоплощений нового искусства оказались в пренебрежении не только греческий мир (за исключением архаики), который доселе всегда ложился в основание всех «возрождений», но и романско-готическое средневековье, некогда воспитавшее отрочество и юность «Фаустовского» человека. Почему? Это остается загадкой. Может быть, потому, что религиозный ключ к нему был утрачен, а внешние формы были еще слишком знакомы и опорочены связью с упадочным церковным искусством нашего времени. Во всяком случае, художники вдохновлялись далеким, а не близким. В тоске по экзотике выражалось от-

вращение к себе и к своим предкам. В этих условиях расширение художественного восприятия, открытие новых миров означало не обогащение, не рост возможностей, а обессиление и обезличение.

В жажде более острых впечатлений, стимулирующих бессильное воображение, спускались от древних культур к примитивам, пока не открыли искусство негров, как будто вполне адекватное западному нео-варварству. Но эстетический мир, еще в меньшей мере, чем научный, может быть оторван от нравственного. Более глубокое эстетическое восприятие предполагает соответствующую моральную «чувствительность». Искренняя и глубокая любовь к мексиканскому искусству, например, погружает душу в кровавые испарения массовых человеческих жертвоприношений, а влюбленность в негритянские идолы или пляски заражает эротикой свальных оргий. Искусство совсем не такая пустая и невинная вещь, какой его воображают буржуа, употребляющие его для украшения своего домашнего быта. Толстой понимал это. Впечатляющая музыка или талантливый роман могут сделать больше для воспитания (или разложения) человека, чем тысячи церковных проповедей или школьных уроков.

Искусство Востока открывало европейскую душу заразительной силе восточных религиозных токов. Но они же влияли и непосредственно. Шопенгауэр пролагал дорогу буддизму, за которым шла волна браманизма, и в чистой эссенции — для немногих — и в синкретизме тео- и антропософии для массового потребления. Что влечет европейскую душу к религиям Индии и вообще Востока, — это свобода от чувства греха и личной ответственности, блаженное слияние с космосом и утрата постылого и больного «Я». Пантеизм Востока уничтожает самое сознание личности, находящей себя в нравственной борьбе. Личность — это самый нерв иудео-христианского религиозного сознания. Отказ от нее означает тайную волю к самоубийству; влечение к пантеизму есть тоска по безболезненной, анестезированной смерти, эвтаназии.

Любопытно, что восстание против викторианского морализма в английской литературе дает ту же пантеистическую реакцию. Она заметна у таких человечных и как будто христианских писателей, как Томас Гарди [2], Голсуорсти [3] и у их преемников — Мэри Уэбб [4], Вирджинии Вульф [5] и Чарльза Моргана [6]. Это все

первые имена английской школы, вероятно первой в Европе — во всяком случае, в междувоенные годы. Писатели еще живут внимательным и печальным интересом к человеку, еще полны жалости к его бесцельной жизни и неотвратимой смерти. Но из их человека вынут тот стержень («Я»), который ранее делал его героем драматической или трагической борьбы. От отчаяния спасает лишь ощущение космического лона, которое принимает в себя, в свой вечный круговорот, им порожденные души.

Пантеизм и увлечение восточными религиями характерны для темных и упадочных настроений fin de siècle [7] — еще не изжитых кое-где и поныне. Но западный мир, потерявший чувство личности, еще полон животных, биологических сил. Вместо эвтаназии он ищет теперь омоложения, как прокаженные средних веков, в ваннах человеческой крови. Где раньше, где позже — везде поколение утонченников сменяется поколением бруталистов. Пониженный до шепота декадентский стих переходит в неистовый рев футуриста. Вместо духа машина делается предметом обожания; аристократия и массы одинаково увлечены спортом. Вчера еще комнатная, худосочная молодежь, теперь в скаутских лагерях воспитывается для войны. Презрение к книге становится почти всеобщим. Европа готовится к полосе войн и революций.

Для нашей фашистской эпохи характерно отвращение к человеку — к его лицу и телу — в современной живописи; отвращение к его эмоциям — в музыке. В лучшем случае место человека в искусстве занимает математическая красота чистых пространственных и ритмических форм; в худшем — жажда дисгармоний и эрос безобразия. Именно в этот момент Пикассо открывает искусство негров, и французские сюрреалисты последовательно и сознательно соединяют с эстетическими дерзаниями проповедь садизма.

Впрочем, во французской литературе пафос насилия был редким явлением. Может быть, среди ярких талантов лишь Анри Монтерлан [8] искал обновления в мужестве и жестокости в древней языческой религии быка и солнца. Зато бесчеловечность во французской литературе утвердились гораздо раньше других. Артистизм Стендаля и Флобера требовал такого же холодного любопытства к живому, страдающему человеку, с каким естественник подходит к миру животных и растений. Бессознатель-

ной предпосылкой этого демонического объективизма было сладострастие, умертвившее человеческую теплоту и составляющее, до самого конца, основной пафос французского искусства. В этом, если угодно, была и трагическая тема его; но это трагизм не нравственной борьбы, а бессилия и рока.

Любопытно, как новая тема — обновление через насилие — проникает в ту литературу, которая была и остается хранительницей заветов человечности. У англичан, параллельно с потухающей кривой пантеизма, возникает и новая школа имморалистов, то легких и веселых, то вполне серьезных. Киплинг воспевал войну и аристократизм белой расы. Честертон с мальчишеским задором изобразил свержение английской демократии, произведенное «Наполеоном из Ноттингхиля». Б. Шоу, который сделал более, чем кто-либо другой, для подрыва демократических идей в Англии, сам, правда, не проповедовал войны, но всегда унижал культуру мира и свободы перед чужестранным тоталитаризмом — немецким или русским. И, наконец, Д. Г. Лоренс объявил религиозную войну интеллектуальному и эстетическому миру старой Англии во имя иррациональных, биологических инстинктов. Торжество их он видел скорее в половой жизни, чем в войне. Его ненависть к социализму и технической культуре мешала ему сделаться настоящим фашистом, но в своем мексиканском романе «Крылатый змей» он идеализирует политическое движение, направленное одновременно против христианства и демократии.

Германия, которой суждено было сделаться средоточием мирового фашизма, духовно дольше других ему сопротивлялась. В этом заключается один из парадоксов новейшей истории: влияние политики иногда насильственно вторгается в сферу духовной культуры, деформируя ее. Для Германии, как и для России, поражение в войне 1914–1918 гг. означало срыв с их исторических путей. Немецкая философия дольше других боролась против релятивизма; в нео-кантианстве и других идеалистических течениях она пыталась спасти, что можно, из христианской этики. Когда ее политикам понадобилось оправдание языческого динамизма, они искали его скорее за границей (расизм, империализм), чем в собственной традиции Ницше-Вагнера. Веймарское пятнадцатилетие создало больное искусство — искусство страха, отчаяния и безумия — но не насилия. То было предфа-

шистское, но не фашистское искусство. Грядущий нацизм почти не отразился на нем; потому, вероятно, к нему и не отнеслись достаточно серьезно. Культурная Германия болела Достоевским и готовилась стать жертвой собственных детей; дети-то занимались не культурой, а военными играми.

Культура Америки носит характер странного раздвоения; она одновременно и наиболее отсталая и наиболее передовая страна. Официальная Америка и огромное большинство ее народа живет в наивный и счастливый век, соответствующий Европе не то восемнадцатого, не то девятнадцатого столетия. Она полна упоением собственных сил и возможностей. Она хочет наслаждаться жизнью, и из обрывков гуманитарного христианства и своей конституции творит себе веселую религию доброго гедонизма, с обязательной улыбкой и забвением смерти. Не помня о христианском происхождении своей демократии и все еще празднуя освобождение от недавно властвующего пуританства, Америка в своей антихристианской школе и науке подрывает основы собственной жизни. Этой цели служат и «прогрессивное воспитание» и три кита, на которых держится американский университет: антропология, психология и социология. Америка не имеет серьезной философии, которая могла бы задержать на метафизической и этической ступени религиозный декаданс. Оптимизм нации питается ее огромными техническими и экономическими ресурсами, делающими ее, впервые в истории, самой мощной державой мира. Но этот близорукий оптимизм не в силах создать великого искусства. Он обслуживается Бродвеем и беллетристикой, стоящей ниже литературного уровня. Вся молодая и талантливая литература Америки живет отчаянием, ненавистью и неврозами, напоминающими и Веймарскую Германию и передовую Францию. Истинный художник, даже и в падении своем, сохраняет нечто от пророка. Он живет впереди своего времени, жадно впитывая в себя те, даже самые уродливые и мерзкие впечатления, которые ведут в будущее. Американская передовая литература живет презрением и ненавистью к обществу, ее породившему, и к человеку, им порожденному. Поскольку она проникается духом насилия и сознательно примыкает, в отрицательных реакциях, к коммунизму, она приобретает не только предфашистский, но и про-фашистский характер.

Какую роль в этом культурно-духовном процессе играет Россия? Сравнительно скромную, если речь идет о ее культуре; огромную, если взвесить факт русской революции и ее тоталитарного завершения.

Россия изменила своей гуманитарной и этической традиции с 90-х годов. Но вся ее великая литература и искусство, открытые Европой слишком поздно, создания девятнадцатого столетия. Мало что из позднейшего просочилось на Запад. Но зато и христианские традиции русского девятнадцатого века не были восприняты, или восприняты поверхностно. Художнический гений Толстого убедителен для всех. Его религиозный гений влиял на Европу не евангельским морализмом, а натуралистическим пантеизмом, которого она искала. Достоевский заражал своими неврозами, разлагал и продолжает разлагать гуманистический оптимизм Запада, но его христианская метафизика, его опыт построения нового религиозного гуманизма прошли бесследно.

Зато русская революция зажгла костер, на который вот уже скоро тридцать лет как летят все бабочки старого мира, чтобы сжигать в нем свою совесть и крылья. Если оставить пока в стороне чистых социалистов, заинтересованных в построении нового мира — равенства и справедливости — большинство интеллигенции, с тем сознанием, которое охарактеризовано выше, влекутся на огонь не столько потому, что он обещает рождение нового, сколько гибель старого. Ненависть к старому, как и у русских символистов, приявших революцию, доминирует. Вот почему никакие провалы нового советского строя не могут перевесить значения того факта, что революция уничтожила буржуазию «как класс», убив миллионы людей. Кровавый кошмар ее — не пугает. Эстеты и авантюристы, презирающие собственное рабочее движение и свой умеренный демократический социализм, в Москве с наслаждением вдыхают кровавые испарения. Ненависть к капитализму, которым живет почти вся современная интеллигенция, вовсе не означает ненависти к экономической эксплуатации и, уже подавно, сострадания к человеку-работнику. Капитализм — это символ всей современной цивилизации, механической и бездушной, обесчеловечившей человека; в последнем счете, для современной души ненависть к капитализму есть ненависть к самой себе. Но советская Россия как раз живет индустриально-механическим пафосом раннего капитализ-

ма; она как раз производит сознательно и планомерно, средствами государственной тирании, то обесчеловечение человека, которое на Западе явилось результатом вековой экономической эволюции. Этого не хотят знать, потому что не видят, не интересуются человеком. В России чтут огромную разрушительную силу, способную взорвать на воздух старый мир.

2

Политический строй Европы — демократия — разлагается с двух концов: мы говорим, справа и слева, танцуя от печки французской революции. В генеалогии современного фашизма левые силы решительно преобладают. Сорель, Муссолини, Ленин и Сталин вышли из крайне левого фланга социалистического движения. Только Гитлер был не причастен к Интернационалу, — но он и пришел позже других, на готовое. Охранительные и реакционные силы старого мира, группировавшиеся вокруг монархий и остатков родовой аристократии, оказались удивительно бессильны. В решительной борьбе они везде, кроме Испании, скорее стали на сторону демократии — очевидно, как меньшего зла. Фашизм, по своей идеологии, был движением республиканским и плебейским. Для Муссолини союз с Сардинской династией был актом оппортунизма и, может быть, личного тщеславия, вроде брака Наполеона с австрийской эрцгерцогиней. Что касается Гитлера, то самых серьезных врагов он нашел в прусском юнкерстве (покушение генералов).

Сто лет тому назад картина были иная. Демократия, торжествовавшая — идеологически и номинально — во французской революции, шла под знаменем индивидуалистического рационализма. Реакция, которую она вызвала против себя, обращалась к силам иррациональным и безличным — к средневековью, еще доживающему в народным массах, к религиозным и монархическим чувствам, к традиции, к принципу социальной иерархии и, наконец, к национальной душе, перед которой должно склониться личное самосознание. Такова философия немецкого исторического романтизма, Де-Местра и Бональда [10] во Франции, русского славянофильства. В те годы народный традиционализм был большой силой, которая могла задержать на десятиле-

тия победу рационализма и либеральной буржуазии. Но за девятнадцатое столетие цивилизация спустилась так глубоко в народные низы, что реакция не могла уже делать ставку на их религиозные или патриархальные пережитки. Самое большее, на что мог опереться Гитлер в своем антирационализме, были элементарные биологические инстинкты – крови и расы, – пережившие разложение национальной души. Но и они должны были вступить в неразложимый комплекс с современными механическими силами: хозяйства, техники, военной мощи. В фашизме итальянском и русском иррациональные мотивы почти отсутствуют. Материнским лоном ленинизма-сталинизма был марксизм – в крепком, неразбавленном виде 1840-х годов.

Оба гения – родоначальники современного социализма, Сен-Симон и Маркс – дышали воздухом реакции своего века и глубоко впитали его в себя, однако, очистив от всего иррационального. Между ними есть, конечно, существенная разница. Сен-Симон, истинный сын Наполеоновской Франции, – враг революции и ее идей; Маркс, современник новой революционной эпохи, становится ее философом, и хочет быть практиком. Сен-Симон увлекается одновременно и средневековым католицизмом – началом иерархии – и прогрессивными возможностями буржуазного индустриализма. Маркс презирает все традиции и, уважая прогрессивный рационализм буржуазии, ненавидит ее. Истинная душа реакции, воплотившаяся в Марксе, – отрицание личности и свободы. Органические силы истории, которыми жил романтизм, превратились у него в механические, но сохранили свою безличность. Так же, как и реакционные романтики, Маркс считает бессмыслицей борьбу с ними и относится к ним с крипто-религиозным преклонением. Они является у него носительницами революционного процесса, требуя от личности беспрекословного повиновения своим наукой выводимым законам. Отречение от свободы, от личной шкалы ценностей, от этики вообще, становится впервые долгом революционера. Более того, вследствие диалектического характера исторического процесса, все этические оценки революционера, без которых он не может обойтись, выворочены наизнанку. Письма Маркса не оставляют места сомнению: он радуется всякому злу, совершающемуся в мире, даже насилию над пролетариатом, ибо зло, самым сгущением своим, приближает свое отрицание – революцию. И

обратно, ничто так не противно ему, как усилия добра (для него безнадежные): смягчение эксплуатации, улучшение жизни трудящихся, кооперативные и профессиональные движения, даже политические завоевания социализма. Все, что смягчает зло, способно продлить его существование. Это настоящая философия злорадства, которая на практике совпадает с позициями крайне-правой реакции. И, подобно реакционерам, Маркс, противник цивилизованной борьбы, оказывается апологетом насилия. Только полная мера насилия применяется после победы над побежденным врагом. Его учениками отрицается террор тираноборцев, но приемлется террор революционных тиранов.

Невозможно отрицать, что Ленин был верным учеником такого Маркса — эпохи Коммунистического Манифеста. В его лице в наши дни Маркс redivivus [11] еще раз разрушает рабочий Интернационал. При жизни Маркса его немецкие ученики строили с[оциал]-д[емократическую] партию, мало считаясь с брюзжанием учителя. На практике, они шли путем Лассаля. Даже Энгельс почтительно изменял своему покойному другу. Учитель Бернштейна [12] может считаться родоначальником демократического социализма. Но никто не заменил Маркса на посту непогрешимого пророка. Маркс был гений, и что написано его огненным пером, того не вырубили десятки топоров честных плотников.

Отношение Маркса к демократии, как к одному из видов добра, было резко враждебным. Политическая свобода, всеобщее голосование, парламент, плебисцит были предметом его яростных насмешек, во всяком случае после переворота 1851 года во Франции. Для него все это лишь лицемерное прикрытие голого факта диктатуры буржуазии. Придет время, и она сменится диктатурой пролетариата. Само насилие не смущало Маркса, скорее импонировало ему. Но сговор, соглашение с врагом — основы демократии — были ему противны. Столь же противны ему идеалистические предпосылки демократии-либерализма: суверенные права личности, вера в творческую свободу человека, в его нравственное достоинство. Человек был в истории рабом или каналом бессознательных сил, воплощением класса, а не лицом. И отношение к нему определялось отношением к его классу. Макиавеллизм должен быть политическим выводом подобной социологии.

Чтобы понять по достоинству оценку Марксом демократии, нужно помнить, что она относилась не к упадочному, расчетливому, коммерческому строю позднего капитализма, а к юношеской, восторженной идеологии средины века. Та демократия — идеал, а не действительность — была знаменем на баррикадах Парижа. Она только что обновила свои лозунги, завещанные восемнадцатым веком, в новом, полухристианском романтизме. Она сама была почти религией для людей такого калибра, как Гюго, Герцен, Маццини. В 1848 году она сливалась с социализмом утопистов. Социализм мог бы вполне считать ее своей матерью, как она признавала его своим сыном. Благодаря Марксу, сын отрекся от этого благородного родства. Вместо того чтобы выводить свои требования из принципов демократии, он предпочел обосновывать их на совершенно ином, механическом, аморальном миросозерцании.

Мы знаем, что историческая социал-демократия, следуя Энгельсу, а не Марксу, не только приняла демократический строй Европы, но и боролась за него. Более того, в двадцатом веке в Германии она была почти единственной серьезной демократической партией. Но ее отношение к демократии было чисто инструментальным. Она хотела, говоря словами Энгельса, «нагуливать красные щеки» в атмосфере демократического парламентаризма. Но она, верная Марксу, не переставала разоблачать перед массами буржуазную подоплеку демократических идей. Для нее они и учреждения, на них основанные, были хороши лишь как оружие в борьбе за интересы пролетариата. Возможность иных средств всегда оставалась открытой. Массы воспитывались в холодной отчужденности от тех идеалов, которыми некогда жила и уже переставала жить буржуазия. Невозможно было и представить себе, что они станут умирать за эти идеалы, для них чужие. Но всякий политический строй живет лишь до тех пор, пока люди готовы умирать за идею, лежащую в его основе. Японцы готовы умирать за своего императора. Англичане и американцы, слава Богу, еще готовы умирать за свободу. Но немецкие рабочие не могли умирать за Веймарскую республику, хотя и считали ее «самой демократической в мире»; в их сознании это означало только лучшую, т. е. наименее гнусную форму буржуазного господства.

Если пролетариат относился холодно к демократии, то буржу-

азия держалась ее более по привычке, чем по убеждению. Скептицизм давно уже подорвал веру в великие слова свободы и равенства, которые вне религиозной атмосферы, породившей их, звучали отжившей риторикой. Демократия оказалась удобной, комфортабельной формой жизни, совсем не такой страшной, какой она угрожала быть в героические времена революций. Потребность в кумирах удовлетворялась уже не идеями демократии, а живой реальностью отечества или нации. Заново открытая в начале девятнадцатого века, нация пережила крушение революционных кумиров; она-то могла существовать и вне всякой метафизической почвы. Правда, обездушенная, она превратилась в комплекс интересов, но за ними стоял комплекс страстей. Высокое и низменное, святое и порочное сливалось в ее содержании. Это была жизнь, а не голая абстракция. И нация, вместо свободы, сделалась политической религией — идолопоклонством — буржуазии.

Если буржуазия, в своем релятивизме, держалась за демократию, то культурная элита, в сменяющихся волнах поколений — презирает ее. Сначала, в эпоху эстетизма, она считает всякую политику грязным делом и уходит от нее в мир искусства и философии. Во Франции разрыв между интеллигенцией и политикой, столь роковой для ее национальной жизни, начинается в годы Второй Империи. Это и была настоящая «измена клириков», а не та, за которую упрекал интеллигенцию Бенда [13], т. е. вторичное ее возвращение к политике в начале двадцатого века. Франция была в этом отношении самой несчастной страной, но та же разобщенность между культурой и политикой чувствовалась всюду — менее всего в Англии. Даже в Америке, не знавшей декадентства, политика стала, или считалась, делом нечистоплотных профессионалов.

В эпоху брутализма все изменилось. Молодежь, воспитанная в спорте и жаждущая борьбы, вернулась в жизнь нации (La Cité [14]), но с топором в руках, чтобы рубить под корень опостылевшее дерево свободы. С самого начала ее дороги разошлись. Одни шли под знаменем нации и войны, другие — социализма и революции. Их объединяла жажда героической жизни, катастроф, насилия. Слово violence [15] со времени Сореля, для французской молодежи приобрело священный смысл, тождественный слову «борьба» в лексиконе русской интеллигенции. Демокра-

тия, как и капитализм, были предметом общей ненависти. Выставить свою кандидатуру в парламент означало измену всем принципам чести и непримиримости как для правого, так и для левого радикализма. Правые долго шли за Морасом [16] и романтической утопией старой монархии; левые, лишенные крупных вождей, метались между марксизмом и синдикализмом. Переходы из стана в стан были нередки (Жорж Валуа). Их разделяла в сущности одна острота национального чувства или его отрицания, но именно в этой области обращения всегда возможны и не носят печати ренегатства.

Если бы власть идей была сильнее власти исторических фактов, то и фашизм и коммунизм имели все шансы родиться во Франции. Но социальный остов страны оказался устойчивым, и судьба или героизм Франции подарили ей безрадостную победу (1918 г.). Коммунизм и фашизм родились в странах побежденных или униженных и сообщили им необычайный ореол в глазах революционной интеллигенции других, более счастливых (и более скучных) стран. В Москву, в Рим и в Берлин потянулись паломники, жаждущие нового мира, построенного на революционном насилии. Между коммунизмом и фашизмом завязались сложные отношения подражания, конкуренции, борьбы. Развитие этих отношений может быть представлено в следующей схеме. В известном смысле коммунизм породил фашизм — не как систему идей, а как организованное движение. Итальянский фашизм и немецкий нацизм явились национальными реакциями на угрозу коммунистической революции. С другой стороны, фашизм сразу же облекается в те политические формы, небывалые в истории, которые созданы русской революцией: абсолютная власть вождя, скованная железной дисциплиной партия, как аппарат пропаганды и принуждения, и массы, непрестанно и искусственно вовлекаемые в политическое брожение, активно-пассивные, повинующиеся с восторгом, выполняющие чужую волю, как свою собственную. Первое столкновение коммунизма с Западом, еще демократическим, приводит к его поражению. Фашизм оказывается сильнее его, апеллируя и к социальным и к национальным, т. е. более глубоким инстинктам масс. В России коммунизм, в его марксистско-ленинской идеологии, несомненно ожидала та же судьба, что и на Западе. Он спасает себя, усваивая национальную идеологию своих врагов и нечувствительно

сближается с фашизмом, ибо национальная идея была главной чертой, их разделяющей. В этой новой форме СССР включается в орбиту фашистской Оси держав, начинающих борьбу против оставшихся демократий за мировое господство. Раздор в их стане — нападение Германии на СССР — обеспечило победу демократической коалиции, но уже при участии тоталитарного союзника. С разгромом всех конкурентов, Москва остается единственным центром мирового тоталитаризма, который все еще сохраняет имя коммунизма. Коммунистические партии всего мира ставятся на службу русского империализма, социальная революция делается формой русской военной экспансии.

Вся эта эволюция коммунизма, т. е. поворот его на 180° от крайне-левой до крайне-правой точки, по-видимому, нисколько не ослабила в мире его обаяния. Одни отходят, другие приходят к нему, но раболепные восторги перед Москвой не прекращаются. Это лишний раз доказывает, какую ничтожную роль в комплексе коммуно-тоталитарных притяжений играют положительные социальные мотивы: справедливости, сочувствия трудящимся и угнетенным. Радикализм отрицания настоящего и беспощадное, на трупах, строительство нового общества, основанного на абсолютной несвободе, по-прежнему влечет созревшие для тоталитаризма сердца.

Для понимания психологии коммуно-тоталитаризма необходимо строго различать между партийным коммунистом и попутчиком. Это совершенно разные породы людей. Коммунист — человек чрезвычайной узости мысли и большого волевого напряжения. Он примитивен, ненавидит свободную мысль и личную ответственность, но полон горения деятельности и борьбы. Попутчик — обыкновенно человек широкий и культурный, который хочет все понять и все простить. Изъеденный релятивизмом, он лишен способности собственных оценок и нуждается в постороннем давлении или активации, чтобы согреть свои остывшие жизненные инстинкты. Его тянет к силе, подобно слабой женщине. Он, как Ибсеновская Гильда, мечтает о могучих викингах, которые смогли бы его изнасиловать. Во имя чего, для него, пожалуй, безразлично. Недавно он любовался красотой и гимнастической выправкой Hitlerjugend. Теперь московские песни и марши, особенно после всех побед, приводят его в восторг. Поскольку попутчик — человек политических интере-

сов, бывший демократ или социалист, он исходит из сознания бессилия классической демократии построить новый мир. Неуверенный в правильности новых планов, он готов оказать им доверие в кредит: «Может быть, что-нибудь да выйдет. Во всяком случае, их энтузиазм изумителен. С такой верой можно двигать горами. А жертвы? – История без них не обходится...»

Тем временем русский фашизм не стоит на месте. Всякий фашизм представляет неустойчивую, переходную форму власти, продукт революционной эпохи. Из трех составляющих его элементов, ранее других сходит на нет народ. Он устает от бесплодного кипения внушаемых страстей. Он хочет покоя, и правительство все реже привлекает его на демонстрации, фальшивые выборы, заседания псевдо-советов. Но в России и партия, обескровленная казнями и чистками, потеряла свой идеологический костяк. Она стала пропагандистским орудием в руках вождя, который сделался абсолютным монархом страны. Все более подчеркивается его связь с самодержавными строителями Империи. Наиболее адекватное свое отражение он находит в образе Ивана Грозного. Продолжительное отчуждение от Запада, не смягченное и общими жертвами войны, сообщает советской монархии восточный характер. Ей не хватает наследственности, не хватает религиозного освящения. Но эволюция не остановилась на сталинизме. Идеология 1945 года, сочетание Маркса с Иваном Грозным, является крайне неустойчивой и внутренне нелепой. Заигрывая с церковью, Сталин как бы примеряет на себя шапку Мономаха. Тень Византии, уже реабилитированной в СССР, падает на советскую Россию. Если развитие будет идти в том же направлении (единственное основание исторического предвидения) и достаточно долгое время, то монархия именно Византийского, а не русского типа (т. е. принципиально ненаследственая и сверхнациональная) явится последним завершением русской революции. Только она покроет своей порфирой не одну Россию. Половина Европы уже вовлечена насильственно в орбиту России. В остальной половине коммунисты и попутчики работают усердно, хотя и бессознательно, на пользу грядущей Византии, подобно тому, как сто лет тому назад часть ослепленных радикалов 1848 года строила трон Наполеона III.

3

Духовное и социальное состояние Европы нашего времени напоминает Грецию четвертого века до Р. Хр. Тогда устои демократии были подорваны борьбой классов и религиозно-этическим скептицизмом. Великий демократический век Греции оказался кратковременным и переходным – между древней аристократией и грядущей монархией. Лучшие умы, смущенные хаосом демократического разложения, искали опоры в авторитарных режимах, своих и чужестранных: в аристократии Спарты, в тирании Сиракуз, в монархиях Македонии и Персии. Сравнение нашей эпохи с Грецией Пелопонесских войн принадлежит, как известно, Шпенглеру. Оно удачно покрывает сходство и внутренних и международных отношений. Греция истощила свои силы в бесконечных войнах отдельных городов, соединенных общностью языка, религии и культуры. Бессознательно они жаждали политического объединения, бессильные осуществить и даже проектировать его. Силы местных городских патриотизмов разбивали все попытки к прочному объединению. Единство пришло извне; сперва его несет Македония, потом Рим.

Европа наших дней тоже давно переросла национальные границы. Ее духовная жизнь и на сохранившихся вершинах и в одолевающем варварстве представляет несомненное единство. Есть только одна общеевропейская музыка, общеевропейская живопись. Искусство слова, как связанное с языковым многообразием, естественно, более национально. Однако и оно не замкнуто; и в подлинниках и в переводах оно доступно всей семье европейских (теперь уже и азиатских) народов. Литературные направления оказываются общими всем нациям или группам наций. Влияние Толстого, Достоевского, Пруста, Джойса, Кафки универсально. Вне этих «чужестранных» воздействий развитие национальных культур просто непонятно. В духовной жизни нации являются не солистами, а инструментами в оркестре, хотя и лишенном дирижера. Наука была интернациональна всегда. Что массы, да и средние классы, «духовно» питаются интернациональным месивом из спорта, кино и газеты, общеизвестно.

Но единство европейской культуры не является результатом современного вавилонского смешения языков, продуктом инду-

стриально-технического века. Напротив, чем дальше в прошлое — в восемнадцатый век, в Ренессанс, в Средневековье, — тем крепче и глубже культурное единство христианского мира, выросшего на развалинах Римской Империи. Лишь девятнадцатый век создал обоюдоострую идею национальных культур. Романтическая по своим корням, она привилась как раз в эпоху распада и романтизма и вообще духовности, ее частично оправдывающих. Она политизировалась и сделалась орудием защиты интересов, экономических и политических, повсюду однородных.

В настоящее время основная социальная проблема, общая всему европейскому кругу, состоит в преодолении капитализма, уже отказавшегося работать, и в переходе к управляемому или социалистическому хозяйству. Политическая проблема, связанная с социальной — защита свободы и демократии от правого и левого фашизма — всюду одна и та же. Фашистские обвалы в половине Европы связаны не столько с национальными традициями, сколько с несчастной политической и экономической конъюнктурой. Правый фашизм — такой же международный политический продукт, как и коммунизм.

Экономическая конкуренция между отдельными частями единого западного мира, две мировых войны, особенно последняя, необычайно обострили национальные чувства и страсти, уже лишенные не только духовного, но и материального оправдания. В отличие от былых войн в истории, современная война не есть «нормальное» явление, временное нарушение мира, после которого культурная жизнь восстанавливается. Она не восстанавливается ныне, а идет к быстрому разрушению. После изобретения атомной бомбы всем стало ясно, что третья мировая война будет концом западной цивилизации.

Войны возможны и даже неизбежны в силу сосуществования многих (или немногих) государств с неограниченным суверенитетом. До тех пор, пока в единой системе нашей цивилизации существует множество независимых правительств, каждое с собственной международной политикой, армией, военной промышленностью, тайными военно-техническими лабораториями, мир живет на вулкане. Малейшая искра может взорвать его на воздух. Международное единство является не роскошью, не мечтой идеалистов, а вопросом жизни и смерти.

В эпоху политического одичания и национальной ненависти совершенно немыслимо представить себе, чтобы пятьдесят суверенных наций, собравшись в Женеве или Сан-Франциско, свободно отказались от своего суверенитета или важнейшей части его: избрали общее правительство и объединили под его командованием свои армии и военные средства. Эта стопроцентная демократическая схема теперь является большей утопией, чем она была в гуманном и пацифистском девятнадцатом веке. Правда, теперь отказ от суверенности диктуется национальным самосохранением. Но в том-то и состоит разница между интересами и страстями, которые ныне правят миром, что страсть владеет человеком или народом, губя все его разумно понятные интересы и самую жизнь. Рассудительный эгоизм встречается в мире в виде редкого исключения.

До сих пор объединения наций в истории происходили почти всегда путем завоевания. Этот путь открылся и перед Европой с начала второй мировой войны. Первой вступила на него Германия, сильнейшая из великих держав. Завоевание Европы ей действительно удалось. Она погибла потому, что вступила в безумную борьбу с тремя великими державами вне-европейскими, или лишь отчасти европейскими. Внутренно, германская гегемония была порочна в самой своей основе потому, что, осуществляемая нацизмом, означала не уравнение народов в общей империи, но их порабощение господствующей нацией. Наполеон, который лелеял мечту о европейской империи, в наши дни имел бы все шансы осуществить ее; даже Бисмарк. Полубезумный Гитлер был совершенно непригоден для этой задачи. Но что задача его не была химерической, видно хотя бы из того, что в числе людей, сотрудничавших с ним среди завоеванных народов, были не одни шкурники, но и идеалисты, вроде Де-Мана, для которых единство Европы было дороже национальной независимости, а, главное, представлялось исторически неотвратимым.

На смену Гитлеру приходит Сталин, как Македонский Филипп после крушения спартанской гегемонии. Гитлер подготовил для него почву. После германского гнета русское владычество в первые дни казалось освобождением. Для многих — для евреев, например, — оно было, действительно, физическим спасением. Для большинства народов оно не принесло облегчения. Изменилось отчасти направление террора: истребляются не евреи, а

высшие классы. Но интеллигенция, особенно демократическая, является общей жертвой. Для многих национальностей – литовцев, эстонцев, латышей – русский режим оказался тяжелее немецкого. Тем не менее военная обстановка была благоприятна для русской экспансии. Союзники, зависевшие от поддержки русских армий, не могли серьезно ей сопротивляться. Антидемократический террор проходит под флагом расправы с немецкими «сотрудниками». Официально СССР считается одной из трех держав-освободительниц; даже раздел на сферы влияния не нашел выражения в документах. Как далеко зашла русская экспансия, видно из следующего. Представьте себе, что во Франции происходит коммунистическая революция. Она немедленно вызовет подобные же революции в Испании, Италии, может быть, и в Бельгии. Угрожаемые английской интервенцией, действительной или только воображаемой, вожди революции, в большинстве агенты Москвы, приглашают на помощь братскую Красную Армию, которая без труда оккупирует западную Европу. Присоединение северной анклавы – вопрос времени. Пора подумать о третьей возможности. Третья сила, которая могла бы, рассуждая теоретически, объединить Европу, это Британия. После кровавой тирании Германии и России, даже военное завоевание Англией было бы счастьем и подлинным освобождением. Но достаточно сделать такое предположение, чтобы понять его нелепость. Такая возможность противна всему характеру английской демократии. Англия могла некогда завоевывать территории дикие, или казавшиеся ей дикими. Но выступить в роли Наполеона, даже освободителя, было бы для нее моральным самоубийством. В этом и состоит благородная слабость демократий: для них закрыты многие пути и средства, которые естественны для фашизма.

По счастью, Европа не стоит перед дилеммой: свободное слияние двадцати народов – или их насильственное завоевание. Сила, необходимая для того, чтобы право воплотилось в жизнь, не обязательно принимает форму голого военного насилия. Она может иметь характер защиты, помощи, гарантии. Одни экономические преимущества союза с мощной империей могут склонить к нему малые государства, неспособные организовать свою хозяйственную жизнь. Но еще более могучим импульсом явилась бы защита от агрессора, если бы эта защита давала ре-

альные, а не бумажные гарантии. До сих пор мы видели лишь один счастливый пример: Грецию. Англия не завоевывала Греции и не подавляла ее внутренней свободы. Напротив, она спасла ее от завоевания бандами, организованными Москвой. Вот почему Греция представляет теперь единственный остров свободы на Балканах.

Сила и право не являются несовместимыми. Напротив, разумная политическая сила всегда оформлена правом, живет и действует в правовой атмосфере. Лига наций юридически может и, следовательно, должна быть обществом равных. Великие державы вовсе не нуждаются в юридических преимуществах, чтобы осуществить свою волю. Их фактическое влияние всегда увлечет за собой равноправных, но более слабых сочленов. До войны уже часть европейских держав — Бельгия, Португалия, Греция — ориентировались на Англию (как другие на Францию) в своей международной политике. Это не превращало их в вассалов, не умаляло их суверенитета. Во внутренней жизни зависимость от Англии не сказывалась ничем. Только политические насильники не выносят воздуха равенства. Им нравится ставить свой сапог на шею не только врагов, но и друзей.

Но, разумеется, чтобы общество равноправных наций стало реальной силой (отличной от Женевы или Сан-Франциско), нужно, чтобы за ним, особенно на первых порах, стояла единая воля, берущая на себя ответственность. Совершенно немыслимо предоставить вопрос о войне, т. е. о существовании мира, на волю случайного голосования. Нельзя допустить, чтобы жизнь и смерть всех нас была в зависимости от одного голоса, скажем, Чили или Сан-Доминго. Первая Лига Наций погибла потому, что ни одна из великих держав не взяла на себя ответственности — они сами были расколоты, — и «Общество Наций» плыло по течению, без руля и без капитана. В последний ответственный час, когда на весах судьба мира, кто-то должен бросить на эти весы всю свою мощь и всю свою волю, чтобы добиться подчинения слабых ради общего спасения. Греки называли это гегемонией. Гегемония не есть тирания. Это водительство, ответственность — необходимое условие объединения разнородных, разделенных, вчера еще суверенных сил.

Свобода Европы была бы спасена, если бы таким гегемоном явилась Британия. Родина нашей свободы, много веков пользо-

вавшаяся ею для себя, в законном, но узком эгоизме, за последний век Британия явилась освободительницей мира. Свою империю, сколоченную насилием, как и все другие, она постепенно перестроила в Commonwealth [17], в семью свободных наций. Эта задача, вполне законченная для всех доминионов, теперь решается в мире цветных, или вне-европейских народов. Вчера освобождены арабы, сегодня освобождается Индия. В Европе собственный интерес давно уже сделал Англию противницей всякой агрессивной великодержавности и, следовательно, защитницей малых наций. В своей Империи она создала такие свободные и равноправные формы сожительства народов, которые могут быть применены и к Европе, без посягательства на законную свободу ее народов. Россия тоже создала в Конституции СССР государственную форму, способную к бесконечному расширению. Юридически обе системы являются федерациями, весьма напоминающими друг друга. На деле одна означает всеобщую свободу, другая — всеобщее рабство. Только политический кретинизм — весьма, правда, распространенный, — может уравнивать эти системы в общем имени «сфер влияния», или в схеме борьбы двух империализмов.

Но Англия не обнаруживает воли к гегемонии в Европе. Едва ли это объясняется непониманием своих интересов или демократическим безволием. Отсутствие воли, в данном случае, свидетельствует об отсутствии достаточной силы. Действительно, Британская Империя находится в состоянии медленного, но все еще блестящего заката. Экономически Англия давно уже дала опередить себя сперва Германии, потом Соединенным Штатам. Из этой войны Англия выходит почти бедной страной, исчерпавшей свои некогда богатые ресурсы. Это сила, которая может еще постоять за себя, сохранить свое достояние, но которой как будто не по плечу новое бремя.

До сих пор мы рассматривали Европу в географическом смысле как независимый мир. В этом мире, действительно, остались только две великие державы, и соперничество между ними не оставляет никакой надежды для свободы народов. Но Европа давно уже перестала быть миром — культурным миром, — а недавно, в сущности с этой войны — перестала быть и средоточием мира. Ее культура еще господствует на всех континентах и морях. В этой культуре старый маленький материк еще остается

мозгом мира. Но экономические и политические силы ее отхлынули за океаны. Как ни парадоксально это звучит в географических терминах, Америка сейчас является центром Европы — как культурного мира. Из этой войны Америка выходит ничуть не поколебленной, с возросшим экономическим и военным потенциалом, самым могущественным государством мира. От того, куда склонится ее политическая воля, зависят сейчас судьбы и Европы и мира.

Мы знаем, что официальное отношение Америки к миру наций выражается формулой: одна из «Трех Великих». Если бы ее отношения к каждой из двух остальных были совершенно одинаковы, дело единства мира было бы безнадежно: он распался бы на три вооруженных зоны, готовящихся к третьей, последней войне. Согласие между тремя невозможно; те, кто делают ставку на это согласие (официальная печать всего мира), строят на песке. Бумажное здание, спроектированное в Сан-Франциско, построено на заведомо ложной предпосылке, что все «Три Великих» одинаково нуждаются в мире и готовы отказаться от агрессивной войны. Конечно, и Гитлер отказался бы от войны, если бы без нее мог получить власть над миром. Одна из трех стремится к той же цели, готовая на все: менее всего ее волнует вопрос о жертвах — жизнь своих и чужих граждан для нее ни по чем. Единственный вопрос — лишь в наличности технических средств. Другая жаждет мира, не ставя никаких завоевательных целей; она желает сохранения приобретенного, готовая и здесь благоразумно отступать. Третья стоит на распутье. Еще вчера защищенная двумя океанами, она жила в иллюзии безопасности. Рузвельт разбудил ее, указав на далекий пожар, который рано или поздно подойдет и к ее берегам. Запомнит ли она этот урок? Его смысл в том, что судьба Америки решается в маленькой далекой Европе. Там сталкиваются головы двух «Великих», тела которых покрыли все остальные материки. Может ли для Америки быть безразличным, какая из двух империй — зона рабства или свободы — устоит в грядущем столкновении?

Но ведь все дело в том, чтобы предупредить это готовящееся столкновение? Да, конечно. Но это удастся лишь в том случае, если Америка встанет всецело и безоговорочно на сторону силы миролюбивой и свободолюбивой. Объединение сил двух демократических империй сосредоточит в их руках такую мощь, про-

тив которой всякая агрессия обречена. Диктатор вернется в свои границы, займется мирным строительством, но лишь тогда, когда повсюду, на своих рубежах и за ними, будет видеть единую и для него непреодолимую мощь двух великих демократий.

Понимает ли Америка свою историческую миссию? Не вся, конечно. Есть американцы — таких немного, — которые готовы идти с Москвой против Лондона: одни в надежде торговых барышей и унижения старого конкурента; другие от «детской болезни левизны» и безнадежной политической слепоты. Многие — это более типично — не желают связывать себя ни с кем из двух «союзников», поддерживая то одного, то другого в зависимости от чисто-американских интересов. Это позиция, на которую перешел почти весь былой изоляционизм. Она кажется национально обоснованной, но это лишь иллюзия близорукости. Она содействует мировой анархии, распаду мира между тремя сферами и подготовке новой войны. «Великие Три» разделены противоречиями слишком глубокими, чтобы изжить их частными уступками: они не могут согласиться даже в вопросе о мундирах немецких военнопленных. Система безопасности, построенная на фикции этого согласия, — карточный домик. Хартия Соединенных Наций имеет только декларативное значение. Надо поскорее забыть об этой утопии примирения тигров и ягнят и обратиться к единственной очередной задаче: союзу Двух и объединению вокруг него только миролюбивых народов.

У среднего американца существуют большие психологические препятствия для сговора с Англией. Они проистекают из различия воспитания и светских манер, а также из недостаточного знания современной истории. Для многих последние десятилетия демократического развития Англии прошли незамеченными, и Георга VI все еще путают с Георгом III. Но гораздо красноречивее этих по-существу семейных трений простой факт: за последнюю четверть века Америка дважды вступала в войну, приносила большие жертвы, — по существу, ради спасения Англии. Обратно, война против Англии психологически представляется для Америки невозможной — чего нельзя сказать ни о каком ином государстве. Моральные ценности, вложенные в последнюю войну у обеих англо-саксонских наций — одни и те же. Что же касается материальных интересов, то здесь, конечно, расхождения имеются на каждом шагу, но они существуют и между

отдельными штатами Америки, между ее Севером и Югом, Востоком и Западом. Современная Англия экономически не соперник Америки, и сильнейший союзник может быть великодушен.

Если эта политическая линия победит в Америке, то вся изложенная выше черновая схема Британской гегемонии в Европе нуждается в расширении и корректуре. При поддержке Америки, Англия остается ведущей державой в Европе, как Соединенные Штаты в Западном полушарии. Но эти две сферы (возможно, и две федерации) необходимо объединяются в союз демократий или Атлантическую Федерацию, в которой первое место естественно будет принадлежать Америке. Такая федерация может осуществить внутри себя все то, что остается сегодня утопией для Соединенных Наций: единство международной политики, армии и некоторых общих политических основ демократии. К ней примкнут и доминионы Британской Империи и союзники Америки на других континентах (Китай). Атлантическая Федерация, хотя и не всемирная, будет недосягаемой ни для какого врага. Она сделает войну невозможной. Если же ей удастся обеспечить внутри себя новый экономический порядок и подлинную социальную демократию, то ее влияние распространится далеко за ее политические границы. Тогда можно надеяться, что солнце свободы растопит и «вечный полюс» России.

* * *

Если ближайшие годы увидят разрешение военно-международной проблемы, и человечество, объединенное вокруг ведущих англо-саксонских демократий, сможет разоружиться и вернуться к мирному труду, какие огромные задачи ожидают его! Международный кризис лишь наиболее острое выражение социального недуга, которым болеют все без исключения демократии. Социально-экономический вопрос уже сейчас стоит во всей своей грозности перед Европой; завтра встанет перед Америкой. Все наши привычные, завещанные предками ways of life [18], заводят в тупик. Или социальная реформа — или гражданская война, которая в демократии наших дней заканчивается фашизмом, каков бы ни был ее исход. К счастью, здесь Англия указывает дорогу. Нужно только желать, чтобы пути Англии и Америки не разошлись слишком далеко.

Но пусть и социальная проблема решена. Пусть рационализировано мировое хозяйство, безгранично увеличились производительные силы, удовлетворены материальные потребности масс. Пусть само разделение на элиту и массы отмерло, и бесклассовое общество стало реальностью – все это еще не спасает свободы и демократии. Мы видели, что болезнь нашей цивилизации кроется глубже, в самом восприятии мира и жизни. Социализм отвечает только на вопрос «Коммунистического Манифеста». Но кто ответит на крик Ницше, Бодлера, Достоевского, Киркегарда? Демократия не может существовать без демократического сознания. Это сознание подорвано уже сто лет тому назад. Больное общество вырабатывает яды фашизма непрерывно, с каждым новым своим поколением. В любой момент «ретроградный господин» Достоевского или Наполеон из Ноттингхиля может взорвать хрустальный дворец, воздвигаемый с такими усилиями и жертвами.

Вот почему последняя борьба за свободу происходит в глубине духа. Здесь даются сражения, почти невидимые для современников, но исход которых определит судьбу мира через столетие. Это не мешает их актуальности и для наших дней. Напротив, новое, в свете нашего исторического опыта, религиозное обоснование демократического идеала, есть сейчас самая важная задача свободолюбивой и социалистической мысли.

С Востока тьма

Европейская фаза мировой войны приближается к концу. Несмотря на отчаянное германское сопротивление всем ясно, что это последние обреченные усилия. Страшный враг еще не добит, но смертельно ранен. Уже не годами, а месяцами измеряется время до победного вступления союзных войск в Берлин — или в черту его развалин. Но отчего же так мало радости приносят эти победы, отчего на душе столько смуты и тревоги, которые все сгущаются по мере приближения желанного дня?

В этом чувстве, которое разделяется многими, слились разнообразные мотивы. Самая чудовищность совершенных Германией преступлений подавляет воображение и отнимает веру в человека. Миллионы замученных жертв не воскреснут. Никто и ничто не может сделать это «бывшее небывшим». Никакие суды и казни виновных не успокоят возмущенной совести, не изгладят каторжного клейма, выжженного на челе человечества. Ведь немцы же люди, немцы — наши современники, участники в общем деле цивилизации — более того, часть ее авангарда. Их падение говорит не о первичном, а вторичном варварстве, о пороке вырождающейся культуры. Те же ядовитые микробы, которые отравили тело Германии, размножаются повсеместно вокруг нас — в странах демократии, в странах вчерашнего или сегодняшнего фашизма, и в России.

Другая причина настоящей безрадостности — в политических перспективах. Война кончается, но мир не сулит ничего доброго. Рассеялись, как дым, те надежды, с которыми демократии вступили в эту войну. Война стала «менее идеологической», как скромно выразился Черчилль. Вернее, она почти утратила идеологическое содержание. Для народов Европы она стала войной за существование — в чем, конечно, достаточное ее оправдание; для некоторых из них — войной за господство. А ведь бы-

ло время, когда Черчилль предлагал разгромленной Франции соединить в одно две империи, — сейчас это кажется сном. Было время, когда, в весенние дни lend-leas'a[1] общей опасности и общей работы по вооружению, могло казаться, что противоречия экономических интересов между Америкой и Англией уже изжиты, и мы идем к теснейшему союзу двух англосаксонских наций. Было время — о, как недавно! — когда даже федерация всех западных, «атлантических» демократий — Union now — казалось близкой и возможной. Теперь никто не заикается о федерациях; теперь народы, великие и малые, откровенно преследуют свои ограниченные, частные интересы; теперь споры между Америкой и Англией о будущих торговых взаимоотношениях, о воздушных линиях приобретают тревожный характер. Грядущий мир вырисовывается как хаос сталкивающихся национализмов, продолжающих соперничество великих держав XIX века, но без великой идеи общего Европейского отечества, и в условиях неслыханного развития разрушительных технических сил.

Еще вчера все трезвые государственные люди повторяли убежденно, что мир не может существовать как система неограниченно-суверенных наций; что он погибнет, если не найдет своего единства. Что же случилось? Неужели они все поглупели или заразились националистическими страстями? Ни то, ни другое. Думаю, что они знают, где единственный выход; но этот выход прегражден слишком могущественными силами. И вот вчерашние вожди плывут по течению; стараются сделать вид, что не случилось ничего ужасного; скрывают отчаяние под условностью дипломатических фраз.

А случилось вот что. Самая сильная держава, до последнего времени выносившая на своих плечах главную тяжесть войны против Германии, никогда не разделяла идеологических целей войны, выставленных демократией. Она вела свою собственную военную политику. Сперва поддерживала Гитлера в надежде на уничтожение ненавистных «капиталистических» демократий. Потом, подвергшись нападению, боролась с мужеством, вызвавшем восхищение всего мира, за свое существование. Теперь, изгнав последнего немца из своих границ, она продолжает войну — отчасти, чтобы добить своего страшного врага, но все более решительно и планомерно — для создания новой зоны своей

политической мощи. Ее война против Германии явно превращается в завоевание Восточной Европы.

Теперь понятно, почему СССР наложила свое veto на образование восточно-европейской федерации. Вся эта полоса малых и средних государств от Балтийского моря до Средиземного включается или непосредственно в состав СССР или в число его вассалов. Как будет организована власть Союза над двенадцатью покоренными народами, пока не ясно. Конституция СССР достаточно гибка, изменчива и фиктивна, чтобы создать новые, еще невиданные формы аннексии. Вероятно, юридические формы будут различны – во всяком случае, до поры до времени. Москва иначе будет обращаться с Чехословакией, чем с Польшей. Но грядущее рабство для всех не подлежит сомнению. В Москве ставят правительства квислингов для Польши, Болгарии, Югославии. Идут массовые казни и ссылки в Прибалтике и на Балканах. Расстреливают и вешают вождей польских партизан за то, что они сохраняют верность своему правительству в Лондоне; неприлично торопятся с переделом польских земель, чтобы, разжигая классовую войну, привязать к Москве хотя бы часть польского крестьянства. Какое значение имеют теперь споры о русско-польских границах, когда вся Польша целиком, управляемая из Москвы, теряет свое национальное существование?

Но, осуществляя шаг за шагом покорение восточной Европы, Москва не выпускает из глаз и Запада. Протестуя против разоружения партизан во Франции и в Бельгии, она недвусмысленно грозит союзным правительствам гражданской войной. Смысл этих движений, постепенно разливающихся в освобожденной Европе один: захват власти вооруженными массами вместо «устарелой» системы выборов и голосований: пулеметы вместо избирательного бюллетеня. Для фашистской Европы эта идея очень убедительна. В то же время Москва разрушает план Черчилля по созданию западного блока, вырывая из него Францию и делая, или пытаясь сделать из де Голля своего часового против Англии. Раздраженная раненым самолюбием, вся во власти болезненных комплексов поражения, Франция готовится предать Запад, как раньше предала его Чехословакия; но у той, по крайней мере не было выбора. Еще недавно можно было серьезно обсуждать вопрос о западных границах России, как об историче-

ски данной величине. Сейчас вопрос ставится так: где границы России — на Одере, на Рейне или на Ла-Манше?

Можно ли удивляться, что Москва саботирует все международные планы организаций мира и безопасности, даже соглашение о воздушных путях. Это она в Домбартон Окс похоронила идею мировой организации, оставив за собой liberum veto [2]. Каждым актом своей дипломатии она говорит западным союзникам: нам с вами не по пути. И она тысячу раз права, хотя ее предупреждений не желают слушать демократические соглашатели («appeasers»). Новый Мюнхен построен на лжи, как и старый, и по той же самой причине. Есть государства или политические формы, для которых внешняя политика неотделима от внутренней; для которых война или непрерывная агрессия есть оправдание их существования. Таков фашизм: внутренняя тирания для него является оружием национальной экспансии. Демократия может мириться, торговать, заключать прочные военные союзы с деспотиями — и западного и азиатского стиля. Сожительство ее с фашизмом невозможно.

СССР в сталинскую эпоху есть типично фашистская, т. е. тоталитарная, национал-коммунистическая держава. Ее коммунизм есть средство для беспрерывного увеличения военной мощи. Ее завоевания — форма социальной революции (в сталинском смысле фашизации мира). Еще возможно спорить о том, какая из двух идей режима — национальная или коммунистическая — в большей степени определяют внешнюю политику СССР. Но и национальное и коммунистическое одинаково агрессивны: одинаково противопоставляют себя остальному миру, как враждебная сила, лишь в порабощении других народов находящая условие своей безопасности.

Значит ли это, что война проиграна, что все огромные жертвы ее принесены впустую, только для того, чтобы Европа сменила одно рабство на другое? Крайним пессимистам стоит вдуматься в то, что представляла бы собой победа Гитлера. Германия — центр Европы. Ее экономическая и военная организация превосходит все другие государства, включая Россию. Если бы Германии удалось объединить и «организовать» Европу, завоевание Англии было бы вопросом времени. Но это означало бы гибель свободы — не только в Европе, но и в мире, — для целой исторической эпохи. Сейчас, при максимальных успехах Сталина, не-

зависимость Англии не подлежит сомнению. Но возможно, и даже вероятно, сохранение свободы на Европейском Севере и западе. Пусть Юг сейчас во власти коммуно-фашистского угара и готов свалиться к ногам Вождя, — за Францию предстоит еще длительная борьба. Пока сохраняется уголок свободы в старом свете, борьба за демократию не кончена. Ее территория сжалась, сравнительно с 1939 годом, но у нее есть армия, есть оружие, есть даже живая сила военной доблести. Ее беда в том, что героизм победоносных армий не поддержан единством политической воли, ясностью политической мысли ее вождей и глашатаев. Демократию губит внутренняя измена. Фашизм, под левым флагом, давно свил гнездо в ее рядах. Наивные простачки, разочарованные гамлеты и цинические националисты парализуют всякое политическое действие, которое должно было бы поддержать наступление армий. Вот она — настоящая пятая колонна попутчиков, открывающая ворота красному фашизму. Но эта ситуация может измениться. Сейчас прозревают и слепые. Жизнь создает новые водоразделы. «Людям доброй воли» не по пути с циниками, но огромные массы одураченных, загипнотизированных долгой систематической пропагандой, приходят в себя. Только бы они не утратили окончательно веры в себя, в значение свободных человеческих усилий. Во всяком случае, духовный фронт сейчас едва ли не важнее военного. Вся энергия людей доброй воли — религиозных сил, рабочих союзов, интеллигенции должна быть брошена на зияющую брешь для защиты свободы.

О любви к отечеству

Если западной цивилизации суждено погибнуть на наших глазах, ее погубит национализм или гипертрофия национализма. Теперь ясно, что из всех ядов, выделяемых больным организмом земной культуры, национальная ненависть оказывается самым злым и разрушительным. Я говорю ненависть, а не любовь, потому что, хотя в национальном «эросе» любовь и ненависть всегда живут бок о бок, но в дни духовного распада имя любви покрывает почти одну голую ненависть. Об эросе патриотизма, исключающем «этос», красиво писали в России ученики Струве в дни первой «великой» войны, когда русский либерализм шел на выучку к Бисмарку. Этот символ действительно помогает уяснить многое. В эпоху романтизма предметом национальной любви был женственный образ, воплощавший все прекрасное, созданное нацией за ее вековую жизнь: сублимированное, очищенное от крови и грязи исторического процесса. Если прекрасная дама томилась в цепях чужеземной тирании (Италия, Польша, Ирландия), то рыцарь должен был отвоевывать ее у темных сил; любовь к родине освящалась именем свободы. Впрочем, свобода стояла у колыбели национального возрождения и наций, освобождающихся от своих собственных деспотов: для Франции и Германии революция и наполеоновские войны были колыбелью национального освобождения.

Потом настали буржуазные будни. Народы более или менее прочно устроились в рамках национальных государств. Любовь к родине приобрела «положительный», реалистический характер. Влюбленность сменилась супружеской привязанностью и верностью. Служение родине означало уже защиту ее не только духовных, но и материальных интересов. В семейном быту Европы появляются темы сфер влияния, торговых интересов, рынков и т. п. Защита семейных интересов еще совершалась в

рамках законности. Супруга не девка, и эрос нуждался в этическом ограничении. Признавалось общество цивилизованных наций, и из его общественного мнения и коллективного интереса зарождалось международное право. Но в век империализма происходит странное и противоестественное омоложение. Вопреки всем предвидениям Боклей и Спенсеров, купец снова становится пиратом. Прошлое, конечно, невозвратимо. Ни Ницше, ни Ибсену, ни Киплингу не удается воскресить древних викингов. Но бандит или гангстер становится кумиром наших дней. Любовь бандита и есть секрет современного национализма. Бандит, конечно, не имеет никакого понятия о том, что в теле его любовницы живет бессмертная душа, да она и сама забыла об этом. Его любовь есть просто похоть или жажда обладания. Ей свойственна вся сила иррациональной страсти романтического любовника, но она обезличилась, обездушилась, стала почти или совсем животной. Для этой любви приносят большие жертвы: грабят ювелирные магазины и банки, чтобы наряжать и украшать свою даму, убивают соперников, действительных или возможных, пока, наконец, в припадке ревности не убивают саму любовницу.

Таков национализм наших дней. Под предлогом любви к отечеству и защиты его интересов — власть старых слов! — он грабит и убивает, чтобы потешить национальное самолюбие, порабощает чужие народы своему собственному. а свой народ — тирану, чтобы под конец прикончить и народ последним выстрелом. Не ясно ли, что Гитлер перед свой гибелью убивал немецкий народ, чтобы увлечь за собой в гроб Германию?

Оговоримся: сейчас война, раздувающая патриотизмы и национализмы народов, дает им как будто новый патент на благородство. Снова, как в дни своей романтической юности, стареющий национализм сражается за свободу. Ведь восстание человечества против германской тирании произошло под национальным знаменем. Подпольная гверилья, вдохнувшая новую жизнь в порабощенные народы, была окрашена в яркий цвет национальной ненависти. Это можно сказать даже о нынешних коммунистах. Без взрыва национальных чувств в России и Англии едва ли Гитлер был бы прикончен. К сожалению, это правда: вторая великая война, хотя и не в возникновении, но в течении своем и победоносном исходе питалась горением национальных

чувств. Но в этом и заключается вся трагедия нашего времени. Национализм, помогая выиграть войну, делает невозможным мир. Ни один даже самый великий народ не может обеспечить своей безопасности: его гарантии вооружения, базы имеют смысл лишь угрозы для соседей, потенциального вреда, может быть, уничтожения для них, в случае новой войны, но никак не спасения от войны. Мир может быть куплен лишь ценой национальных жертв: уступок, смирения, отказа от суверенитета. Но безобразно раздувшийся за войну национализм не идет ни на какие жертвы. Он предпочитает гибель тому, в чем видит свое унижение. В этом смысле Германия и ее вождь являются не пугалом, а соблазном, увлекающим многих — почти всех.

Да, борьба за свободу освящает патриотизм как ничто другое. Этим только и красна «хронологическая пыль» истории: греки у Фермопил, Куликово поле, Жанна д'Арк, Польша 1830 и 1863 годов. Но эта тема уже изжита, высосана до конца, как академические сюжеты батальной живописи. Культурный мир может существовать лишь как единство, или он не будет существовать вовсе. Вторая возможность очень серьезна; к сожалению, она более доступна для сознания узников в Бухенвальде, чем для дипломатов международных конференций.

Одна, почти незаметная черта отделяет теперь народ-героя от народа-преступника. Последняя война дала столько тому подтверждений. Что может быть священнее борьбы Финляндии в защиту ее родной земли против нападения русского гиганта? Но игрою политических сил Финляндия загнана в противоестественный для нее союз с Германией и сделалась соучастницей несомненных «военных преступников». Такова же морально-политическая, если не военная, позиция Ирландии де-Валера, или националистов Индии. А на Балканах как отличить героев от преступников среди всех этих партизан, четников и гверильи Югославии, Македонии, Греции? Что сказать о националистах украинских или карпато-русских? Все они готовы идти с Гитлером или со Сталиным, предавая свободу своей родины тому или иному фашизму ради удовлетворения национального тщеславия или мести.

Чехословакия была одной из самых благородных стран в демократической Европе. Но эта Европа выдала ее зверю, как охотники бросают поросенка преследующим волкам. Народ не

забыл и не простил этой измены — и ответил на нее такой же изменой. Он сам бросился в пасть другому зверю, в котором справедливо угадал врага демократической Европы, и вот его президент (герой, преступник?) уже в плену у навязанного ему фашистского [a] правительства, и по радио «освобожденной» Праги разносится лживая коммунистическая пропаганда.

Франция, в результате пережитого ею неслыханного унижения, больна в высшей степени опасной формой национальной горячки. Без армии, без денег, без промышленности, она притязает на роль великой державы и, отказываясь помириться хотя бы временно на втором месте, готова, из одного национального самолюбия, чинить всякие трудности организаторам мира. Она претендует на нейтральность в происходящей пока дипломатической борьбе демократического Запада и фашистского Востока, как будто не сознавая, что в этой борьбе она намечена одной из очередных жертв.

Ну, а что сказать о России? В течение трех лет, пока враг терзал ее землю, убивал и насиловал ее детей, она была живым воплощением высокого трагизма. Родина-мученица, родина-героиня своей эпической борьбой вызывала восхищение, благодарность, надежды. Надо сказать правду: это ее кровью главным образом куплена победа. Русский или советский патриотизм был оправдан и освящен перед судом культуры и нравственного чувства. Но как только Красная Армия переступила границы СССР — едва уловимая черта, — как в ее освободительную музыку вступает новая мелодия. Она освобождает народы лишь затем, чтобы немедленно поработить их. Чекистские части следуют за Красной Армией или вместе с нею, как Гестапо за Рейхсвером. Бессудные расправы, расстрелы и виселицы отмечают марш освободителей. И жертвами — мы это хорошо знаем теперь — являются как раз те, кто доблестнее других сражался с нацистами. Вот уже год, как половина Европы — теперь до Эльбы — очищается от всех свободолюбивых, демократических и социалистических элементов, которые могут быть препятствием для распространения красного фашизма. Объективное историческое значение русского патриотизма за один год передвинулось на 180 градусов. СССР из главного врага Гитлера стал его преемни-

[a] Слово «фашизм» употребляется здесь в широком смысле, обнимающем все типы современных тоталитарных национально-социалистических диктатур.

ком, продолжателем его темного дела. Впрочем, это не первый поворот на 180 градусов русской слишком подвижной стрелки. Ведь в 1939–1941 гг., в течение почти двух лет, русский национализм — под теми же историческими знаменами Александра Невского, Донского, Суворова — делал то же фашистское дело в Восточной Европе, что и сейчас: тогда вместе с Гитлером, а не против него. Польша, Прибалтика, Финляндия второй раз за это пятилетие видят восточных завоевателей на своей земле. И те же палачи посылают пули в головы патриотов и демократов, те же поезда увозят миллионы мирных граждан в далекую ссылку, на каторгу и смерть. У оптимистов и соглашателей, в сущности, нет оправдания неожиданности и разочарования. Русский фашизм, и пройдя через кровь мученичества, остается сам собой. Как всякий современный национализм, он готов проливать свою кровь, но предпочитает проливать чужую: не только вооруженных врагов, но лучше всего безоружных и беззащитных, врагов или друзей — безразлично. Положение союзных сербов ничем не лучше вражеских болгар, и чехи уже уравниваются с поляками в общей судьбе.

В отличие от всех других стран Россия для нас не иллюстрация к общей мысли, а главная, в сущности единственная мысль. Перед ней мы просто зрители, свидетели трагического конца Европы, но в какой-то мере и соучастники. Если есть доля правды в той мысли, что каждый немец, даже эмигрант, является соучастником в преступлениях Гитлера, то каждый из нас должен краснеть перед поляком, сербом и чехом, должен терзаться при мысли о страданиях миллионов русских жертв в сотнях советских Бухенвальдов. Несомненно, что участие в нравственной жизни своего народа есть мера праведного патриотизма; отсюда следует, что политическое выражение есть негодование и ненависть к политическим грехам своего народа. Эта простая аксиома нравственного сознания была понятна для русской — и не только русской — интеллигенции XIX века. Они знали, почему надо уходить прочь

От ликующих, праздно болтающих,
Обагряющих руки в крови [1].

Для наших опустошенных и оголтелых современников такая позиция стала непонятной, даже бессмысленной. Чем тяжелее

нагружается чаша весов советскими преступлениями, тем восторженнее, победнее звучит хор русских или «Советских» патриотов. Бессильные, бездомные, бесправные — русские эмигранты, в созерцании триумфального похода советских армий, наслаждаются переживанием топа коллективной мощи — самого низменного из общественных инстинктов.

Поразительно, как бесплодно прошел урок Германии — этих «пьяных илотов» — для русских мальчиков! Люди, способные искренне возмущаться национализмом, отравившим немецкую культуру, не замечают, что сами они бегут по той же дорожке, — но с новой скоростью, достойной нашего века.

Вдумайтесь, в самом деле. Германии понадобилось более ста лет эволюции своего национального сознания, чтобы дойти до Гитлера. Ее национализм рождался в унижении наполеоновского завоевания, рождался как порыв к свободе. Имена Кернера и Георга Занда [2] были его путеводными звездами. Этот освободительный немецкий национализм «Tugendbund»'а [3] влиял на миросозерцание и политическое дело русских декабристов, а после них — молодой русской интеллигенции 30 и 40-х годов. Но годы шли, революция 1848 года не принесла Германии ни свободы, ни единства. Единство принес Бисмарк «железом и кровью». Не демократия, а милитаризм сделал Германию единой и могущественной. Это было искушение, которого не выдержали «национал-либералы», когда они в 60-х и 70-х годах пошли сотрудничать с Бисмарком. Столь же длинный путь — на этот раз путь не только побед, но и поражения — вел от Бисмарка к Гитлеру.

Русский национализм — новейшей, прогрессивной формации — родился в 1914 году — году грозной опасности для России, — окреп и возмужал в годы поражения и неслыханного унижения. В германском нашествии 1941 года он вспыхнул новым пламенем. До сих пор его развитие естественно, даже оправдано, если не считать того сужения сознания, утраты критической мысли, которые несет с собой всякий, даже благородный национализм. После 1943-го — 1944-ый, от страданий к торжеству, от унижения к славе. Путь от Кернера до Бисмарка пройден в один год. К тому же России не был дан и Бисмарк. Она прямо шагнула к своему Гитлеру, вождю национал-коммунизма, поднявшегося на старых московских черносотенных дрожжах.

Среди голосов, «ликующих» по поводу московских побед, осо-

бой болью раздались в наших сердцах голоса из русского Парижа. Некоторые из них принадлежат людям, в которых мы привыкли видеть выражение нашей общественной совести. Понять все, что люди там переживали, здесь еще невозможно. Многое нужно отнести на счет пережитых страданий, резкости перехода от немецкого рабства к свободе, некоторой потери морального равновесия. Но самое главное, быть может, — потемки, в которые погружена Франция. При отсутствии большой печати, всесторонней информации, люди просто не знают, не видят картины мира как целого. В частности, они, вероятно, не подозревают судьбы большей части «освобожденных» стран. Приветствуя Красную Армию, они едва ли приветствуют палачей Польши и Сербии.

Мы здесь не имеем и этого оправдания. Америка обладает самой осведомленной и относительно свободной прессой. Мы все можем знать правду, если хотим. Многие не хотят ее знать, потому что живут во власти военно-патриотических чувств, вчера еще благородных, сегодня низменных: ибо сочувствие к жертвам становится сочувствием к тиранам. Пора отрезвиться. Времена серьезны. Среди обвала старой цивилизации надо сплотиться всем людям доброй воли — к какой бы расе или нации они ни принадлежали, — чтобы положить предел дальнейшему разрушению.

Ответ Н. А. Бердяеву

В хоре русских голосов, доходящих до нас из Франции, ни один не приносит нам столько горечи и разочарования, как голос Н.А. Бердяева. Не только мы, русские, видели в нем рыцаря свободы. Таким он был и для всего западного, особенно христианского мира. За его долгую жизнь мы привыкли видеть его стоящим одиноко, на страже своей истины и справедливости, не смешивающимся ни с каким господствующим большинством. Бердяев был всегда против царящей силы: против русского самодержавия, победоносцевской церкви, партийных течений русской интеллигенции, против коммунизма и фашизма. Он любил определять свою позицию отрицательно, отталкиваясь от социальной или духовной среды, его окружающей. Многие слабости его проистекали именно отсюда, из его полемической установки к миру; но то были благородные, рыцарские слабости.

Как нестерпимо-больно видеть его теперь в стане торжествующих русских националистов, защитником самой страшной тоталитарной власти, которая, сменив гитлеровскую, придавила Европу и угрожает погасить последние огни свободы на старом материке. В решительные дни, когда христианство, свобода и социализм теснее сближаются для последней борьбы против тоталитарно-бесчеловечного деспотизма, Бердяев не с нами, Бердяев отдает свое перо апологии торжествующего зверя. В такой противоестественной ситуации на тех, кто был ему всех ближе, кто мог называть себя его друзьями, соратниками, учениками, прежде всех других лежит тягостный долг: защищать истину от Платона, защищать свободу от изменившего ей рыцаря.

1

Перечитывая последние статьи Бердяева, печатавшиеся и в парижских газетах, и в нью-йоркских журналах, убеждаешься, что его мировоззрение в корне не изменилось. Бердяев не «прозрел», не раскаялся, как многие эмигранты. В принципиальных вопросах он остался самим собой. Основной источник его заблуждений — в непонимании истории, то есть смысла сегодняшнего дня. Однако за ним стоят, поддерживая его, старые предрассудки, привычные клише, заменяющие мысль, окостенелые (или слишком «объективированные») полуистины. С этих старых грехов и начнем.

Нас всегда поражало у Бердяева презрение к политической демократии, которую он противопоставлял демократии социальной, как формальную — реальной. В отличие от Аристотеля, русская мысль имеет тенденцию недооценивать форму; для русского человека «формальный» часто значит несущественный, внешний, пустой. Это словоупотребление само по себе незаконно и является отражением слабости формальных элементов в русской культуре, — одного из больших его недостатков. Но даже условно согласившись с таким словоупотреблением, трудно понять, как можно считать только формальной политическую свободу западных демократий. Сейчас же встает ряд вопросов: формальна или реальна свобода совести — то есть свобода верить или не верить, свобода выбирать свою веру и исповедовать ее? За эту свободу велись вековые войны в Европе — неужели за пустой звук? Пусть религиозная вера померкла в мире, но те идеологии, которые пытаются занять ее место, включая марксизм, неужели для лиц, исповедующих их, имеют только формальное значение? Для французского рабочего читать Humanité [1] или посещать коммунистические собрания — вещь очень реальная. Нужно очень презирать народные массы, чтобы отрицать у них реальную потребность в свободе совести. мысли и слова. Правда, современная действительность предупреждает нас от переоценки этих идеалистических мотивов. Слишком часто мы видим, как массы предают свободу ради хлеба, или даже утоления классовой ненависти. Но ведь не все же, не всегда же! Бывают времена, когда и массы встают на борьбу не за хлеб, а за свободу.

И сейчас, при всем разврате, который несут в них демагоги, есть меньшинство, есть лучшие среди трудового народа, для которых свобода выше хлеба. Будущность нашей культуры зависит от этого идеалистического меньшинства — в интеллигенции и в народе, одинаково.

Но спустимся ниже. Представим себе, что у рабочего, каким его видит Бердяев, заглохли все духовные потребности. Остается ведь прямое физическое насилие, которое отлично от экономического, косвенного принуждения, и от которого защищает человека-гражданина политическая демократия. Я сомневаюсь, чтобы французский рабочий-коммунист согласился жить в условиях, где бы его за плохую или ленивую работу пороли, как в крепостной России, или ссылали на каторгу, как в России советской. А что сказал бы он, если бы сеньор или комиссар вздумал отнять его квартиру, или **его честь**, или последний кусок хлеба (продовольственную карточку) за честную критику или за насмешку, или просто потому, что его наружность имела несчастье не понравиться? Но все это устойчивые черты советского быта, как и тех азиатских деспотий, которые стоят за ним.

Конечно, мы имеем право делать различие между формальными и реальными свободами (в русском смысле слова). Но тогда следует сказать, что свобода совести, слова, союзов и т. д. в демократических конституциях Запада вполне реальная, а та же свобода в Советской Конституции — чисто формальная, то есть бумажная, не имеющая отношения к действительности.

В своем холодном отношении к политической свободе Бердяев является наследником славянофильских предрассудков. Для тех было важно доказывать, что самодержавие царей совместимо со свободой общества. Бердяев хочет утверждать это, с гораздо меньшим правом, для самодержавия Сталина. В основе лежит известная слабость: делать из национальных пороков добродетель. Националисты всех народов одинаково в этом повинны. На помощь русским националистам приходят западные социалисты в своей преувеличенной и односторонней критике демократии. Целое столетие русские крепостники и их потомки наживали капитал на страданиях английского рабочего. Старались — и еще стараются — доказать, что западный пролетарий может завидовать участи русского раба.

Но это ведет нас ко второму, тоже старому предрассудку Бер-

дяева. Его представление о капитализме и положении рабочего класса в капиталистическом обществе соответствует эпохе, когда Маркс писал «Коммунистический Манифест». Оно отстало на целое столетие. Недаром Бердяев любит пользоваться прудоновским (или луи-блановским?) анекдотом об извозчике и свободе. Кажется, что Бердяев не имел времени присмотреться к современному обществу и рабочему движению в нем. Он проглядел огромный, небывалый в истории человечества подъем материальных условий жизни, культуры и политического влияния трудящихся масс в девятнадцатом и двадцатом столетии. Рабочий класс возвращался в отечество (La Cité), расширял сферу социалистических отношений внутри буржуазного общества, ожидая недалекого будущего, когда ему придется взять на себя бремя власти и ответственности. Конечно, его экономическое положение не обеспечено. Конечно, безработица остается страшным бичом. Но как можно забывать о том, что в современном капиталистическом мире безработные получают пособия, которые превосходят заработную плату русских рабочих?

Единственная европейская страна, где жизнь рабочих напоминает времена «Коммунистического Манифеста», это Россия – Россия по-революционная, не в меньшей, а в большей степени. чем Россия царская. После короткого подъема первых лет революции – тех лет, когда Бердяев мог наблюдать своими глазами «диктатуру пролетариата», наступает резкое падение. Непрерывные пятилетки обратили освободившегося рабочего почти в раба. Он потерял право стачек, право свободного профессионального движения, право выборов, потерял свои советы (но все это для Бердяева «формальное!»), его уровень жизни опустился гораздо ниже уровня царских времен. Почему Бердяев не хочет видеть того, что всем известно? Или потому, что он придает большее значение «принципам» – то есть литературе, лозунгам, политическому жаргону, декларациям, чем реальной жизни? Но это значит, что он оказывается большим формалистом, чем западные демократы. Его, по-видимому, не интересует действительное положение трудящегося как человека, как личности. Для него важна идея, не человек, но это убийственно для мыслителя, называющего свою философию персоналистической и экзистенциальной. В действительности Бердяев остается «идеалистом» (в несколько пародийном смысле слова), кото-

рый, в случае столкновения теории с действительностью, заявляет: тем хуже для действительности.

Тем же идеализмом, на этот раз гегельянским, отзывается и его «революционная» историософия.

Бердяев часто притязает говорить от имени Истории. Это необходимо для него, чтобы отразить все этические возражения против его позиции. История, как известно, стоит на крови и костях; от нее неумно спрашивать оправдания добра. Но у Бердяева история является осмысленным, хотя и внеморальным гением, который осуществляет свои высокие цели самыми безобразными средствами. Иногда этот темный и капризный гений объявляется христианским Богом или Провидением. В этом случае противоречия между требованиями Бога в истории и требованиями нравственного сознания становятся чудовищными.

В действительности, гений истории у Бердяева не христианского, а гегельянского происхождения. Гегель был и остается вечным соблазнителем русской интеллигенции. Его влияние у нас слишком понятно. Оно неотразимо для людей слабых, или неуверенных в своей совести. Так легко отдаться потоку исторического времени и в нем утопить свою больную совесть. Дионисическое погружение в природу или историю, в безличные стихии, дает ложное преодоление личной слабости, спасает от необходимости личного выбора и ответственности.

Вся философия Бердяева, ориентированная на личность, требовала бы, казалось, защиты ее против истории. Он готов защищать личность против природы, против общества (социальности, обыденности), но перед историей он сдается. Почему?

Это станет ясным, если мы увидим, какая история внушает Бердяеву уважение. Не та, что говорит языком традиции, перебрасывает мост между поколениями, а та, что этот мост разрушает. Другими словами, история, которая говорит чрез Революцию.

Но что может сказать опыт исторических революций человеку непредубежденному?

Торжествующей «великой» революции история еще не знала. Будущее русской революции еще не известно. Почему же Бердяев торопится утвердить ее достижения Божественным авторитетом? Еще недавно фашистская революция в Германии утверждала себя провиденциально — на тысячу лет. Пронеслась буря вой-

ны, и от нее ничего не осталось. Тридцать лет для России еще слишком ограниченный отрезок времени, чтобы судить о конце. У меня совсем иное чувство истории и ее «текущего момента» чем у Бердяева. Но как странно и непонятно, что тот, кто призывал человека на восстание против всех авторитетов и условностей, призывает его к покорности перед историей, и притом в самом зверском и наименее осмысленном ее облике. Как мог он забыть если не об Апокалипсисе, то хотя бы о Катоне?

Стан победивших любезен богам, побежденных – Катону.

2

Чтобы понять умонастроение русской эмиграции во Франции, необходимо помнить о двух вещах.

Во-первых, пять лет под фашистской властью не прошли бесследно. Тоталитарные режимы нашего времени умеют «перековывать» людей. Нельзя безнаказанно годами дышать отравленным воздухом рабства. Человек, даже преданный свободе, начинает терять веру в нее. Ему кажется, что она ушла из мира навсегда, что демократия доказала свою немощь. Единственное, на что можно надеяться – это на смену одного тоталитарного режима другим, противоположным ему по идеологии. Выдерживают это испытание лишь немногие, сильные духом.

Во-вторых, если не русские войска освободили Францию, то их героическая борьба сделала возможным ее освобождение.

Отсюда угар советофильства, издали непонятный. Он, прежде всего, питается военными триумфами России. Мало кто сумел сохранить трезвость ума и сердца. Увы, Бердяев поддался общему психозу. В своих первых статьях, еще в «Советском Патриоте», – он славил революцию за то, что она вернула русской армии ее былую непобедимость, утраченную в последние годы монархии. Читая, не веришь своим глазам. Бердяев судит политический строй по его военной мощи! Или он боролся с самодержавием только потому, что оно погубило военный престиж России? Три армии в этой войне сражались с наибольшим героизмом: японская, германская и русская. Не случайно, что все три по возглавлению своему фашистские. Фашизм воспитывает граждан для войны, ей поклоняется, готовится к ней десятиле-

тиями. Демократия воспитывает своих детей в пацифизме. Она воюет, преодолевая отвращение к убийству. Ее военные слабости благородны и прекрасны. В них надежда на будущее мира. — В победе России, конечно, участвовал и другой фактор: взрыв патриотизма, охвативший всю страну, когда враг стоял уже у ворот Москвы и своими нечеловеческими жестокостями вызвал к себе всенародную ненависть. Мы еще вернемся к тому значению, которое имел политический режим для обороны России. Сейчас подчеркнем лишь, что новая политическая установка Бердяева определилась русским патриотическим чувством.

Одно из несчастий современного мира состоит в том, что для избавления от германского фашизма понадобилась мобилизация национальных и патриотических чувств. Патриотизм — ценность относительная, естественно-законная в своих границах, разрушительная в своей безмерности. Вся беда в том, что для нашей эпохи эта идея непригодна для положительного политического дела, опасна и вредна даже в своих умеренных формах. Кажется, ясно — по крайней мере, в лагере демократии, — что национальное государство не может существовать в атомный век. Отказ от национального суверенитета, построение сверхнациональной государственности есть не утопия, не мечта, а необходимое, хотя и очень трудное, условие будущего существования человечества. Это видят в Англии, в Америке. Но страны, только что пережившие отчаянную борьбу за существование, отброшены психологически на сотню лет назад — в эпоху наполеоновских войн. Их узкие патриотизмы не желают подчиняться высшему авторитету. Они все еще переживают самоубийственный хмель национальной гордости и национальной ненависти.

Если не ненависть, то гордость переживает и Бердяев. Во всяком случае, он утратил подлинное ощущение вселенского целого. Он живет только Россией и определяет свое отношение к миру из русского угла. Глубокая реакция провинциализма, придушивая Россию, отразилась и на нем, оживив все славянофильские элементы его миросозерцания.

Но, прежде всего, как это было и со славянофилами, реакция национальных чувств мешает ему видеть Россию — настоящую, живую страну, а не Красную Звезду, загоревшуюся над миром в октябре 1917 года.

Для Бердяева Россия и поныне — страна революции, несущая

миру освобождение труда. Он проглядел ее фашистское перерождение 30-х годов, которое молча проглотили западные попутчики, и с восторгом приветствовали русские фашисты-эмигранты. На этом моменте следует остановиться.

Я понимаю вполне младороссов и «пореволюционеров», которые ездили на поклон к Муссолини и к Гитлеру, а теперь кричат «ура» Сталину. Зачем чужие вожди, когда есть свой? Сталин несомненно продолжает — умно или глупо, другой вопрос — великодержавную политику России, используя в своих, или русских, честолюбивых интересах симпатии революционных масс Запада и Востока. Не думаю, чтобы для Бердяева, даже теперь, русское великодержавие являлось верховной ценностью. Он соблазнен социальным содержанием, еще не окончательно выветрившимся в официальной доктрине московского фашизма. Он забывает, что фашизм тоже живет социальным, а не капиталистическим пафосом. Фашизм есть одна из форм современной социальной революции.

Я вызываю Бердяева, или кого угодно, дать такое общее определение фашизма, под которое не подошло бы Сталинское государство. Конечно, это определение должно быть не фантастическим, а историчным, то есть построено из наблюдений над реальными фашистскими обществами. До последней войны в Европе было два тоталитарных фашистских государства: Германия и Италия (другие были полуфашистскими). Историческое определение фашизма должно отвлечься от того, что характерно лишь для одной из стран (например, от немецкого расизма) и взять лишь общие черты, объективное определение или описание укажет следующие черты.

1. Политическая форма: вождь с абсолютной властью, партия как орган властвования и массы, пассивно-активные, вечно волнуемые, псевдо-революционизируемые, повторяющие подсказанные им лозунги.

2. Социальное содержание фашистской революции: синтез национализма и социализма — двух величайших сил современности, под главенством национализма.

3. И, наконец, тоталитарный, то есть всесторонний государственно-принудительный характер всей культуры.

Все эти черты характеризуют и современную Россию. Политический строй фашизма даже создан Россией, создан Лени-

ным. Отличие классического коммунизма Ленина-Троцкого от фашизма — в ведущей социальной идее. Революция Ленина была интернациональна, для России — даже антинациональна. С середины 30-х годов Сталин национализирует русскую революцию. Но, поскольку он не смягчает ее тоталитарности, это и значит, что он ее фашизирует. В процессах 1936–1937 годов Сталин истребил почти все социалистические элементы в партии. Остались одни фашисты. Война дала возможность идеологически выявить сущность нового режима, столь пленительного для «русских патриотов».

Есть одно важное отличие между СССР и погибшими типами фашизма, но не в пользу первого. Фашизм застает классовое капиталистическое общество и постепенно социализирует его, стремясь к уравнению классов. Сталин принял в наследство от Ленина общество бесклассовое, нищее, неработоспособное, и начал его хозяйственное и военное восстановление с борьбы против равенства («уравниловки»), окончив воссозданием нового классового общества. Новые классы основаны не на отношениях собственности, а на службе государству, как в старой крепостнической России. Но экономическое расстояние между новыми классами не меньше, а больше, чем в капиталистическом мире, а жестокость принуждения трудящихся не имеет себе аналогий и в истории средневековой России. Так называемый свободный труд «промышленного рабочего) представляет в России лишь самый малый сектор экономической жизни. Его далеко превосходит количественно не только государственно-крепостной труд крестьянина, но и рабский труд лагерей НКВД: число каторжников все возрастает, достигая, по приблизительным подсчетам, 15–20 миллионов душ. Важнее всего, что общая тенденция жизни идет в сторону все большего закрепощения полусвободных людей. За тридцать почти лет непрерывной эволюции советского строя, кроме двух или трех лет Нэпа, ни в одной сфере жизни не замечается обратной, хотя бы слабой, тенденции к свободе. Даже столь нашумевшее «освобождение» церкви на поверку оказывается ее закрепощением, возложением на нее государственного, пропагандно-дипломатического тягла.

Для русской интеллигенции заграницей этот процесс был прикрыт тем фактом, что постепенно, одна за другой, категории работников умственного труда были подняты из нищеты и

унижения, в которые их бросила пролетарская революция, и включены в состав нового дворянства. Писатели, художники, ученые — теперь и епископы, — после пережитых страданий преданы обласкавшему их режиму — вероятно, не за страх, а за совесть. Голос подавленных рабочих и крестьян не доносится до Парижа — вернее, донесся только с окончанием войны.

Это обстоятельство, безразличное для большинства эмиграции, не может не иметь значения для Бердяева. Некогда русская интеллигенция сделала свой выбор или свой исход: от «ликующих» и «обагряющих руки в крови» — в «стан погибающих». Теперь над этим принято смеяться. Я уверен, что Бердяев смеяться не станет. Но трагедия его заключается в том, что, думая протянуть руки к России трудящихся, он обнимается с палачами трудового народа. Когда в Париже началось братание с советскими дипломатами, офицерами и даже писателями, почему он предпочел их торжествующие голоса стонам тех затравленных невозвращенцев, которые донесли, наконец, до берегов Сены вопль порабощенной России?

Война показала не только способность русского народа защищать свою родину. Она показала — неожиданно для многих, в том числе и для пишущего эти строки, — всю глубину ненависти народа к советскому строю. Нам в Америке известно — надеюсь, что теперь это известно и во Франции, — что после немецкой оккупации из России добровольно бежало в Германию не менее миллиона людей. На Украине, у казаков, на Кавказе образовались партизанские части, сражавшиеся против Красной Армии. Три советских республики уничтожены (со ссылкой их населения) за немецкую ориентацию. И, наконец, страшный разгром советских армий в первые месяцы войны, со сдачей миллионов пленных, был бы немыслим без широкого пораженчества в самой Великороссии. И мы имеем прямые свидетельства, что такие настроения были распространены в первые месяцы войны. Потом все это резко изменилось. Почему? Гитлер пришел в Россию не как освободитель, а как истребитель. Это увидели скоро и стали на защиту родины. Россию спасло гитлеровское безумие. Вместо того, чтобы говорить о заслугах власти, которая вела народ к победе (Бердяев повторяет это ходячее мнение), следовало бы сказать иначе: Сталин вел Россию к поражению, Гитлер повернул ее к победе.

После войны Россия (с ее сателлитами) оказалась единственной страной, в которую отказываются возвращаться тысячи ее пленных граждан. Многие предпочитают самоубийство, бросаются в воду, чтобы избавиться от каторги или смерти на родине. Большинство возвращается с пассивной безропотностью, зная, что их ожидает. Каторгой их не удивить, там выработалось какое-то восточно-покорное отношение к страданиям и даже к смерти. Но возвращаются с тоской, завидуя даже тем жалким крохам буржуазной свободы и цивилизации, какие им довелось видеть. Мы бы сказали, что ненависть к режиму почти всеобщая, если бы ненависть не означала активно-волевого отношения к врагу.

Видел ли их Бердяев? Беседовал ли он не с изменниками, а с честными русскими людьми — порой героями военных лет, — которые выбрали свободу, невзирая на весь смертельный риск, с нею связанный? Если да, то почему он предпочитает верить преданным панегиристам и дворянчикам нового самодержавия?

Как ни утешителен для перспектив русской свободы кажется этот рост, или это проявление послевоенной оппозиции в России, на него нельзя возлагать больших надежд. Опыт тоталитарных режимов показал, что восстание против них невозможно. Совершенно несомненно, что огромное большинство итальянского народа в последние годы ненавидело Муссолини. Очень вероятно, что и в Германии Гитлер был близок к потере своей популярности. Генералы видели, что он ведет страну к гибели, пытались устраивать заговоры. Но мощь государственного террора оказалась сильнее — на горе страны и народа. Только военный разгром доселе был способен уничтожить фашизм. И мы видели, какую цену платят за это государства и народы. Но эволюция фашизма к свободе еще менее вероятна, чем его революционное свержение. По мере того, как в жизнь вступают новые поколения, воспитанные или деморализованные в тоталитарной школе, иссякают идеи, во имя которых смутное недовольство народов могло бы влиться в политический акт. Для России эволюцию к свободе затрудняют следующие факторы:

1. Глухая стена, отделяющая Россию от Запада, и мистические ужасы, которыми легенда окружает капиталистический ад (Бердяев участвует в поддержании этой легенды).

2. Физическое истребление и вымирание старой интеллигенции, дышавшей воздухом свободы.

3. Рождение новой аристократии, вышедшей из низов народа, воспитанного в пережитках крепостного быта.

4. Появление в русской жизни больших масс восточных народов, несущих с собой опыт тысячелетнего деспотизма.

Предоставленная самой себе, изолированная от мира Россия, или точнее Евразия, должна и дальше развиваться в том же направлении, в котором шла эти тридцать лет: к устранению последних пережитков как западного христианского гуманизма, так и светского демократического социализма, и к построению тоталитарной азиатской деспотии, вооруженной всей современной техникой Запада. В истории такие образования — Египет, Китай, Византия, — отличались всегда большой устойчивостью и долговечностью. Если обладать исторической фантазией, то, забегая вперед на несколько поколений, можно предвидеть все, что угодно: коронование новой династии, оправославление фашистского государства, — только не его либеральное перерождение. Вместе со всеми попутчиками коммунизма и с русской черной сотней Бердяев сотрудничает не в построении социализма, а в реставрации Московского царства.

3

К счастью или к несчастью, эта предполагаемая изоляция России невозможна. Может быть, благодушные или деморализованные демократии и согласились бы на раздел мира на два полушария: сферу свободы и сферу рабства. Но большевистская Россия на это не согласна. Упоенная своей победой, она немедленно переходит от обороны к наступлению. Начинается небывалая в истории России и безумная по существу экспансия одновременно на Западе, Востоке и Юге. В Европе не менее двенадцати народов со ста миллионным населением включены в систему восточного рабства. Это означает истребление интеллигенции, уничтожение свободной культуры, перемещение миллионов — в ссылку, в Сибирь. Бердяев не может не знать того, что творится во всей Восточной Европе. Может быть, он равнодушен к судьбе балканских славян. Но что он думает о предательстве и новом распятии Польши? Ему должно быть известно, что всюду за «железным занавесом» ничтожное число местных коммунистов (их

определяют в среднем процентов в пятнадцать) советизируют свои страны, опираясь на русские войска и агентов НКВД.

Говорят об опасности новой войны. Забывают, что Россия никогда не прекращала войны, вернее, многих мелких войн — на Балканах, в Персии, в Китае. Вооружая и финансируя армии национальных и политических меньшинств, она маскирует свое собственное военное наступление; слегка покрывает его революционным лаком.

Действительно, такова революционная стратегия Сталина. Он давно уже потерял, если когда-либо имел ее, веру в революционные способности масс. Он верит только в силу танков и бомбовозов и признает только одну форму социальной революции — русское завоевание. Деятельность политических партий за рубежом имеет важное, но подспорное значение для действий Красной Армии: создание пятой колонны, дезорганизация тыла, подготовка кадров будущей оккупационной администрации.

В этих условиях идейное значение русского патриотизма совершено меняется. Он теряет остатки благородства, наследие героической обороны, и приобретает хищный, волчий оскал, который был свойствен и немецкому патриотизму гитлеровской эпохи. Боюсь, что и русскому народу придется расплачиваться за патриотов, сплотившихся ныне вокруг Сталина-завоевателя.

Но Бердяев не только русский патриот, он и славянофильствующий социалист. Для него победа социализма в мире не пустое слово. Однако, завороженный «русской идеей», он перестал вглядываться в то, что происходит на Западе. Он не чувствует, как устарело его противопоставление коммунизма и капитализма. Где в Европе Бердяев видит еще живой капитализм? Существуют лишь его остатки, вкрапленные в социализирующиеся формы нового строя. Его защитники ведут арьергардные бои, уже без ожесточения и без надежды на победу. Повсюду в Европе власть в руках социалистов или коалиций на основе социалистической программы. Национализация ключевых отраслей хозяйства уже проведена или проводится в жизнь. Очень важно, что христианские церкви в своем большинстве отказались от защиты капиталистического строя и работают, хотя и не везде дружно, рука об руку с социалистами. Только в Соединенных

Штатах капитализм силен и в жизни, и в доктрине. Это объясняется исключительно счастливым, почти монопольным положением американской индустрии на мировом рынке. Здесь пока и рабочие не выдвигают социалистической программы, как это было еще недавно в Англии. Но достаточно первой, неизбежной экономической бури, подобной кризису 1930-х годов, и все изменится. В Европе за мощью американского доллара не видно необычно выросшей в Америке силы рабочего класса и его профессиональных союзов. Их влияние в государстве таково, что они нередко оказываются сильнее, в правительстве и в Конгрессе, организованного влияния предпринимателей. Борьба между ними идет с переменным успехом. Несомненно, что столкновение еще впереди. Исход его никому не известен. Но опыт Нового Курса Рузвельта позволяет надеяться, что эта страна и без тоталитарных лозунгов сумеет идти по пути подлинной социальной демократии.

Почему Бердяев замалчивает победы социализма в Англии, вообще в Европе? Или потому, что они мало эффектны, эффектами революционных постановок? Что там не льется кровь вместе с потоками лживых речей, массы не болеют лихорадкой ненависти, как это требуется демагогами, примеряющими костюм героев великих революций?

Если бы Бердяев без предубеждения, открытыми глазами взглянул на то, что происходит в мире, он увидел бы: что мир переживает эпоху социальной революции, что капитализм обречен бесповоротно и что главный вопрос, который решается сейчас, это вопрос о его преемнике — свободный социализм или социализм тоталитарный, то есть фашизм?

Несмотря на продолжающееся кое-где сотрудничество социалистических партий с коммунистами, главная линия фронта проходит именно здесь: между демократическим социализмом и торжествующей сейчас формой фашизма. Несмотря на свое тяжкое поражение в последней войне, фашизм не исчез из мира, потому что он имеет глубокие корни в сознании деморализованного человечества. Он способен производить на свет все новые формы, как это было на днях в Аргентине, где полковник Перон, друг Германии, пришел к власти путем действительно свободных выборов, выдвинув антикапиталистическую программу, собравшую вокруг вождя рабочие и крестьянские массы.

Фашизм везде двулик, со своим социальным и национальным пафосом. Таков и современный коммунизм, всюду усвоивший националистические лозунги. Кстати сказать, почти во всей Южной Америке коммунизм отказывается от своего слишком скомпрометированного имени и предпочитает заключать соглашения с консервативными или фашистскими группами против демократии. Поистине нужно быть доктринером слов, чтобы утверждать сейчас реальное различие между коммунизмом или фашизмом. Сталинизм есть просто русская форма фашизма, увлекающая за собой если не все, то главные фашистские силы в мире, соглашающиеся на зависимость от московского центра. Признаю, что момент социальной ненависти в коммунизме выражен сильнее, чем в других фашистских течениях. Но это ли привлекает к нему Бердяева?

Борьба, происходящая сейчас в мире, решает: жить ли новому социалистическому обществу в формах свободы — гражданской, политической и духовной, или в формах тоталитарных деспотий? Вместе с этим она же решает то, как совершится необходимое и неизбежное объединение мира: путем ли федерации свободных народов, добровольно строящих мировое государственное объединение, или путем порабощения всех народов одним государством-завоевателем. Возможен и третий исход — всеобщее уничтожение в борьбе между этими типами общества Но капитализм и сосуществование независимых народов нужно считать исключенными.

В этой борьбе Бердяев — конечно, сам не подозревая о том, — занял позицию в стане фашизма против социализма, в стане рабства против свободы. Верим, что этот выбор обусловлен не личными вкусами, то есть не заблуждениями сердца, а заблуждениями разума. Бердяев живет в воображаемом, нереальном мире. Однако это не оправдание. У русского писателя в эмиграции имеются лучшие возможности информации, чем у кого-либо другого. Мы понимаем по-русски. Бердяев не знает фактов, потому что не хочет знать их. А не хочет потому, что живет во власти омертвелых (некогда живых) идей. Он закрыл свое сердце для голоса жизни, для голосов живых людей и их страданий. Это грех против персонализма, говоря скромно.

Мы не стали бы тревожить этими упреками человека, который имеет в прошлом столько заслуг и который, наверно, ни-

когда не переступит сам порога, отделяющего мыслителя и публициста от сикофанта. Мы не сомневаемся в его личном благородстве. Беда — и не малая — в его большом влиянии на западные, лево-христианские круги. Они привыкли, особенно во Франции, обращаться к Бердяеву для истолкования загадок русского сфинкса. Несчастная Франция сейчас трепещет на тонком канате, висящем над бездной. Бердяев толкает в эту фашистскую бездну своих друзей, то есть лучших людей Франции. Если они верят ему, то они губят свой народ. В этот решающий одиннадцатый час так многое зависит от немногих — мужественных и честных. Горе, когда эти немногие слепнут.

Не хочется кончать на этой мрачной ноте. Бердяев много раз ломал линию своей идейной жизни, — не в основном и главном, а в политических приложениях. Пока человек жив, он доступен голосу жизни. Если сердце на месте, не все потеряно. Будущее покажет, найдет ли в себе силы старый, ослепший орел для нового героического взлета, или ему так и суждено окончить свои дни в плену у облепившего его просоветского черносотенства.

Между двух войн

С ТЕХ ПОР, как атомная бомба брошена в Хиросиму, человечество живет в каком-то оцепенении. Победа не принесла с собой радости. Мир оказался тяжелее войны. Его задачи, по существу разрешимые, оказываются не по плечу для мира, безнадежно расколотого между воинствующим фашизмом и безвольной демократией. Для одних борьба, война, революция — естественное состояние, даже более: долг и подвиг. Жертвы не идут в счет для них, люди как муравьи, кровь как вода. Другие настолько подавлены ужасом недавней войны, что не способны поднять и руки для своей защиты. Для одних готовящееся столкновение представляется как торжествующая революция и завоевание мира. Для других как конечное разрушение культуры. Для иных чутких людей так называемый «атомный век» исчисляется несколькими годами. Страшное изобретение это — смертный приговор для человечества, бессильного организовать мир. Мы живем как неизлечимый больной, диагноз которому только что поставлен. Сознание близости конца меняет все отношение к вещам. Пропадает вкус к жизни, к ее вечным, элементарным радостям. Все заволакивается серой дымкой. Люди перестают читать газеты (другие перестали уже давно). Читающие не могут принимать всерьез той трагикомедии, которая, под именем мирных конференций, заседаний UNO [1], разыгрывается на авансцене истории. Актеры и сами не могут относиться серьезно к своим ролям, не верят ни одному своему слову. За кулисами балаганчика происходит настоящее темное действо: подготовка новой, уже атомной, войны. Тот год, когда одна из военно-фашистских держав изготовит достаточное количество бомб в своих тайных лабораториях, будет концом нашей цивилизации. Вероятно, и нашей жизни.

А между тем — даже странно думать об этом — еще не все погибло. Судьбе угодно было, чтобы страшное оружие смерти оказа-

лось на короткое время в руках миролюбивой и свободолюбивой страны. Оно могло бы сделать ее распорядительницей и устроительницей мира к его счастью и спасению. Для этого она должна лишь обладать зрением и волей. Пока что мы видим, что ее духовные вожди слепы, а политические — безответственны. Не хотят видеть того, что есть. Живут иллюзиями давно ушедшего идиллического XIX века. И не хотят взять на себя бремя ответственности, остановить неуклонный скат к бездне. Перестать зарывать голову в песок текущих дел и делишек и принять решение.

Унизительно думать, что мы погибаем от человеческой глупости и трусости. Но нет ли в самой этой ситуации искры надежды? В самом деле, механизм гибели — чисто психологический; в нем нет никакого предопределения, никакой необходимости. Если гибель зависит от сознания и воли людей, то от них же зависит и спасение. Разве не может произойти переворот в сознании: откроются глаза, родится воля, и смертный приговор будет если не отменен, то отсрочен опять? И от человечества будет зависеть, как воспользоваться этой последней отсрочкой.

Для тех, чья воля весит бесконечно мало на весах истории, эти годы «между двух войн» могут, а следовательно должны быть временем осознания, проверки совести. Есть горькое и не всегда бесплодное утешение в гетевском:

> Mir gab ein Gott zu sagen was ich leide [2].

Если суждено погибнуть, будем знать, по крайней мере, за что. Если спасемся, то не без участия нашей воли и сознания. В старой восточной сказке путник, преследуемый единорогом и повисший над бездной, где его стережет дракон, тянется в последний раз к ягодам на держащем его кусту. Эта притча очень близко напоминает наше положение. Но, может быть, путнику было бы лучше сосредоточить весь свой ум и волю, чтобы восторжествовать и над единорогом и над драконом (легко подставить под эти символы современные политические реальности). По крайней мере, в американских романах и не такие положения преодолеваются в «счастливом конце».

* * *

Легко понять, что не атомная бомба сама по себе грозит разрушением культуры. Атомная бомба — орудие войны. Война или

революция — это срывы, провалы общества, неспособного организовать свои внешние и внутренние отношения. Другими словами, война, в наши дни ставшая перманентной, есть выражение внутреннего кризиса нашей цивилизации. С этим согласится всякий. Войны прошлых веков, при всем их варварстве, были явления «нормальные» — конечно, в том смысле, в каком нормальны грехи и пороки людей, всегда смешанные с их доблестями и добродетелями. Соперничество и гордость, борьба за власть, деньги или престиж — это постоянный материал, который очищается и преображается в культуре, подчиняясь социальным нормам, добровольно признанным и укорененным религиозно. Но бывают эпохи, когда разрушаются самые нормы, у исторических деятелей не оказывается никаких правил игры, и тогда первобытный хаос вырывается из подполья, и историк говорит о разложении и гибели культуры. В наше время поразительно обнаженно выступают моральные пружины социального кризиса. Никогда еще техническая и экономическая культура не давала таких возможностей для легкого удовлетворения всех законных потребностей человечества. При данном уровне техники легко накормить, одеть, настроить гигиенические жилища не только для белых рабочих, но и для цветных париев всех континентов. Давно уже сказано, что наш экономический кризис — от изобилия, а не от скудости. Главные социальные проблемы — не проблемы труда, а проблемы досуга. Если же голод по прежнему царит на земле, а миллионы изнемогают от непосильного труда, то это — результат хаоса и неспособности организовать огромные производительные силы. Борьба интересов между нациями, споры за этнографические и стратегические границы — чистый мираж в эпоху обилия и атомной бомбы. Единственно реальные границы народов — это в понимании Пушкина, Гете, Шекспира, Расина и Данте. Но плодотворные и важные проблемы их стилей — а национальные личности суть прежде всего эстетические категории — не решаются и не углубляются путем массового истребления их читателей. На первый взгляд социальные конфликты более реальны, но это лишь на первый взгляд. Нетрудно видеть, что не борьба за правильно понятые интересы классов, а ненависть и гордость мешают построению нового общества. Для капиталиста строй экономического самодержавия, который он отождествляет со свободой, есть прежде

всего основа власти над людьми, утешение честолюбия, а не источник материальных благ. С другой стороны, все еще не померкшее обаяние коммунизма, конечно, не в том, что он обещает рабочим государственное закрепощение труда, но в том, что он обещает и очень удачно выполняет физическое истребление их врагов. Ради удовольствия поставить к стенке или уложить под нож гильотины классического карикатурного буржуя более темные или более импульсивные слои пролетариата с энтузиазмом надевают на себя цепи небывалого рабства.

Легко свести все современные мировые конфликты к старой схеме смертных грехов. Но в отличие от прошлых — конечно, не менее греховных — эпох человечества нами утрачено сознание добра и зла. Нет той омерзительной гнусности — уничтожения пяти или шести миллионов евреев, целых классов в России, — которая не находила бы оправдания, почтительного восхищения или равнодушия со стороны людей культурных, неглупых и незлых. Они еще не превратились в чудовищ, но у них атрофировалась способность моральных оценок, которая отличает живую личность от живого трупа. Самое редкое чувство, которое можно встретить теперь — это подлинное нравственное негодование. Чаще всего под него гримируется ненависть, и она выдает себя односторонностью своего направления: против Гитлера, против Франко, против Сталина. Своим все прощают. Впрочем, прощают и чужим, когда этого требует выгода или официальные приличия. Каких только грязных и кровавых рук не пожимают люди, еще не утратившие личного стыда, на всяких международных съездах. На этих съездах встречаются политики, у которых нет, кажется, ни одной общей идеи, ни одного общего чувства. При необходимости иметь общий язык пользуются трафаретами XIX века, в которые не верит большая часть собеседников. Одни лгут бесстыдно в глаза, другие лицемерно принимают ложь противников за чистую монету. Это называется соглашением. Самое тяжелое в духовном воздухе современности — это всепроникающая ложь. Она с необходимостью рождается из гибели ценностей, из утраты общей меры оценок, которая лежит в основе всякой культуры.

* * *

Кризис гибели или кризис роста? Невозможно забывать об этой альтернативе; иначе неизбежно скатишься в правую или левую пропасть фашизма. Разложение, гибель старых ценностей весьма часто сопровождают в истории рождение новой культуры. В скаредной экономии «прогресса» новое почти всегда покупается за счет старого. То равенство за счет свободы, то свобода за счет равенства; пространство за счет линии, линия за счет пространства... По счастью, это происходит не так, как хочется сторонникам интегральных революций: старое не истребляется и не выкорчевывается до конца. Прогресс был бы немыслим, если бы каждая революция начисто уничтожала все, что сделано ее предшественницей. В перманентной революции человек оставался бы вечно полуобезьяной. Да и революция — термин мало пригодный для характеристики исторических движений. Революция, переворот, разрыв, ломка — механические термины, которые в применении к органическим процессам означают ненормальное, болезненное состояние, угрожающее смертью. Революции приемлемы лишь как частичные болезненные явления, заживляемые здоровыми силами социального организма. Заживляемые — но не всегда. Франции так и не удалось за полтораста лет залечить социальных и духовных ран, нанесенных ей революцией. Основная линия истории — это накопление ценностей, а не их разрушение; преемство, а не прерыв; традиция, а не революция. Частичное сохранение феодализма в Англии объясняет многое в жизненности ее демократии; тоталитарная выкорчевка феодализма в России порождает как ее самодержавие, так и сталинизм. Но, конечно, верно, что всякое движение в нашем падшем мире означает разлуку, всякое обогащение сознания в падшем времени означает частичное забвение. Даже в мирные, органические эпохи старик, уходящий из жизни, видит то, чего не видят его дети (но что увидят внуки): как много правды и прелести исчезло за его недолгие годы. В этом видении его правда. Но эта же правда мешает ему видеть правду новой жизни, в которой он чужой. Нельзя встать безусловно на сторону врагов Петра, даже признавая (или идеализируя) красоту древнего русского быта. Слишком явны культурные плоды новой, императорской России. Нельзя оплакивать отмену крепостного права, хотя именно на нем выросла изумительная дворянская культура, великая литература и искусство, выше кото-

рых ничего не создавала Россия. Современнику, застигнутому исторической катастрофой, не может быть ясно ее значение: смерть или рождение новой жизни? Вопрос решается не тем, лучше ли, теоретически, новые, рождающиеся ценности старых, умирающих. Вопрос в том, может ли их вместить старая культура, не захирев или не рухнув. Вопрос в том, умирают ли вторичные, заместимые ценности или те, коренные, из которых вырастала и на которых держалась старая культура. Мы имеем в истории примеры тех и других революций. Перелом от средневековья к эпохе гуманизма, от древней Руси к Империи сопровождался безжалостной гибелью нравственных и художественных ценностей. Можно было сомневаться, устоит ли сама жизнь, можно было увидеть — в папе, в царе — Антихриста. Но жизнь устояла, потому что не погибло христианство, тысячу лет питавшее культуру, хотя церковь, и католическая и православная, понесла тяжелые потери. Однако античный Рим не пережил падения старых богов. Новая религия оказалась бессильной влить новые, социальные энергии в расслабленный организм. Древняя цивилизация умерла, хотя и не бесследно.

Теперь принято среди ученых подчеркивать непрерывность развития от древнего мира к средневековью; среди профанов — беспечно скользить над пропастью столетий к новому расцвету. Стоит ли плакать о разрушенной Олимпии, когда впереди шартрский собор, парижский Нотр-Дам? Я принадлежу к тем, кто предпочитает Нотр-Дам Парфенону. Но я не могу забыть, что между ними лежат века, — точнее, полтора тысячелетия — сначала медленного замирания культуры, потом дикого варварства, озверения, невежества — всего того, что покрывается красноречивым именем Dark Ages, темных веков, хотя и прорезанных лучами святости. Представьте конкретно эти века перед нами, и потом скажите, примирят ли вас будущие соборы или народные дворцы тридцатого столетия с гибелью старой любимой Европы и России.

Гибель древней Атлантиды не единичное явление. Все известные нам цивилизации погибли или погибают на наших глазах, прожив два-три, а то и одно тысячелетие. Но нам, конечно, известно и множество спасительных кризисов, болезней «не к смерти, а к славе», которыми особенно богата наша динамическая, «фаустовская» цивилизация. К какому типу катастроф отно-

сится переживаемая нами? Этого не дано знать никому из ее очевидцев и участников. Это тайна не «железных законов» истории, не Божия предопределения, а человеческой свободы. Если в буре, разрушающей старое, устоят и окрепнут самые последние твердыни, то снова зазеленеет обновленное дерево культуры. Если рухнут или раскрошатся они, человек надолго вернется в леса и пещеры, к луку и кремню.

* * *

Многое, слишком многое оправдывало бы пессимистический взгляд на современный кризис как на падение европейской (христианской) цивилизации. Выветривание религиозных верований в широких массах, уничтожение общего этического мерила, варваризация искусства, рост невежества во всех слоях общества. На этой канве легко вышивать узоры. Сейчас у меня нет для этого ни времени, ни охоты. Отмечу лишь утрату у современного культурного человека веры в свои ценности, которая заставляет его искать идеала вне его сферы культуры: в Москве, в Азии, в Мексике, в тропической Африке... В самоубийственном смирении — искусство Европы учится у негров. В школе происходит непрерывный процесс диссоциации, отрыва юных сознаний от культурных традиций: истории, литературы прошлых времен. Детективный роман вытесняет Толстого, Диккенса, Флобера. Распад научного синтеза делает невозможным появление универсальных умов, которые осмыслили бы в целостной системе бесконечное множество фактов и гипотез. Самые мощные политические движения современности пользуются не научным методом, а социальными мифами. «Протоколы сионских мудрецов», в научном смысле, стоят коммунистического (только ли?) представления, что мир управляется банкирами, которые устраивают войны... Замечательно, что регрессивное движение почти во всех странах протекает под самыми передовыми лозунгами: нового искусства, прогрессивной школы, «либеральной» политики. Защита культуры, свободы, человечности становится консервативным делом. Но это компрометирует ее. Печать викторианства лежит на защитниках свободы. Да и по возрасту настоящие либералы встречаются чаще всего среди стариков. Здесь мы подходим к самой ключевой проблеме нашей эпохи, которой имя — фашизм.

От правильного понимания фашизма зависят и меры борьбы с ним и надежды на его преодоление. Американцы, которые взялись за искоренение фашизма в Германии, не имеют никаких шансов на успех, потому что им непонятна его природа: они живут в самосознании XIX века. Фашизм есть болезнь современного человека, и только через понимание современности удается подойти к нему.

Безнадежны попытки истолковать фашизм как классовое движение буржуазии. Неправильно понимание его как голой реакции, как обороны отсталых слоев против прогресса. Фашизм приходит и справа и слева. Я считаю коммунизм одной из форм фашизма. Фашизм, конечно, реакция против XIX века и гуманизма вообще. Но это реакция, приходящая через революцию. В своем сознании он строит новый мир на развалинах старого. Быть может, лучший ключ к фашизму дает его возрастная оценка. Фашизм есть движение молодежи. Недаром его итальянский гимн — Giovinezza [3]. Сейчас в Германии наиболее упорные нацисты — остатки Hitler Jugend. И не только потому, что им хорошо забили головы в школе и лагерях. Было, вероятно, что-то такое в нацистской доктрине, что удовлетворяло молодежь более, чем все буржуазные и социалистические течения. К тому же наблюдению можно подойти и с другой стороны. Если взять три страны, где фашизм получил свое классическое развитие: Италию, Германию и Россию, то нельзя не видеть общие черты в их дореволюционной культуре. То были страны «передовые» в смысле влечения к последним словам культуры. Футуризм был провозглашен в Италии и дал настоящих поэтов в России. Германия тоже была страной передового искусства. Фашизм — это «передовое», последнее слово политической культуры Европы в ее упадке. Наибольший иммунитет к нему сохраняют страны духовно консервативные, прежде всего Англия. Если дорога истории идет к пропасти, то передовые ездоки первые и сваливаются в нее. Те, кто оказываются позади, имеют шансы уцелеть и свернуть на другой путь.

Но фашизм не просто бездна, то есть пустое место или чистое зло. Он не мог бы увлекать молодежь и целые народы, если бы в нем не заключались и элементы положительных ценностей. Да и мы сами, то есть многие из нас, стараемся отыскивать положительные черты в жизни советской молодежи и в советской лите-

ратуре. Приблизительно то же самое можно найти и в Германии и в Италии. Важно не только то, что зло в чистом виде существовать не может, что оно всегда паразитирует на каком-либо добре. Важно то, какие именно положительные ценности увлекают передовые народы и возрастные группы, ибо в этом указание и нашего собственного пути.

Если исходить из предпосылки, что мы переживаем кризис роста, а не гибели, то надо искать в современности, в хаосе и борьбе противодействующих сил те, что указывают путь к будущему. Фашизм есть ложный путь – прежде всего потому, что культуры нельзя построить на тех жалких схемах, которые он кладет в основу общества будущего. Фашизм есть ложный ответ на вопрос, поставленный историей. Он прав в своей проблематике, в своей критике старого общества. И мы должны видеть эту правду.

Защищая индетерминизм, свободу в историческом процессе, мы видим и ее границы. Мы ощущаем огромную тяжесть и косность истории, как в ее покое, так и в движении. Историю нельзя поворотить в любом направлении. Но на распутьи, на перевале можно организованными усилиями или гениальной интуицией сообщить добавочную силу одной из противодействующих энергий. Культура будущего провидится в настоящем, но не в одном, а в нескольких вариантах. Наш вариант – гуманизм и свобода. Он не может победить, если мы встанем просто грудью против катящейся лавины, и на каждое утверждение фашизма ответим отрицанием. В этой позе есть нечто героическое, но безнадежное. Она вполне допустима для одинокого мыслителя, но не для общественного деятеля. Политически и социально ориентированный мыслитель ищет рычагов, приводящих в движение действительность, и здесь он должен считаться с живой силой движущейся исторической массы и ее направлением. Вопрос только в том, сможет ли он сочетать, подчиняя ее, слепую силу данного движения со своими идеалами. Попробуем рассмотреть те положительные элементы фашистских систем, которые могут быть и нашими путеводными вехами.

* * *

Одна из характерных черт фашизма, отличающая его от старых, военно-полицейских диктатур, есть его идеологическая то-

талитарность. Фашизм исповедует свою философию, свою науку, свою догму — в каждой стране различные, но всюду требующие безоговорочного признания. Для защитников свободной культуры, даже культуры вообще, эта духовная тоталитарность — главное зло фашистской системы. Но, несомненно, она является притягательной силой и для молодежи и для масс, жаждущих прямого и цельного ответа на все вопросы жизни. Здоровый, цельный человек не может жить в духовной анархии, когда на каждый проклятый вопрос от духовных вождей, жрецов науки, лучших мыслителей он слышит одно «не знаю». Или «каждому свое». Не может существовать и культура, растерявшая всю общность оценок. Уже давно, из глубин XIX века, доносится стон художников об утрате общего стиля. Искусство не может жить, если каждый творец и работник должен для себя создавать свой собственный стиль, свое художественное миросозерцание. Не может быть общественной школы, если все учителя противоречат друг другу, или даже если противоположные системы воспитания, этики, философии сосуществуют в борьбе организованных школьных систем. За последние два столетия мы привыкли к тому, что в нашем обществе мирно уживаются различные религии, философии, партии и политические доктрины. И, конечно, в терпимости, увы, далеко не всеобщей, мы справедливо видим одно из главных завоеваний разума и совести. Мы убедились, что христиане и атеисты могут работать рука об руку в культурном деле. Но забываем часто об одном. Эта возможность существует до известной черты. И эта черта проходит там, где начинается сфера этики, точнее социальной этики. Сотрудничество атеистов с христианами было возможно потому, что атеисты сохраняли, если не целиком, то в значительной доле, христианскую этику как основу общественности. Они пытались обосновать ее на науке, на истории, на чем угодно, только не на религии. Но они были согласны с христианами, что общество должно строиться на справедливости, на альтруизме и даже на сострадании к слабым. Вся так называемая «социальная» работа демократических стран вдохновлена, прямо или косвенно, идеалами Нагорной проповеди. Но настало время, когда «передовые» умы — Ницше, Маркс, Горький, декаденты — восстали против сострадания. «Падающего толкни». Поэты, вместо жалости к жертвам, стали переживать садистские восторги палача. Нако-

нец, пришли социальные пророки в России и Германии, которые стали проповедовать убийство миллионов для счастья или могущества народа. И массы шли за ними.

В демократии не может быть места для партии, которая открыто требует истребления евреев или негров, — с этим все согласны в демократическом лагере (насчет помещиков и даже крестьян уже согласия нет). Но какие убедительные доводы могут быть противопоставлены убийцам, если утрачена общая нравственная почва?

Перед демократической культурой стоит задача необычайной трудности: найти общий язык, общую веру, не прибегая к насилию в духовной борьбе. С насилием демократия перестает быть сама собой, создавая все новые формы — например, христианские или массонские — того же тоталитарного фашизма. У нас только одно оружие — слово, и это великая сила, если за ним стоит целостное убеждение. Цель наша не в том, чтобы уничтожить все ереси, даже очень опасные, но в том, чтобы обеспечить истине господство в сознании большинства и в организованной общественной жизни. Было спокойное, праздное время, когда считалось, что культура красна многообразием мнений и что вопрос об истине — во всяком случае, абсолютной Истине — неуместен. Демократию отожествляли с релятивизмом. Повторяли и повторяют еще роковые слова Лессингова Натана о предпочтительности искания истины ее обладанию. В этом афоризме ключ к нашей гибели. Нельзя искать истины, если не хочешь обладать ею. Скептицизм есть состояние обреченных классов или обществ — он не пригоден для тех, кто еще не проклял жизни.

Все великие культуры прошлого покоились на общности миросозерцания. Это не исключало борьбы идей внутри их. Борьба, необходимое условие творчества и движения, шла вокруг частных, хоть и важных проблем. Спорящие принадлежали к общей духовной семье. Соединяющее их было важнее того, что разъединяло. Был общий язык и возможность частичной рецепции неправоверных взглядов господствующим большинством. Были, конечно, и такие меньшинства — прежде всего религиозные, — которые не участвовали в общей жизни, но они поэтому и не представляли опасности для целого. Костры инквизиции были преступлением, не вызываемым необходимостью.

На рубеже двадцатого столетия, в зените скептического века,

мы думали, что этот общий закон культуры — единство в многообразии — не относится к нам; что наша демократия может построить общество из одних противоречий. Мы ошибались. На наших глазах общество рушится, лишенное духовного единства. Из его обломков, как материалов, варвары пытаются строить жалкие бараки, но по определенному плану. Их потребность в плане, в единстве вполне законна. Но их истина так скудна, что ничем не отличается от лжи; именно поэтому она может быть вбита в головы только насилием.

Мы должны обладать истиной всеобъемлющей, универсальной, которая вместила бы все частные истины. Тогда она не будет нуждаться в насилии для своего признания. Но, конечно, она может победить лишь в борьбе против лжи во всех ее разновидностях. Путь к единству идет через разделение, к миру — через войну. Только в этой борьбе нельзя забывать о свободе, которая дана не для одной истины, но и для лжи. В этом главная жизненная трудность нашего стана. Легко сочетать свободу с безверием, насилие с догматизмом. Свободная вера, даже свободный догмат есть все еще вечное задание для общества, желающего утвердить себя на христианских началах.

* * *

Все фашистские движения социальны. Ни одно из них не защищает капитализма, а в обличении зол существующего хозяйственного строя они не уступают социальным. Можно было бы прямо определить фашизм как одну из форм социализма, в добавление к указанным в Коммунистическом Манифесте: как социализм тоталитарный, революционный, хотя и не классовый. И в этой социальной установке, как и в национальной, фашизм почерпает свою силу. Здесь он отвечает также на один из самых мучительных вопросов современности. И здесь ответ ложен, потому что связан с тоталитарной политикой. Но мы хорошо сделаем, если прислушаемся к его ответу.

Впрочем, не стоит ломиться в открытые двери. Мы живем в перманентном социальном кризисе; я не боюсь сказать, социальной революции, хоть есть люди, которые считают этот кризис преходящим. Поклонники советского фашизма видят заслугу Москвы в том, что она поставила перед миром социальный

вопрос. В действительности, он поставлен был непрерывным экономическим кризисом, открывшимся после первой войны, во всей остроте с тридцатых годов. Роль ленинской революции была скорее отрицательной. Она вызвала к жизни все виды западного фашизма для обороны — не капитализма, а национальной государственности. Создав пугало из социализма, она скорее помешала постановке социальных опытов на Западе. Попутчики коммунизма долго были не в силах перевесить страх, вполне законный, буржуазных и крестьянских классов. Только вторая война сломила их сопротивление.

Социализм в наши дни не фантазия утопистов, и не только веление нравственного сознания: это жизненная необходимость для общества, дошедшего до предела экономического хаоса; разумеется, если под социализмом понимать не огосударствление всего хозяйства, а урегулирование, не предрешая его форм. Одно из бесспорных завоеваний социализма — это перелом в экономическом сознании всего «буржуазного» общества. Теперь никто не оспаривает, что хозяйство существует не в частных интересах предпринимателей, а ради удовлетворения общественных потребностей. Некогда священные формы собственности и прибыли должны склониться перед человеком и его нуждами.

К сожалению, американский капитализм, в сознании своих огромных, монопольных возможностей, не хочет уступать. Перед ним еще несколько лет мирового господства, и ради них он готов рискнуть гражданской войной. В идеологии американской интеллигенции эта ситуация сказывается злосчастным смешением капитализма и свободы. Их союз, в прошлом бесспорный и подаривший миру много ценных правовых институтов, теперь расторгается историей. Для свободы надо искать иных более серьезных гарантий, чем свободная конкуренция.

Нельзя, конечно, закрывать глаза и на опасности, которые несет свободе не только коммуно-фашизм, но и вульгарный социализм отсталых доктринеров. Если под социализмом понимать всеобщее огосударствление, то вероятно, что при нынешнем моральном уровне человечества такой социализм, действительно, означает всеобщее рабство. Экономическая зависимость от единого и всемогущего хозяина-государства отнимает у рабочего, то есть у всякого гражданина, и свободу политическую и свободу духовную. Те, кто, как Н. А. Бердяев, считают возможным

расцвет духовной свободы на экономическом рабстве, просто не считаются с человеческой природой. Для социальной демократии необходимо сохранение свободы в самом производственном процессе, не сокращение, а расширение творческих элементов труда, а, как ее гарантия, непременный *плюрализм* хозяйственной организации.

Но социальная тема нашего времени имеет и другой, не экономический аспект. Последние века буржуазного — или шире, индивидуалистического — общества, выросшего из культуры Ренессанса, поставили личность на край гибели. Она потеряла одну за другой почти все формы союзности, в которых находила духовное питание и тепло. Обездушены классовые и профессиональные ячейки, распадается семья, пустеет Церковь. Остается одно безличное чудовище государства, которое, вчера равнодушное к личности, сегодня становится ее тираном. Оставшись без Бога и даже без товарищей по страданиям, одинокая личность делается добычей отчаяния. Современное искусство именно и выражает это отчаяние одиночества.

Фашизм учитывает этот социальный голод и снова включает личность в коллектив. В партии, союзах молодежи личность может забыть о своих проклятых вопросах, о смысле жизни и смерти, в общей работе, в общей борьбе. Зависть опустошенных душ к этой коллективной жизни лежит в корне почти всякого буржуазного попутничества. И в юношеских организациях, в комсомоле и Hitler Jugend, действительно, расцветают товарищество, основанное на вере в идеал, и общая жизнь. Но партии фашизма безжалостны и бездушны. Они высасывают всю кровь и все нравственные силы из подрастающих поколений, а потом выбрасывают их в мусорную яму. И здесь фашизм дает лишь призрачное утоление реальному голоду.

Скаутизм буржуазных стран дает молодежи не больше, а меньше, чем комсомол. К тому же это парамилитарная форма организации, созданная военными и для военного воспитания. Она мало пригодна для воспитания демократического, ориентированного на мир и труд. Но в наш железный век, когда демократия живет все время «между войнами», она не может отказываться и от этой организации, готовящей воинов.

Более цельную, полную жизнь ведут скауты религиозных организаций. Товарищество осмысленно и согрето здесь общей ве-

рой и общим идеалом. Это указывает, что новая и подлинная социальность может расцвести лишь на религиозной почве. Замечательно, что в современном религиозном возрождении особенно жизненными оказываются движения, выросшие на почве исторических церквей, а не личных религиозных исканий. Современный человек жаждет не только истины, но истины, социально утверждаемой. Все оглядки на мудрость востока, на религии Индии обречены поэтому на бесплодие. Они могут дать удовлетворение отдельным томящимся душам, но не могут оплодотворить нашей культуры.

* * *

Демократия больна безволием. Фашизм полон кипучей энергии. Убивая критический разум и нравственное чувство, он культивирует волю всеми средствами государственной техники: воспитанием, спортом, военно-лагерным бытом. Ему нужна лишь согласная, покорная воля, но это все же воля. Воля без разума и совести – ужасная и злая сила. Но что значат разум и совесть без воли?

Древние греки и христианские мистики утверждали примат созерцания над деятельной жизнью. Многое можно сказать в защиту этой иерархии ценностей. Высочайшие достижения культуры относятся к сфере созерцания – активного созерцания. Но бывают эпохи, когда практика, в самом грубом смысле слова, заполняет все поле жизни и сознания. Пусть проблемы организации хозяйства и политической жизни не обладают духовным первородством. Это плебеи в царстве культуры. Но без их немедленного решения нельзя ступить и шага ввысь. Больного человека надо вылечить, голодного накормить, прежде чем говорить ему о теологии или проблемах физики.

Разумеется, это сознание и соответствующая ему окраска воли живет и в демократическом, особенно американском, обществе. С некоторых пор «динамизм» вошел в ходячий лексикон англосаксов. Волю воспитывают и в комнатных упражнениях – даже по системе йогов – и в коллективах скаутизма и спорта. Может показаться даже, что в Америке, подобно фашистским странам, воля получила уродливое преобладание над другими сторонами личности: разумной и моральной. Но это относится к низшим, в

сущности телесным проявлениям воли. Почему в американской политике так мало динамизма? Люди мужественные, умеющие рисковать своей жизнью, проявляют крайнюю робость, подходя к основным вопросам общественной и международной жизни. Здесь их политика сводится к поиску компромисса между враждующими силами. А так как эти силы, как правило, фашистские или фашистски-ориентированные, то политика демократии чаще всего является попытками примирения с господствующим, правым или левым, фашизмом, то есть не выходит из зоны политического зла.

Политикам демократии не хватает воли, в смысле способности бороться за свой собственный путь. Они боятся риска и ответственности, без которых не может быть победы. Это, конечно, связано с тем, что у них нет той яркой цели движения, той Vision [4], которой сильны их враги. Болезнь политической воли есть производная функция от миросозерцательной пустоты, в которой они живут. Вот почему, будучи сильнее врагов, они не умеют ни сконцентрировать своих сил, ни направить их в действие, полезное действие сегодняшнего дня, в ожидании той новой катастрофы, которая опять подымет их — не слишком ли поздно? — на мимолетную высоту.

* * *

Фашизм, несомненно, обязан своими успехами национализму, на почве которого он первоначально вырастает. Но мы не рекомендуем демократии учиться у фашизма любви к родине, расе или нации. Как ни законны, с известными ограничениями, национальные чувства, их политическое значение в наше время чисто отрицательно. Все, что безнадежно и принципиально разъединяет людей, должно отойти на задний план в эпоху построения общечеловеческого единства. В атомный век суверенное государство существовать не может. Политические и экономические связи переросли национальные границы, обособились от содержания национальных культур. Национальность сохраняет свое значение в мире духовных ценностей, но устраняется из мира политических реальностей. Мы знаем, что она не хочет уходить, что в мире повсюду клокочет национальная ненависть. Осенние мухи больно кусаются. Лишенный ныне творче-

ских, положительных элементов, сделавшись органом разрушительных, часто прямо демонических, сил, национализм подлежит обузданию. Если он не подчинится, его ожидает повсюду судьба Германии и Японии. Быть может, он и одолеет, но его торжество будет гибелью для человечества.

Итак, исключаем национализм из числа фашистских добродетелей, спасительных для демократии. Остаются три: цельное мировоззрение, социальная ориентировка, этический динамизм — вот что составляет силу фашизма, и отсутствие чего губит демократию. Признавая все это, не делаем ли мы слишком много уступок фашизму, не ослабляем ли этим волю к борьбе с ним? Нет, вышеизложенные мысли продиктованы чувством непримиримости. Положительные качества фашизма делают его только злее и опаснее. Хорошо обладать цельным мировоззрением. Но если это мировоззрение в корне ложное, извращенное и злое, то сила и организованность делают его еще отвратительнее. Вооруженный бандит опаснее дилетанта с финским ножом и ничуть не привлекательнее. А учиться у врагов есть настоящий метод военной стратегии — впрочем, не только военной. «Слуги монархии не краснобаи», — говорил Лассаль, призывая рабочих учиться у реакции политическому реализму. Но был и Другой, побольше его, который сказал: «Сыны века догадливее сынов света в своем роде» (Лк. 16, 8).

Было бы тяжкой ошибкой, отталкиваясь от фашизма, на все его «да» говорить «нет». На этот путь толкают консервативные защитники буржуазной культуры. Одни хотят видеть сущность демократии в духе релятивизма, другие — в экономическом и культурном индивидуализме. Это как раз те яды, от которых старое общество погибает. Надо уметь различать свободу критического разума от духовного нигилизма, для которого все сводится к игре ума. Не посягая на свободу — и заблуждения, и зла — надо воспитывать себя и других в нелегкой науке разумного пользования свободой. Главное, надо любить истину и верить, что она доступна человеку. Только тот, кто обладает этой верой, может строить жизнь.

Надо охранять личность от тиранических покушений на нее со стороны государства и всех вообще коллективов. Но надо отличать ее священное ядро — разумную, нравственную, творческую личность от особи, от индивида, носителя животного эгоиз-

ма, который находится в вечной борьбе за собственность и власть с себе подобными. Наша экономика, техника, гигиена тела и духа постоянно требуют ограничения частных эгоизмов, капризов, страстей во имя общего блага. Борьба с заразными болезнями, бандитизмом, порнографией, духом наживы и спекуляции не затрагивает личности, но может стеснять отдельных субъектов или лиц. Не всегда можно провести черту, отделяющую эти две сферы: искусство от порнографии, любовь от разврата, хозяйственную инициативу от спекуляции. Различие познается только в опыте. Демократия пока идет ощупью. Несомненно, что новое общество, если удастся построить его, будет упорядоченнее, строже, чем было общество XIX века. Но если в этом неизбежном и благом возвращении к порядку («Ordre Nouveau»)[5] будет ущемлена правая свобода, то никакие культурные достижения не искупят нанесенного ущерба. Русский философский язык выработал терминологическое различение, которое, к сожалению, отсутствует в английском. Мы отрицаем индивидуализм, как неограниченное утверждение особей, но защищаем персонализм, как культуру и свободу личности.

Третий час.

Выпуск 1, 1946 г., 138 стр.

Русские книги по вопросам религии и философии так редки, что, казалось бы, следует только приветствовать эту брошюру или сборник и ждать с нетерпением второго выпуска. На ста страничках дано много интересного материала авторами русскими и иностранными, православными, католиками и протестантами. Всякий должен прочесть воспоминания К. Мочульского о монахине Марии Скобцовой. Вместо агиографического жития, автор дал яркие отрывки из своего дневника, из которого встает, как живая, эта замечательная русская женщина, ставшая святой, но не переставшая быть героиней народнического склада. Остальной материал сборника исходит из анализа общего кризиса современности и ищет ответов на него по трем линиям: социальной революции (Бердяев, Яновский, Дени де Ружемон), русского национализма (Елена Извольская, Ал. Казем-Бек) и экуменического христианства (большинство иностранных авторов и хроника). В. С. Яновский, со страстностью и преувеличениями неофита, но с большой силой, пропагандирует идеи Н. Ф. Федорова, не искажая его. Но Е. Извольская статью о В. Соловьеве, который столько боролся против русского национализма и славянофильства, кончает гимном великой победоносной России (даже «четкой стратегии», «военной согласованности и технической подготовленности»). Ал. Казем-Бек собирает капитал для московского и российского национализма, путем ряда умолчаний и фактических искажений, из жития св. Стефана Пермского, одного из подвижников несомненно анти-московского направления. Так обезвреживается и выхолащивается наследие лучших русских людей для политической потребы текущего дня.

Впрочем, единство сборнику придает не столько общность мировоззрения, сколько имя и лицо человека, объединившего

этот необычайный круг — от Раисы Маритэн до Яновского. Это сборник друзей и учеников Н. А. Бердяева, многие из которых не имеют между собой ничего общего, кроме имени учителя. Но даже и в таком широком понимании трудно представить себе, чтобы Бердяев, и в его теперешней фазе, мог иметь что-либо общее с русским национализмом tout court [1], без всякой претензии на славянофильский мессианизм, или с религиозными обскурантами парижского Фотиевского братства [2]. Это расширение круга приходится отнести на счет издателей. В результате, вместо одного центра (Бердяев) получилось два: Бердяев и Москва. Конечно, тема Москвы, т. е. большевистского мессианизма, поставлена самим Бердяевым в первой руководящей статье: «Раздор мира и христианство». Бердяев видит тьму, которую несет Россия (он, впрочем, не обвиняет ее), но приглашает ринуться в эту тьму: «Европейской культуре придется пройти чрез ночь». Впрочем, он почему-то уверяет своих читателей, что «русская идея полярно противоположна германской идее господства».

Самое тяжелое в этом сборнике его заглавие, голубь в лучах, изображенный на обложке, и пояснительная статья редакции. Последняя не оставляет ни малейшего сомнения в том, что авторы чают нового излияния Св. Духа на страждущее человечество. Сопоставляя это с конкретным содержанием их чаяний, приходится заключить, что такое откровение Св. Духа ожидается или уже видится ими в Сталинской Москве.

Эта сублимация производит впечатление кощунства. Вспоминается «Серебряный Голубь» А. Белого. В истории не раз пытались поймать Голубя в сети духовного и социального хлыстовства. На пороге русской революции многие чаяли Красного Голубя. Но видеть его теперь на пепелище, в мрачной пустыне, где, кажется, выжжены все цветы и побеги духовности, свидетельствует о тяжкой болезни религиозного сознания.

Судьба империй

Империй призрачных орлы...

В марксистской литературе принято считать империализм политическим продуктом зрелого капитализма, в который Европа вступила приблизительно с 80-х годов прошлого столетия. Экономические мотивы (борьба за рынки, сырье и помещение капиталов) действительно отмечают новейшую колониальную политику европейских империй. Но экономика лишь одна из многих сторон политической экспансии, которая стара, как мир. Здесь социология непосредственно продолжает биологию. Борьба за власть есть лишь политическое выражение всеобщей борьбы за существование. Можно было бы утверждать как историко-социологический постулат, что каждое государство или даже каждое политическое образование (род, племя, орда) непрерывно раздвигает границы своей территории за счет соседей до тех пор, пока не встретит достаточно сильного сопротивления. В результате устанавливаются более или менее твердые границы, но всегда оспариваемые, всегда подвижные. Война в истории более постоянное явление, чем мир. Даже в периоды длительного мира нельзя забывать, что он лишь результат равновесия враждебных сил. Границы государства не статические формы, а силовые линии, где скрещиваются и уравновешиваются внутреннее и внешнее давление. Равновесие постоянно нарушается, и тогда происходит расширение, сжатие или гибель государства.

Вся история может быть рассматриваема (и даже преимущественно рассматривалась в узко-политической историографии) как смена процессов интеграции и дезинтеграции. Можно называть первый процесс ростом, развитием, объединением или же завоеванием, порабощением, ассимиляцией; второй — упадком,

разложением или освобождением, рождением новых наций, в зависимости от того, какая государственность или народность стоит в центре наших интересов. Галльские войны Цезаря принесли с собой смерть кельтской Галлии и рождение Галлии римской. Разложение Австро-Венгрии есть освобождение — Чехии, Польши и Югославии. Объективная же или сверхнациональная оценка историка колеблется. Рост государства означает расширение зоны мира, концентрацию сил, и, следовательно, успехи материальной культуры. Но гибель малых или слабых народов, им поглощенных, убивает, часто навеки, возможность расцвета иных культур, иногда многообещающих, быть может, качественно высших по сравнению с победоносным соперником. Эти гибнущие возможности скрыты от глаз историка, и потому наши оценки великих империй или, точнее, факта их образования и гибели, содержат так много личного и условного. В отличие от евразийцев, мы признаем безусловным бедствием создание монгольской империи Чингисхана и относительным бедствием торжество персидской монархии над эллинизмом. С нашей точки зрения, империя Александра Великого и его наследница — Римская — создали огромные культурные ценности, хотя в случае Рима нельзя не сожалеть о многих нераспустившихся ростках малых латинизированных культур. Враги греческого гуманизма, которых так много в наше время, конечно, другого мнения. Борьба эллинства и Востока еще продолжается в нашей современной культуре.

Когда экспансия государства переходит в ту стадию, которая позволяет говорить об империи? На этот вопрос не так легко ответить. Во всяком случае, нельзя сказать, что империя есть государство, вышедшее за национальные границы, потому что национальное государство (если связывать национальность с языком) явление довольно редкое в истории. Может быть, правильное определение было бы: империя — это экспансия за пределы длительно-устойчивых границ, перерастание сложившегося, исторически оформленного организма.

Историки давно говорят о Египетской Империи для эпохи азиатских завоеваний Рамесидов, о Вавилонско-Ассирийской и Персидской империях — в их расширении за пределы Междуречья и Ирана до берегов Средиземного моря. Рим превращается в империю, когда выходит из границ Италии; европейские дер-

жавы, когда приобретают обширные колониальные владения за океаном. Но завоевание или ассимиляция немцами западных славян или русскими славянами финнов не создавали империи. Выход государства, даже непрерывно растущего, из его привычной геополитической сферы есть тот момент, когда количество переходит в качество: рождается не новая провинция, но империя, с ее особым универсальным политическим самосознанием.

* * *

Наши привычные понятия о государстве сложились в опыте XIX века, когда национальное государство из исключения превратилось в норму, в тип государства вообще. Современное государство-нация есть продукт скрещения двух первоначально враждебных сил: романтизма и французской революции. Романтизм, с его переоценкой всего иррационального в человеке и культуре, строил идею народа на подсознательных или полусознательных элементах его жизни, каковы язык, фольклор, языческая религия природы. Народ романтиков совпадал с языковой общиной. Французская революция сделала народ (конечно другой, насквозь рассудочный народ) сувереном, единственным носителем государственной власти. Народы Европы, порабощенные революционной Францией, в борьбе против нее прошли через ее школу. Их культурный, бытовой, религиозный национализм превратился в политический. Каждый народ (нация) имеет право на свою государственность, и только национальные государства оправданы. Такова была вера XIX века. И его внешнеполитическая история сводилась главным образом к революционно-военной перекройке европейской карты по национальным границам. Для одних (немцев, итальянцев) это было движение к единству, для других – к отделению, освобождению от наций завоевательниц. Некоторые страницы этой истории достойны Плутарха. Нельзя без волнения читать о героях и мучениках освободительных движений в Италии, Польше, Ирландии. Счастливые, немцы и итальянцы, создали свои крепкие национальные государства уже в XIX веке. Даже более слабые, балканские народы, добились своей независимости, пользуясь слабостью Турции и поддержкой мощной России. Несчастным пришлось ждать до первой мировой войны, которая принесла дол-

го-чаемое освобождение полякам, ирландцам, чехам и другим австрийским славянам.

Но задолго до того, как процесс национализации Европы завершился, или, вернее, достиг своего возможного апогея, началась эра нового империализма. Конечно, и он не сводился к голой экономике. И в нем говорила воля к власти, пафос славы (Киплинг) или голос тщеславия. Но для великих европейских держав конца XIX века колониальная экспансия была хозяйственной необходимостью. Все растущая индустрия требовала заокеанского сырья (хлопок, каучук), изобретение двигателей внутреннего сгорания вызвало колоссальную потребность в нефти и борьбу за ее ограниченные естественные источники. Наконец, победоносный капитализм, по природе своей не способный удовлетворяться внутренними рынками, начинает погоню за внешними. Политическое господство становится формой, орудием и броней экономической эксплуатации. Старые колониальные империи Англии и Голландии просыпаются от вековой дремы для новой лихорадочной работы. Поздно пришедшие народы спешно строят свои новые империи за морем: Франция, Бельгия, Италия, Германия. Впрочем, sero venientibus ossa [1]. Для Германии не нашлось уже «места под солнцем» Африки или Азии, достаточно рентабельного, и она обратила главную ось своей экспансии на Ближний Восток. Здесь она проникла в империалистическую зону сил Англии и России, что и было одной из главных причин первой великой войны. В эту войну вступили уже не европейские народы или нации, а мировые империи, подобные драконам, головы которых еще умещались в Европе, но туловища покрывали почти весь земной шар.

Конфликты, приведшие к войне, были двух порядков: национальные и империалистические. Национальной в старом смысле слова была борьба Франции и Германии из-за Эльзас-Лотарингии, борьба немцев и славян на Дунае, внутри и вне Австро-Венгерской монархии. Империалистическая экспансия поссорила Германию с Англией и Россией. На Версальской конференции явно преобладали мотивы национальные, даже этнографические. Ее идеальным планом, на практике оказавшимся неосуществимым, было воплощение старой романтической мечты: для каждой народности свое государство. Крушение нескольких империй позволило кроить новые государства в Европе щедро

и, на первый взгляд, безболезненно. Вопрос о колониях, о переделе мира и мировых богатств стоял на втором плане.

Вторую войну можно понять лишь в теснейшей связи с первой, как ее второй акт. Основной силой взрыва было болезненно-раздраженное, в результате поражения, национальное чувство Германии, самой динамической нации Европы. В ее сознании давно уже национальные мотивы неразрывно сплетались с империалистическими. Это значит: пафос освобождения становился для нее волей к власти. Гитлер и выставил для нее программу в сущности беспредельного господства: сначала в Восточной Европе, потом в Европе вообще, — наконец, во всем мире. С поразительной легкостью ему удалось осуществить две части своей программы. Впервые со времен Наполеона Европа подчинялась единому «порядку». Этот порядок, т. е. господство Германии, приняла и Франция, казалось бы, ее вечный и непримиримый враг. На службу мечу стали и новые идеологии, в которых расовые и буржуазно-классовые мотивы сплетались с самыми передовыми, сверхнациональными и социалистическими. Бессилие и малодушие находили опору в стремлении к миру, к европейскому единству, к универсальной организации.

Потеря чувства меры (как в случае с Наполеоном) и ассирийское варварство методов завоевания сгубили Гитлера и Германию. Он нес народам не мир на основе права и порядка, который побежденные могли бы принять скрепя сердце, но унижение, порабощение, для многих физическое истребление. В результате Германия вызвала против себя взрыв национальных чувств и страстей, который оказался сильнее потребности в порядке и единстве. Англия и Россия боролись за свое существование. Движения «сопротивления» возродили революционный национализм, напоминающий эпоху наполеоновских войн. Второй акт мировой войны окончился крушением германского варианта мировой империи.

В результате этих двух «раундов» старая Европа с ее сложившейся системой международных отношений отошла в вечность. Погибли или погибают все ее империи, кроме России, на равновесии которых держался мир. Нет больше Австро-Венгрии, Турция ушла из Европы, Италия потеряла все колонии, Германия — конечно, временно, — не существует даже как государство. Франция сведена на степень второстепенной державы, которая дела-

ет бессильные попытки спасти свою распадающуюся заморскую империю. Англия, хотя и дважды победоносная и способная к героической борьбе, ослаблена тяжким кровопусканием и вынуждена сама начать ликвидацию своей империи. В отличие от Франции, она проявляет в этом процессе свертывания много проницательности и великодушия. Она, действительно, стремится перестроить свою империю в добровольную федерацию наций, преимущественно англосаксонской культуры. Но, занятая огромными внешними трудностями, она бессильна помочь Европе в организации ее хаоса.

Этот хаос создан не только военными потрясениями. Если погибли империи, то и государства-нации не смогли организовать жизни в образовавшейся политической пустоте. Прежде всего, выяснилась утопичность чисто этнографической государственности. Историческая чересполосица племен, естественные географические рубежи (Богемия), исторические воспоминания и притязания делают национальную проблему Восточной Европы неразрешимой. Чем дальше мы идем по путям мнимых решений, тем больше накопляется ненависти, к старым прибавляются новые несправедливости, открываются источники новых конфликтов. С другой стороны, национальное чувство в наши дни, столь беспощадное к слабым соседям, оказывается неожиданно и жалко покорным перед торжествующей силой. Франция покорилась Гитлеру почти без сопротивления. Чехословакия добровольно отдалась во власть московскому властелину. А ведь Франция и Чехословакия были классическими странами современного демократического национализма. Почти все силы «сопротивления» в Европе, боровшиеся с Гитлером, предают теперь свою родину новому восточному завоевателю. Точно цель всей их борьбы была в том, чтобы переменить одного тирана на другого.

Нет, не национальное сознание способно сейчас организовать мир; скорее оно мешает новой организации, стремится увековечить хаос. Нечего и говорить о том, что за столетие индустриального капитализма оно растеряло все те великие ценности, которые некогда национальный романтизм писал на своем знамени. Культура – или бескультурность – современных наций становится все более космополитической, безнадежно-однообразной. Национальные традиции служат больше для де-

коративной рекламы внутренне пустой технической цивилизации.

* * *

Итак, ни равновесие империй, ни мирное строительство малых наций не даны для новой исторической эпохи. Пока над руинами и хаосом Европы высятся два гиганта, два победителя, вознесенные мировой войной на небывалую высоту. Для всех ясно, насколько неустойчиво новое равновесие. При всяких обстоятельствах дуализм политических сил, направления которых пересекаются почти во всех точках общего «жизненного пространства», неизбежно приводит к их столкновению. Правда, сейчас нет недостатка в карликах, которые, в страхе от приближающейся грозы, пытаются играть роль посредников между гигантами. Но их политический вес слишком ничтожен, чтобы поддерживать шатающееся равновесие. В данном случае нельзя даже говорить о столкновении, как о событии будущего. Борьба между двумя империями уже ведется методами дипломатии, экономики, пропаганды. Даже прямые военные действия идут, хотя и под прикрытием чужих флагов. Сейчас СССР ведет войну в Греции и в Китае, как ранее вел ее в Иране и во всей уступленной ему, но подлежащей покорению территории Восточной Европы. Для СССР война еще продолжается; мир не подписан, да он и не должен быть подписан. Сталин явно выступил в качестве преемника Гитлера не только в сфере былого фактического господства Германии, но и ее притязаний. Для правящего слоя в России дело идет о господстве над миром путем завоевания и революции.

Америка не мечтает о мировом господстве. Она думает больше об организации своей безопасности, но поняла уже, что мир стал слишком тесен для безопасности одиноких. Она уже преодолела свой врожденный изоляционизм и пытается организовать мировой хаос. Пока еще только долларом и хлебом, не адекватными пулеметам и пушкам ее вездесущего противника. Но военный потенциал Америки огромен. В случае военного столкновения ее победа несомненна, по крайней мере при настоящем соотношении вооружений и сил. Ее беда в том, что она не умеет реализовать свой военный потенциал в обстановке мира, глав-

ным образом благодаря «викторианской» отсталости своего политического мышления.

Но Америке не чужда мысль о мировом единстве. Она пыталась воплотить ее в бескровном призраке ООН, этом ухудшенном издании Лиги Наций. По-видимому, она сейчас уже не верит в нее. В мире, разделенном пополам непримиримыми противоречиями, не может быть никаких Объединенных Наций. Но как ни компрометирует это жалкое учреждение великую идею единства, она сейчас жива, как никогда. Жива, несмотря на разлив национальных страстей, несмотря на подготовку третьей войны. Ведь эта война готовится не для защиты национальных, ограниченных интересов, но во имя организации мира. Сталин, подобно Гитлеру, мыслит эту организацию как порабощение и подчинение мира своей социальной системе и единой воле господина; Америка и Англия — как союз юридически равных, как федерацию демократических народов.

До сих пор идея мирового государства не защищается правящими кругами англо-саксонских союзников. Они вынуждены считаться с самолюбиями средних и малых народов, с узким национализмом своих собственных стран. Потеря национального суверенитета пугает. XIX век держит в плену их сознание. Но уже Черчилль имеет смелость говорить о Соединенных Штатах Европы. Но уже Маршалл [2] требует единой экономической организации Европы, как условия американской помощи для хозяйственной реконструкции. И в перспективе атомного оружия, Америка вместе со всеми демократиями Запада настаивает на частичном ограничении суверенитета. Однако это частичное ограничение означает отказ от права войны и от свободы вооружений. При современной атомной технике, оно, в сущности, означает всеобщее разоружение и создание мировой армии. Лишенное права войны и мира, государство перестанет существовать как суверенное. Оно вынуждено отказаться и от внешней политики, которая станет внутренней политикой рождающегося сверхнационального государства.

При неизбежном сопротивлении России, этот план является совершенно утопическим. Но попробуйте мысленно устранить Россию, и он завтра же станет реальностью. Мысленное устранение, конечно, не поможет реализации. Но мы видели, что почти стихийный ход событий (включающий и сознательную

волю правителей России) ведет к войне, которая может реально устранить либо Россию, либо Америку со всеми оставшимися демократиями мира.

Все вероятности говорят в пользу того, что новое мировое государство, или новая универсальная империя, родятся, как и все бывшие империи, в результате войны, а не мира. Теоретически мыслимо, конечно, образование федерации народов в результате совершенно свободного соглашения равных. Хотя мир никогда не знал такого опыта, но новое, небывалое – как, например, фашизм, или коммунистическая революция – рождается на наших глазах. Однако совершенно свободный отказ от суверенитета предполагает слишком высокий уровень политической морали. Об этом позволительно было мечтать в девятнадцатом или начале двадцатого века, когда старая Европа стояла в апогее своей политической цивилизации. Женевская Лига Наций давала ей последний шанс. С тех пор, в результате двух страшных войн, политическая мораль европейских народов пала так низко, как, может быть, никогда за время всей христианской истории. Политическая фразеология находится в кричащем противоречии с политическими реальностями. Для всех практических соображений можно принять, что сейчас народы мира движутся близоруким эгоизмом, ненавистью и, всего больше, страхом. Это значит, что они готовы принять единство только продиктованное силой, только в форме Империи.

Сила еще не значит завоевания, империя еще не значит господство. Сейчас история предлагает народам мира два варианта империи, из которых один является, действительно, небывалым, хотя и вполне возможным. Эти два варианта соответствуют двум возможным победителям, на долю которых выпадет организовать мир.

Легко себе представить, как будет выглядеть мир в случае победы России. Распространение коммунистической системы по всему земному шару. Истребление высших классов и всех носителей культуры, дышавших воздухом свободы и не желающих от него отказаться. Массовые казни в первые годы, каторжные лагеря на целое поколение. Закрепощение всех профессий на службу всемирному государству. Управление им, централизованное в Москве, при фиктивной независимости федеративных наций.

Постепенное (а, может быть, и быстрое) заглушение всех высших сфер культуры за счет технического знания. До сих пор краски этой картины взяты из действительного опыта России и Восточной Европы. Идя дальше, можно представить себе, что в обстановке мира и технической цивилизации материальные потребности покоренных народов будут удовлетворены, чего никогда не было достигнуто в СССР. Парии Азии и негры Африки впервые наедятся риса досыта. Вероятно, они будут благословлять свою судьбу. Мировая империя Москвы будет прочна, как древние тоталитарные империи – Египта, Китая, Византии. Конечно, удушение свободы поведет к постепенному падению не только духовной культуры, но, в конце концов, и самого технического знания. Конец «прогресса». Медленное понижение уровней. Одряхление, которое может тянуться века, чтобы закончиться новым варварством. В этом прогнозе не предусмотрено одно: способность человеческого духа к творческим взрывам вроде рождения новых религий или реформации старых, которые могут разрушить или преобразовать самые твердые, неподвижные цивилизации.

Менее ясен, но более светел другой вариант Империи: Pax Americana, или лучше Pax Atlantica. В случае победы Америки, Англии и их союзников, единство мира должно отлиться в форме действительной, а не мнимой федерации. Такова сама структура и Соединенных Штатов, и Британского Commonwealth. В настоящее время англосаксы и не представляют себе власти, организованной вне самоуправления. Даже молодой империализм Америки, при всей жадности к стратегическим базам, начинает с освобождения своих старых колоний. Опасность Атлантического варианта Империи не в злоупотреблении властью, а скорее в бездействии власти. У свободных народов нет вкуса к насилию, и это прекрасно. Но в настоящее время у них нет и вкуса к власти, и это опасно.

В отличие от России, Америка не может не считаться со своими союзниками, из которых Англия, или ведомая ею Федерация доминионов, представляет еще серьезную силу. Самолюбия и эгоизмы европейских народов тоже создают немалые препятствия. Они безропотно покорятся самой гнусной из тираний, но будут роптать при легких ограничениях их суверенитета. Заставить их войти в мировую империю, организованную в форме

федерации, нелегко. Нужна большая воля и большая гибкость, чтобы добиться повиновения слабых в рамках демократической законности. Юная федерация не может быть федерацией равных по существу, но лишь по форме. Лишь время и общее разоружение сделают излишней гегемонию сильного и возможным уравнение политического влияния. Если сильный откажется от своей тяжелой ответственности, мир снова развалится, и уже безнадежно.

Но опыт двух войн показал, что англосаксонские демократии, часто пассивные во время мира, находят в себе волю и способность к героическому напряжению в роковой час. Чувство ответственности может заменить для них вкус к власти.

Итак, нет основания бояться порабощения народов в случае победы Америки. Экономические интересы, конечно, потребуют своего удовлетворения. Надо признать, что спасение мира стоит известных материальных жертв в пользу победителя. Да и распространенные в Европе опасения американской эксплуатации страшно преувеличены. Пока что Америка бросает миллиарды для восстановления Европы, и не видно, чтобы она получила что-либо взамен.

Атлантическая Империя столь же мало предполагает единство экономической системы, как и единообразие политическое. Социализм и капитализм в разных дозах могут уживаться в общих экономических рамках. Пример социалистической Англии показывает, что в наши дни не экономика соединяет народы или разводит их по разным лагерям. Общие основы англосаксонской цивилизации не изменились с отказом Англии от капиталистической системы. Но, конечно, необходимость регулирования мирового хозяйства в единой Империи чрезвычайно усилит сама по себе социалистические тенденции отдельных стран.

Здесь кончается возможность предвидения. В отличие от четких очертаний коммунистической империи, общество, построенное на свободе, таит в себе неограниченные возможности. Где свобода, там и возможность конфликтов. Где борьба, там и возможность поражений. Но также и необычайных побед. Мы знаем, что западная цивилизация тяжко больна; международные столкновения лишь один из симптомов общего недуга. И по устранении их остается возможность социальных потрясений, моральных кризисов, духовных бурь. В конце концов, вопрос о

спасении нашей культуры есть вопрос духа. Но, если будет устранена угроза войны между народами, если будет достигнуто всеобщее разоружение, человечество получит еще одну отсрочку — как древняя Ниневия в книге пророка Ионы.

Одной из главных проблем грядущей Империи будет установление отношений между членами западной семьи и возрождающимися народами «Востока». Но это тема будущего. Сейчас Восток еще слишком слаб технически, чтобы не включиться, охотно и с выигрышем для себя, в новую федеративную Империю. Как удержать его в ней, по достижении им технического совершеннолетия, это проблема наших детей и внуков, которая, конечно, займет когда-то главное поле истории.

Ceterum censeo[3]: нельзя забывать о третьей возможности — возможности не победы одной из двух империй, а всеобщего разрушения и гибели, если столкновение произойдет в условиях приблизительного равенства сил и оружия.

* * *

Остановимся на одном из возможных исходов. Какая судьба ожидает Россию в случае ее поражения? Если бы Россия была национальным государством, как Франция или современная Германия, ответ был бы сравнительно прост и не столь для нее трагичен. Да, она, конечно, прошла бы через ужасы разорения, унижения, голода, через которые сейчас проходит Германия, с той только разницей, что, в отличие от Германии, ей не привыкать стать к голоду и рабству. Для большинства ее населения падение ненавистной власти, даже ценой временной иностранной оккупации, явится освобождением. Ведь американцы не собираются колонизовать Россию, как Гитлер, или истреблять ее «низшие» расы. Но дело осложняется тем, что Россия не национальное государство, а многонациональная империя; последняя, единственная в мире, остающаяся после ликвидации всех империй. Было бы чудом, если бы она вышла невредимой из ожидающей ее катастрофы, в тех географических очертаниях, в которых ее застала революция.

Правда, Россия является империей своеобразной. По своей национальной и географической структуре она занимает среднее место между Великобританией и Австро-Венгрией. Ее не-

русские владения не отделены от нее морями. Они составляют прямое продолжение ее материкового тела, а массив русского населения не отделен резкой чертой от инородческих окраин. Но Дальний Восток или Туркестан, по своему экономическому и даже политическому значению, совершенно соответствуют колониям западных государств. Типологическое, т. е. качественное сходство с Австро-Венгрией еще значительнее. Однако процент господствующего великорусского населения в империи Романовых был гораздо выше немецкого в империи Габсбургов. Это сообщало России несравненно большую устойчивость. Сходство будет полнее, если вместо Австро-Венгрии последних десятилетий взять Германскую Империю до 1805 года. Русские и немцы играли одну и ту же цивилизаторскую и ассимилизационную роль. Правда, среди подданных Германии были страны древних и богатых культур. Вместо одной Русской Польши, Германия имела три: Польшу, Венгрию и Богемию. Однако с подъемом культуры народностей России и соответствующим ростом их сепаратизмов Россия приближалась к типу Австро-Германии.

Но мы не хотели видеть сложной многоплеменности России. Для большинства из нас перекройка России в СССР, в номинальную федерацию народов, казалась опасным маскарадом, за которым скрывалась все та же русская Россия, или даже святая Русь.

Как объяснить нашу иллюзию? Почему русская интеллигенция в XIX веке забыла, что она живет не в Руси, а в Империи? В зените своей экспансии и славы, в век «Екатерининских орлов», Россия сознавала свою многоплеменность и гордилась ею. Державин пел «царевну киргиз-кайсацкие орды», а Пушкин, последний певец Империи, предсказывал, что имя его назовет «и ныне дикой тунгус и друг степей калмык». Кому из поэтов послепушкинской поры пришло бы в голову вспоминать о тунгусах и калмыках? А Державинская лесть казалась просто непонятной — искусственной и фальшивой. Но творцы и поэты Империи помнили о ее миссии: нести просвещение всем ее народам — универсальное просвещение, сияющее с Запада, хотя и в лучах русского слова.

После Пушкина, рассорившись с царями, русская интеллигенция потеряла вкус к имперским проблемам, к национальным и

международным проблемам вообще. Темы политического освобождения и социальной справедливости завладели ею всецело, до умоисступления. С точки зрения гуманитарной и либеральной, осуждалась Империя, все империи, как насилие над народами, но результаты этого насилия принимались как непререкаемые. Более того, девятнадцатый век для большинства интеллигенции означал сужение национального сознания до пределов Великороссии. Россия была необъятно велика, и мало кто из русских образованных людей изъездил ее из конца в конец; непоседливых манила сказка Запада. Но и путешествуя по России, русский не выходил из своего привычного уклада: объяснялся везде по-русски, видел везде одну и ту же русскую администрацию и туземцев, побогаче и познатнее, уже входящих в быт, язык и культуру завоевателей. Интеллигенция возмущалась насильственной русификацией или крещением инородцев, но это возмущение относилось к методам, а не к целям. Ассимиляция принималась как неизбежное следствие цивилизации. Еще полвека или век, и вся Россия будет читать Пушкина по-русски (так понимался «Памятник»), и все этнографические пережитки сделаются достоянием музеев и специальных журналов.

Есть еще одна неожиданная сторона русского западничества. Россией вообще интересовались мало, ее имперской историей еще меньше. Так и случилось, что почти все нужные исследования в области национальных и имперских проблем оказались предоставленными историкам националистического направления. Те, конечно, строили тенденциозную схему русской истории, смягчавшую все темные стороны исторической государственности. Эта схема вошла в официальные учебники, презираемые, но поневоле затверженные и не встречавшие корректива. В курсе Ключевского нельзя было найти истории создания и роста Империи.

Так укоренилось в умах не только либеральной, но отчасти и революционной интеллигенции наивное представление о том, что русское государство, в отличие от всех государств Запада, строилось не насилием, а мирной экспансией, не завоеванием, а колонизацией. Подобное убеждение свойственно националистам всех народов. Французы с гордостью указывают на то, что генерал Федерб[4] с ротой солдат подарил Франции Западную Африку, а Лиотэ[5] был не столько завоевателем Марокко, сколь-

ко великим строителем и организатором. И это правда, то есть одна половина правды. Другая половина, слишком легко бросающаяся в глаза иностранцам, недоступна для националистической дальнозоркости.

Несомненно, что параллельный немецкому русский Drang nach Osten оставил меньше кровавых следов на страницах истории. Это зависело от редкой населенности и более низкого культурного уровня восточных финнов и сибирских инородцев сравнительно с западными славянами. И однако — как упорно и жестоко боролись хотя бы вогулы в XV-м веке с русскими «колонизаторами», а после них казанские инородцы и башкиры. Их восстания мы видим при каждом потрясении русской государственности — в Смутное время, при Петре, при Пугачеве. Но с ними исторические споры покончены. Несмотря на искусственное воскресение восточно-финских народностей, ни Марийская, ни Мордовская республика не угрожают целости России. Уже с татарами дело сложнее. А что сказать о последних завоеваниях Империи, которые несомненно куплены обильной кровью: Кавказе, Туркестане?

Мы любим Кавказ, но смотрим на его покорение сквозь романтические поэмы Пушкина и Лермонтова. Но даже Пушкин обронил жестокое слово о Цицианове, который «губил, ничтожил племена». Мы заучили с детства о мирном присоединении Грузии, но мало кто знает, каким вероломством и каким унижением для Грузии Россия отплатила за ее добровольное присоединение. Мало кто знает и то, что после сдачи Шамиля до полмиллиона черкесов эмигрировало в Турцию. Это все дела недавних дней. Кавказ никогда не был замирен окончательно. То же следует помнить и о Туркестане. Покоренный с чрезвычайной жестокостью, он восставал в годы первой войны, восставал и при большевиках. До революции русское культурное влияние вообще было слабо в Средней Азии. После революции оно было такого рода, что могло сделать русское имя ненавистным.

Наконец, Польша, эта незаживающая (и поныне) рана в теле России. В конце концов вся русская интеллигенция — в том числе и националистическая — примирилась с отделением Польши. Но она никогда не сознавала ни всей глубины исторического греха, совершаемого — целое столетие — над душой польского народа, — ни естественности того возмущения, с которым Запад

смотрел на русское владычество в Польше. Именно Польше Российская Империя обязана своей славой «тюрьмы народов».

Была ли эта репутация заслуженной? В такой же мере, как и другими европейскими империями. Ценой эксплуатации и угнетения они несли в дикий или варварский мир семена высшей культуры. Издеваться над этим смеет только тот, кто исключает сам себя из наследия эллинистического мира. Для России вопрос осложняется культурным различием ее западных и восточных окраин. Вдоль западной границы русская администрация имела дело с более цивилизованными народностями, чем господствующая нация. Оттого, при всей мягкости ее режима в Финляндии и Прибалтике, он ощущался как гнет. Русским культуртрегерам здесь нечего было делать. Для Польши Россия была действительно тюрьмой, для евреев гетто. Эти два народа Империя придавила всей своей тяжестью. Но на Востоке, при всей грубости русского управления, культурная миссия России бесспорна. Угнетаемые и разоряемые сибирские инородцы, поскольку они выживали – а они выживали – вливались в русскую народность, отчасти в русскую интеллигенцию. В странах Ислама, привыкших к деспотизму местных эмиров и ханов, русские самодуры и взяточники были не страшны. В России никого не сажали на кол, как сажали в Хиве и Бухаре. В самих приемах русской власти, в ее патриархальном деспотизме, было нечто родственное государственной школе Востока, но смягченное, гуманизированное. И у русских не было того высокомерного сознания высшей расы, которое губило плоды просвещенной и гуманной английской администрации в Индии. Русские не только легко общались, но и сливались кровью со своими подданными, открывая их аристократии доступ к военной и административной карьере. Так плюсы и минусы чередуются в пестрой картине. Общий баланс, вероятно, положительный, как и прочих империй Европы. И если бы мир мог еще существовать как равновесие империй, то среди них почетное место занимала бы империя Российская. Но в мире уже нет места старым империям.

Национально-романтическое движение докатилось до пределов России с некоторым запозданием. Не сразу оно приняло и политический характер. Быть может, это соответствовало и слабости романтического национализма (славянофильства) в самой Великороссии. Тяготение к западной культуре (через по-

средство России) долго перевешивало в меньшинственных интеллигенциях их этнографическую связь со своими народами. Но неизбежное наступило. Одним из первых Рунеберг, создатель Калевалы, положил начало финской литературе, создавая новую нацию из того, что было лишь этнографической народностью. Во второй половине столетия возрождаются или просто рождаются на свет эстонская и латышская литературы — будущие нации, творимые поэтами. Тогда же происходит новый расцвет древних литератур Кавказа — грузинской и армянской. Одной из первых, а начале девятнадцатого века, романтическое веяние коснулось и оживило литературу украинскую. Уже к середине века, в Кирилло-Мефодиевском братстве, украинское движение принимает политический характер.

Пробуждение Украины, а особенно сепаратистский характер украинофильства изумил русскую интеллигенцию и до конца остался ей непонятным. Прежде всего потому, что мы любили Украину, ее землю, ее народ, ее песни, считали все это своим, родным. Но еще и потому, что мы преступно мало интересовались прошлым Украины за три-четыре столетия, которые создали ее народность и ее культуру, отличную от Великороссии. Мы воображали, по схемам русских националистов, что малороссы, изнывая под польским гнетом, только и жаждали, что воссоединиться с Москвой. Но русские в Польско-Литовском государстве, отталкиваясь от католичества, не были чужаками. Они впитали в себя чрезвычайно много элементов польской культуры и государственности. Москва с ее восточным деспотизмом была им чужда. Когда религиозные мотивы склонили казачество к унии с Москвой, здесь ждали его горькие разочарования. Московское вероломство не забыто до сих пор. Ярче всего наше глубокое непонимание украинского прошлого сказывается в оценке Мазепы.

Новый этап в создании украинской нации падает на вторую половину девятнадцатого века. Бессмысленные преследования украинской литературы перенесли центр национального движения из Киева во Львов, в Галицию, которая никогда не была связана ни с Москвой, ни с Петербургом. Это имело двойные последствия. Во-первых, литературный язык вырабатывался на основе галицийского наречия, а не полтавского или киевского, то есть гораздо более далекого от великорусских говоров.

Польский, а не русский язык стал источником новых отвлеченных и научных словообразований. Русский мог без труда понимать Шевченко, но язык Грушевского [6] был ему непонятен, казался искусственным. Как будто не все литературные языки были искусственными при своем создании – русский язык Ломоносова или латинский Энния! Но мы по-прежнему упрямо продолжали считать малороссийский язык лишь областным наречием русского, хотя слависты всего мира, включая Российскую Академию Наук, давно признали это наречие за самостоятельный язык. Но что этот язык из языка фольклорной поэзии сделался языком отвлеченной мысли, на котором уже существует большая научная литература, окончательно решает вопрос об украинской нации. Грушевский может быть назван ее создателем.

На наших глазах рождалась на свет новая нация, но мы закрывали на это глаза. Мы были как будто убеждены, что нации существуют извечно и неизменно, как виды природы для до-эволюционного естествознания. Мы видели вздорность украинских мифов, которые творили для Киевской эпохи особую украинскую нацию, отличную от русской. Но мы забывали, что историческая мифология служила лишь для объяснения настоящей реальности. Нации не было, но она рождалась – рождалась веками, но в ускоряющемся темпе в наши дни. 1917 год был актом ее официального рождения.

То обстоятельство, что центр движения был в Галиции, обособляло и политически новую нацию от общей судьбы народов России; облегчало для нее переход от федеративной идеологии Костомарова и Драгоманова [7] к идее «самостийности».

Было еще одно движение среди народов России, центр которого оказался за рубежом и которое мы совершенно проглядели. Это было пан-тюркское движение, связывавшее литературное и политическое пробуждение русских татар с возрождением Молодой Турции.

Русские националисты первые заметили опасность, угрожающую Империи. Они ответили на нее усилением русификации, травлей инородцев, издевательством над украинцами и еврейскими погромами. Они старательно раздували искры сепаратизмов. Два последних императора, ученики и жертвы реакционного славянофильства, игнорируя имперский стиль России, рубили ее под самый корень. Революционная интеллигенция лишь

накануне первой революции пошла навстречу национальным движениям меньшинств. Некоторые из левых партий (не большевики) включили в свою программу федеративный строй Российской республики. С этим и застал нас 1917 год.

Трудно возразить что-либо против идеи федерации. Это прекрасная, разумная программа. Для малых народов она обещает и свободу, и преимущества жизни в великом, веками сложившемся организме. Экономические блага имперской кооперации бесспорны, так же, как и преимущества военной защиты. Может быть, если бы федеративный строй России осуществился в 1905 году с победой освободительного движения, он продлил бы существование Империи на несколько поколений. Но, к сожалению, народы, по крайней мере в наше время — живут не разумом, а страстями. Они предпочитают резню и голод под собственными флагами.

Как страстно славяне ненавидели «лоскутную» Австро-Венгрию, и как многие теперь жалеют о ее гибели. Старая Австрия давно уже перестала быть Габсбургской деспотией. С 60-х годов она перестраивалась на федеративный лад. Некоторые из ее народов — венгры, поляки — уже чувствовали себя хозяевами на своей земле, для других время полного самоуправления приближалось. Все вообще пользовались той долей политической свободы, какая была немыслима в царской России. И, однако, они предали свое отечество в годину смертельной опасности.

В 1917 году демократическая интеллигенция, полгода управлявшая Россией, октроировала [8] федеративное самоуправление некоторым из ее народов. Но в обстановке развала и падения военной мощи России федерация уже не удовлетворяла. А когда в Великороссии победил большевизм, от нее побежали, как от чумы. Большевики силой оружия собрали Империю и террором, как железным обручем, держат, вот уже почти три десятилетия, ее распадающийся состав.

Многим казалось, даже среди непримиримых врагов большевизма, что решение национальной проблемы в СССР принадлежит к самым удачным их достижениям. Оно сводится к двум принципам: полная культурная автономия и никакой политической.

Отсутствие политической свободы прикрывалось обильными поблажками национальному тщеславию. Даже имя России было

уничтожено. Одиннадцать республик СССР жили «под своими собственными флагами»: по конституции они имели даже право на отделение. В первые годы Революции национальные силы всех народов, кроме великоруского, не только освобожденные, но и получившие государственную поддержку, привели к расцвету национальных культур. Значительная часть интеллигенции нашла удовлетворение в культурном народничестве. Конечно, вся власть принадлежала коммунистической партии, а партия управлялась из Москвы.

Этот расцвет продолжался недолго. Большевизм был системой не только политической, но прежде всего идеологической. Национальный романтизм, неизбежно принимавший идеалистическую окраску, был ему ненавистен. На десятках языков Союза должны были печататься и читаться только полные собрания сочинений Маркса и Ленина. Это было достигнуто, с прибавлением од Сталину. Для этого понадобилось задушить национальные литературы (особенно украинскую и тюркскую) с истреблением значительной части их интеллигенции. С тех пор национальные движения были загнаны в подполье. Но это значит, что опять, как в царские времена, на окраинах скопляются центробежные силы, готовые взорвать мнимо-федеративную Империю. И чем более они сдавлены прессом НКВД, тем эффективнее должен быть их взрыв после освобождения.

Большевистский режим ненавистен и огромному большинству великороссов. Но общая ненависть не спаивает воедино народов России. Для всех меньшинств отвращение от большевизма сопровождается отталкиванием от России, его породившей. Великоросс не может этого понять. Он мыслит: мы все ответственны, в равной мере, за большевизм, мы пожинаем плоды общих ошибок. Но, хотя и верно, что большевистская партия вобрала в себя революционно-разбойничьи элементы всех народов России, но не всех одинаково. Русскими преимущественно были идеологи и создатели партии. Большевизм без труда утвердился в Петербурге и в Москве. Великороссия почти не знала гражданской войны; окраины оказали ему отчаянное сопротивление. Вероятно, было нечто в традициях Великороссии, что питало большевизм в большей мере, чем остальная почва Империи: крепостное право, деревенская община, самодержавие. Украинец или грузин готовы преувеличивать национально-рус-

ские черты большевизма и обелять себя от всякого сообщничества. Но их иллюзии естественны.

Железный занавес тоталитарной лжи мешает нам видеть ясно, что происходит за пределами общеизвестного застенка. Но есть три факта, которые заставляют предполагать рост сепаратизмов в СССР. Во-первых, по свидетельству беглецов, «националы» составляют заметный процент населения концлагерей. Их присутствие там не уравновешивается представительством политическких течений или партий Великороссии, ибо таковых не существует. В бесформенной оппозиционной массе, смешанной с уголовными, выделяются, хотя бы с ярлыком шпионов, только представители малых народов России.

Во-вторых, после второй войны правительство уничтожило пять республик (или областей) за сотрудничество с немцами. Республики не велики, но показательны; до других ведь и не дотянулась германская оккупация. Украины уничтожить было нельзя без всесоюзного позора, но, кажется, и она заслуживала той же участи. Мы знаем об украинских воинских частях, сражавшихся вместе с немцами, об украинской церкви, об эмбрионе украинского правительства. Пораженчество, конечно, захватило и Великороссию, но на Украине оно сказалось много ярче.

И, наконец, мы видим то, что происходит в эмиграции, среди нас. Можно утверждать, что зарубежные настроения не вполне соответствуют внутри-советским: преувеличения революционеров неизбежны. Но нельзя думать, что они совершенно оторваны от советской действительности; по крайней мере, для нас, великороссов, война и новая эмиграция принесли скорее подтверждение наших оценок. И вот, среди всех групп русской эмиграции, представители других национальностей России блистают своим отсутствием. Они строят свои собственные организации, даже не пытаясь установить какие-либо связи с русскими товарищами по борьбе или собратьями по судьбе. Более того, ни с чьей стороны мы не встречаем такой ненависти, как со стороны украинцев, которых мы-то считали — ошибочно — совсем своими. Как далеки мы от времен старой эмиграции, когда в чаянии грядущей революции вожди всех народов России объединялись в борьбе «за нашу и вашу свободу»!

Нетрудно предвидеть, что в случае военного поражения России произойдет не только падение советского режима, но и вос-

стание ее народов против Москвы. Даже те экономические и политические мотивы, которые могли бы говорить в пользу их связи с Великороссией, превращаются в свою противоположность в условиях поражения. Быть с Россией — значит разделить ее ответственность, ее тяжкую судьбу. С другой стороны, перед победителем встанет вопрос, подобный тому, который стоит после поражения Германии. Как обеспечить мир и в будущем от висящей над ним угрозы русской агрессии? Большевизм умрет, как умер национал-социализм. Но кто знает, какие новые формы примет русский фашизм или национализм для новой русской экспансии? Если бы не было никаких сепаратизмов в России, их создали бы искусственно; раздел России все равно был бы предрешен. Фактическое положение сделает возможным произвести его в согласии с волей большинства ее народов, в условиях демократической справедливости. На плечи победителей, ко всем их мировым проблемам, ляжет добавочная тяжесть: организация хаоса на территории Восточной Европы. Мировая Империя — не легкое предприятие. Но военная оккупация облегчит первые шаги.

Перспективы войны и поражения России способны потрясти не одних националистов, но всякого русского, не совсем потерявшего связь со своим народом и его культурой. Теоретически, есть еще шанс — кажется, единственный шанс — предотвращения новой войны: это падение большевистской власти в России. От скольких ужасов оно избавило бы мир! Не будем говорить сейчас, возможно ли оно, — нам представляется, что шансы его ничтожны. Но в судьбе России, как обреченной империи, этот вариант ничего не меняет. Снятие страшной тяжести, висевшей над народами России тридцать лет, означает взрыв всех подспудных, революционных и центробежных сил. Пока русский народ будет сводить счеты со своими палачами, в общем неизбежном хаосе большинство национальностей, как в 1917 году, потребуют реализации своего конституционного права на отделение. Вероятно, произойдет гражданская война приблизительно равных половин бывшей России. Если даже победит Великороссия и силой удержит при себе народы Империи, ее торжество может быть только временным. В современном мире нет места Австро-Венгриям. Если миром будет править единая власть — единственный шанс его спасения — она будет обязана прекра-

тить всякое насилие одних народов над другими. Ликвидация последней частной Империи станет вопросом международного права и справедливости.

Для самой России насильственное продолжение имперского бытия означало бы потерю надежды на ее собственную свободу. Не может государство, существующее террором на половине своей территории, обеспечить свободу для другой. Как при московских царях самодержавие было ценой, уплаченной за экспансию, так фашизм является единственным строем, способным продлить существование каторжной Империи. Конечно, ценой дальнейшего удушения ее культуры.

* * *

Finis Russia? Конец России или новая страница ее истории? Разумеется, последнее. Россия не умрет, пока жив русский народ, пока он живет на своей земле, говорит своим языком. Великороссия, да еще с придачей Белоруссии (вероятно) и Сибири (еще надолго) все еще представляет огромное тело, с огромным населением, все еще самый крупный из европейских народов. Россия потеряет донецкий уголь, бакинскую нефть — но Франция, Германия и столько народов никогда нефти не имели. Она обеднеет, но только потенциально, потому что та нищета, в которой она живет при коммунистической системе, уйдет в прошлое. Ее военный потенциал сократится, но он потеряет свой смысл при общем разоружении. Если же разоружения не произойдет, то погибнет не одна Россия, а все культурное человечество. Даже чувство сожаления от утраты былого могущества будет смягчено тем, что никто из былых соперников в старой Европе не займет ее места. Все старые империи исчезнут.

В конце концов имперское сознание питалось не столько интересами государства — тем менее народа — сколько похотью власти: пафосом неравенства, радостью унижения, насилия над слабыми. Этот языческий комплекс для России девятнадцатого века означал кричащее противоречие между политикой государства и заветами ее духовных вождей. Русская литература была совестью мира, а государство пугалом для свободы народов. Потеря империи есть нравственное очищение, освобождение русской культуры от страшного бремени, искажающего ее духовный облик.

Освобожденная от военных и полицейских забот, Россия может вернуться к своим внутренним проблемам — к построению выстраданной страшными муками свободной социальной демократии. Тридцатилетие коммунизма и потом коммуно-русский человек огрубел, очерствел, — говоря словами народного стиха, покрылся «еловой корой». Вероятно, не одно поколение понадобится для его перевоспитания, т. е. для его возвращения в заглохшую традицию русской культуры, а через нее и русского христианства. К этой великой задаче должна уже сейчас, в изгнании, готовиться русская интеллигенция, вместо погони за призрачными орлами империи.

Просветы в тьму

Много наивных людей, иностранцев, повторяя сейчас слова Черчилля о железном занавесе, отрезавшем Россию от мира, думают об этом занавесе как о новом, чуть ли не послевоенном явлении. Мы-то знаем, что, несмотря на тысячи книг, написанных о советской России, железный занавес над нею опустился в 1917 году. Действительно новое сейчас это то, что на исходе войны в занавесе оказались прорехи. Сквозь них в первый раз удается разглядеть (а не только угадать) нечто во мраке: в том страшном, почти ирреальном мире, для которого сравнение с Аидом, царством теней, не кажется слишком натянутым. Разумеется, и прежде отдельные выходцы с того света, примерно раз в год или два, приподнимали для нас край занавеса. Но в условиях общества, построенного на тоталитарной лжи, каждый видит и знает лишь небольшой кусок жизни, в котором сам живет. Тьма, покрывающая Россию, есть внутренняя тьма, а не только лишь внешняя дымовая завеса, повисшая на ее границах. При таких условиях было трудно учесть элемент субъективизма, который окрашивал по необходимости показания каждого свидетеля.

Война выбросила миллионы русских людей за пределы СССР. Сотни тысяч из них остались, не пожелав вернуться в Россию, в лагерях Д. П.[1], в европейском подполье, и — немногие счастливцы — в свободных странах. Множество этих лиц в устных беседах и письмах, а некоторые и в книгах, нарисовали нам облик России на исходе третьего десятилетия Революции. Еще не скоро мы соберем все драгоценные материалы, принесенные новой эмиграцией. Нужны систематические объезды лагерей и опросы тысяч людей в условиях полного взаимного доверия; нужны книги сырых впечатлений, записанных журналистами, и научно-статистическая обработка данных анкет. Но едва ли дальнейшие исследования изменят существенно впечатления сего-

дняшнего дня: до того они единодушны и ярки. Ждать мы не можем с подведением итогов. Они необходимы не для научно-безошибочного анализа, а для установления правильного, хотя и непрерывно меняющегося отношения к Советской России.

Показания новых эмигрантов сейчас самый ценный материал для познания советской действительности. Они неизмеримо ценнее свидетельства иностранных путешественников, как и всего того, что печатается в СССР. Но здесь мы встречаемся с одним критическим возражением против абсолютного доверия к этому материалу. Новая эмиграция исчисляется сотнями тысяч; в Россию вернулись миллионы. Если принять их возвращение за вотум доверия, поданный в пользу Советской России, то не перевешивает ли их молчаливый голос свидетельства оставшегося меньшинства? Уехали лояльные граждане СССР, остались его враги, носители оппозиции; казалось бы так. Значит, настроения невозвращенцев не показательны для России?

Это рассуждение было бы верно, если бы решения о возвращении в Россию принималось добровольно. Но для огромного большинства не было выбора. Военнопленные выдавались насильно, по бесчеловечному ялтинскому соглашению. Избиения, расстрелы, покушения на самоубийство сопровождали насильственные эвакуации. Мы знаем, какое давление применялось и к тем, на которых и ялтинские параграфы не распространялись. Уговоры союзников, застращивания советских властей, угрозы для близких, оставшихся на родине — все было пущено в ход, чтобы избавиться от нежелательных беженцев. Прибавьте тоску по родной земле, по близким людям и, с другой стороны, растерянность перед чуждыми условиями жизни, незнание языков и пассивную привычку к повиновению, и мы должны скорее удивляться, что число оставшихся, избравших горькую участь Д.П., столь значительно. Среди них есть, конечно, активные враги советской власти, «изменники», для которых возвращение означало бы смерть. Но есть и бывшие лояльные граждане, заслуженные герои войны, люди самых разнообразных политических убеждений и люди без всяких убеждений. Одного слоя здесь, конечно, не встретить: представителей правящей верхушки да идейных коммунистов, если такие встречаются еще в Советской России. За этим исключением Россия представлена в лагерях Д. П. с достаточной полнотой.

Первое впечатление от встреч с невозвращенцами скорее отрадно для эмиграции. Сколько лет мы ждали этой встречи и отчасти боялись ее: что если мы не поймем друг друга? Тридцать лет искусственного разобщения, полное крушение старого мира на родине и любовное хранение его в воспоминаниях за рубежом не предвещало ничего доброго для нашей встречи. Оказалось, что общий язык не утрачен. Может быть, обе стороны не вполне удовлетворены друг другом. Но между нами нет стены, общение легко и непринужденно. Они с жадностью читают наши журналы, которые не кажутся им смешными и старорежимными. Более того, мы удивляемся, какое сильное впечатление производят на них самые обыкновенные для нас статьи: так велик голод по свободному слову. Мы знаем, что такова же реакция и многих возвращающихся: советские литераторы завидуют нашим толстым журналам, даже нашим писателям-беллетристам. А мы-то жаловались на нашу скудность, искали света на родине — там, где возможна народная, почвенная литература. Поистине, встреча дает огромное моральное удовлетворение эмиграции, оправдание тяжелой работы и борьбы тридцати лет — и каких лет! Нет, мы не отщепенцы, наша мысль, наше слово нужны России и, может быть, уже сейчас она начинает вслушиваться в них.

В лагерях Д. П. и в подполье, конечно, нет единомыслия, как нет его и у нас. Но каждый из нас может найти среди них собратьев по вере, сотоварищей по политическим взглядам. Какие настроения там господствуют, правые или левые, мы еще не можем сказать. Ясно одно: их взгляды быстро меняются в новой обстановке. Большинство беженцев, попадая в Европу, не имеют понятия о жизни свободных (или даже полусвободных) народов. Воспитанные в атмосфере коммуно-фашизма, они не представляют себе других методов управления, кроме насилия. Судя по первому впечатлению, мы должны были бы их зачислить в фашисты. Но осмотревшись, подышав воздухом свободы (хотя бы за колючей проволокой), они начинают верить в ее реальность, и радости их нет границ. Свободный человек рождается в затравленном звере. Это возвращает нам надежды и на будущее России. Нет, русский фашизм родился не из пресыщения свободой и разочарования в ней, как это было на Западе; но из неведения и непонимания ее массами, воспитанными в пережитках крепостного рабства.

Но когда мы от беженцев-свидетелей переходим к их свидетельским показаниям, от нашего оптимизма не остается и следа. Мрачна, безотрадна картина России, изображаемая ими, так мрачна, что иным подробностям с трудом веришь. Царство отверженных, преисподняя — других слов не найдешь. Как могут люди выносить такую жизнь?

Не стоит останавливаться на отдельных муках или мытарствах ада: советский голод, нищета, абсолютный произвол, тираническая жестокость были описаны не раз. Но всегда при чтении этих описаний теплилась надежда на элемент публицистического преувеличения. Сейчас отнимается и эта последняя надежда. Вместо того чтобы останавливаться на отдельных штрихах хорошо известной картины, поставим себе один вопрос: кто из эмигрантских публицистов оказался более прав в оценке советской действительности? Как известно, у нас искони существовали две школы, пессимистов и оптимистов, которые сами себя называли революционерами (или контр-) и эволюционистами. Эти группы лишь отчасти (но все же отчасти) совпадали с правым и левым крылом эмиграции. Правый лагерь, состоящий преимущественно из остатков белой армии, питался страшными воспоминаниями гражданской войны. Россия 1918–1920 гг. стояла перед ним недвижная, не меняющаяся до середины второй мировой войны. Эволюционисты представляли вторую волну эмиграции — эпохи НЭПа. Они принесли с собой веру в скорое возрождение России, в реальность и спасительность перемен, свидетелями которых они были на родине. Они сумели заразить своей верой часть белого стана, и их мировоззрение сделалось господствующим в центральном, либеральном секторе эмиграции. Они верили в эволюцию советского режима, но почему-то предполагали самоочевидным, что эволюция может быть только прогрессивной и освободительной. Вглядываясь в калейдоскоп событий, развертывающихся на родине — более пристально, чем консерваторы, — они апперцинировали их на «экране памяти» двадцатых годов. Они не поняли и всего трагизма первой пятилетки, как не поняли страшного смысла процессов 1936–37 годов. Национализация (т. е. фашизация) режима особенно сбивала их с толку. Зараженные сами ядом национализма, они видели в этом явлении возвращение к нормальной жизни. На самом деле, это был новый этап тоталитарности. На-

ционал-социализм (фашизм) устанавливался на обломках марксизма, вступая с ним в причудливый симбиоз. Утверждение, что в России происходит непрерывная эволюция, было правильным. Только эта эволюция совершалась в направлении обратном, чем хотелось бы эволюционистам, да и всем нам. При всех зигзагах экономической политики, в одном режим Сталина был верен себе. Он шел неизменно по линии удушения всякой свободы: политической, культурной, духовной. Иностранец-попутчик, посетивший дважды Россию на расстоянии пяти лет, поражался происшедшему угасанию свободы в секторах культуры, его интересующих: в литературе, в театре, в кино. Впрочем, мы и сами наблюдали это отсюда. Только оптимизм висельника позволял принимать за освобождение — напр[имер], церкви — то, что было, на самом деле, распространением на новую сферу государственного тягла.

Общение с невозвращенцами помогло нам понять и источник силы и прочности режима, выдержавшего ныне опасное испытание войны. Кто та власть, которая держит в цепях двухсотмиллионный народ? Коммунистическая партия, НКВД, Политбюро, Сталин? Но идеология коммунизма выветрилась давно, а аппарат самодовлеющего насилия недостаточен для объяснения жуткой загадки России. Аппарат опричников и наемников должен опираться на какие-то общественные слои. Вот здесь-то и лежит проклятие режима — в его дьявольском умении расколоть Россию, создав целые привилегированные классы без отмены всеобщего рабства. Чем беспросветнее существование масс, тем выше ценятся материальные блага, даже самые скромные: высший паек, казенный автомобиль, отдых в Крыму. И здесь эмиграция проявила большую слепоту в оценке характерной черты сталинизма: его антиэгалитарности. Создание новой аристократии, особенно военной, приветствовалось как начало реставрации. На деле это было создание кадров, жизненно заинтересованных в прочности режима. Эти кадры обнимают офицеров, инженеров, писателей, артистов, ученых, даже епископов. Конечно, к ним относится огромная коммунистическая партия с ее многочисленными кандидатами — не как идеологический хребет режима, а как армия государственных слуг, на все готовых, обладающих 100%-ной благонадежностью. Но партия, предмет ненависти эмиграции, уже не выделяется резко из массы бес-

партийных. Коммунисты обросли бытовыми связями, утратив идейное противостояние «буржуазному» миру. У коммунистов ищут защиты в час опасности родственники, приятели — хотя и редко ее находят. Коммунисты уже свой брат, только преуспевший, быть может подлее других, но не очень выделяющийся и в этом отношении. Во всяком случае, и в партии давно уже есть и свои паны, и своя шляхта, и свои холопы.

Сильнее всяких привилегий преданность элиты, как и молчание бесправной массы, поддерживается страхом. Одна ошибка, одно великодушное движение, или даже подозрение в нем может низвергнуть баловня судьбы на самое дно ада. Под ногами у каждого зияет каторжный лагерь. Чуть-чуть оступись, и полетишь в бездну. Необеспеченность даже самых счастливых и сильных при иных условиях могла бы толкать их в оппозицию. Но за известными пределами террора оппозиция становится невозможной. Каждому есть что терять, а неудача грозит физической гибелью.

Для всех практических соображений приходится считаться с наличностью двух Россий, хотя границы их и неустойчивы: России правящей и России закрепощенной. Недаром Ленин ободрял себя, готовясь к завоеванию власти, тем историческим уроком, что Россия управлялась когда-то 40000 помещиков. Каково численное соотношение этих двух Россий в настоящее время, сказать трудно. Одни определяют правящий класс в 20, другие в 30 миллионов. Для оккупированной Европы, как мы знаем, 10–15% коммунистов и сочувствующих считается достаточным для функционирования советского строя. Вероятно, эта цифра подсказана и русским опытом.

Гораздо важнее невозможной статистики способность определять при встрече, или хотя бы интеллектуальном соприкосновении с советским гражданином, к какой из двух Россий он принадлежит. Доселе при наших встречах с Россией приходилось иметь дело почти исключительно с советским дворянством (или интеллигенцией). Оно обладает монополией слова и карьеры. Лишь новая эмиграция позволила заглянуть в гущу советского народа. Оптимисты, эволюционисты давно уже сделали свою ставку на советскую интеллигенцию. Она подкупает их своим патриотизмом, страстной влюбленностью в свое профессиональное дело, нередко своею талантливостью. За это ей про-

щается и жестокость и бесчеловечность. Народной России нечего предъявить кроме своих безмерных страданий. Она темна и замордована, она проявляет себя в саботаже и пораженчестве. Какая Россия настоящая — вопрос метафизический, т. е. хотя и очень реальный, но не допускающий эмпирического ответа. История же может повернуться в любую сторону и в своем развратном самооправдании ставить памятники и низвергать их.

Было бы чудом, если бы в этом аду народ сохранил свое человеческое достоинство, ту русскую, в основе христианскую, доброту и совестливость, которые для нас казались неотъемлемыми чертами его национального характера. Школа сталинского «гуманизма» принудительно воспитывает в аморализме. Чтобы выжить в этом аду, от каждого требуется прежде всего две вещи: черствость и лживость. Сердце должно обрасти щетиной, чтобы не истечь кровью от зрелища окружающих страданий. Пожалеть значит погибнуть. Так же опасно сказать правду. Жить в тоталитарном строе значит лгать с утра до вечера. Мы часто слишком легко относимся к этой неизбежной повседневной лжи. Во всяком случае, в России никто не осуждает друг друга за голосование против совести, за участие в коммунистических демонстрациях, за льстивые телеграммы тиранам. Беда в том, что в обществе, где ложь не случайность, а самая основа культуры, почти невозможно провести черту между правдой и ложью. Лжи стараются придать правдоподобие. Лгут на половину, на четверть, на три четверти, и в конце концов сами не знают, когда лгут и когда говорят правду. В этой утрате критерия правды и даже нормы правдивости самая страшная язва современной русской души.

Черствость и лживость — это тот минимум, который люди должны платить за счастье жить в самой демократической стране мира. От тех, кто хочет жить «счастливо» или хотя бы прилично, требуется гораздо большее. Отчаянная борьба за существование идет повсюду. Помимо таланта, подхалимство и донос лучшие средства в борьбе. Обо многом мы знали, или догадывались раньше... Теперь мы узнаем с ужасом, что даже для того, чтобы успешно учиться в ВУЗе, необходимо время от времени доносить на своих товарищей. В каждом учреждении есть кабинет агента НКВД. К нему прибегают, чтобы получить комнату, занять лучшее место по службе, или удержаться на нем. Никто

не знает, сколько миллионов граждан числятся агентами НКВД и в какой-то степени должны оправдывать это звание.

Возможно ли сохранить живую душу в этом аду? Возможно для немногих, если не ставить им в укор неизбежные жертвы идолам. Некоторые встречи с невозвращенцами доказывают это. Среди них мы находим не только единомышленников, но, изредка, чистые души, которые возвращают нам веру в Россию. Их мало. И беглецы из России, в общем, несут на себе ее тяжкий отпечаток. Лишь постепенно он смывается в общении с новым свободным миром. Сначала им очень трудно говорить правду, отделаться от подозрительности и страха при встрече с людьми. Они слишком привыкли к неписаному закону СССР: человек человеку волк.

Люди, жившие в лагерях с военнопленными или наблюдавшие красноармейцев после победы, поражались той легкости, с какой приятель и товарищ превращается в грабителя. Сейчас он дружелюбно беседовал со своим соседом, товарищем по несчастью, а через минуту требует у него часы и грозит револьвером. Русский человек в массе сохранил остаток природного добродушия, но почти потерял сознание добра и зла. Та опасная «широта» русской натуры, о которой говорил еще Достоевский, не оказывает достаточно сопротивления тоталитарной силе зла.

Вернемся к немногим, чистым, святым. Их нужно представить себе в России ведущими незаметную потаенную жизнь. Они встречаются во всех слоях общества, но, конечно, скорее среди подавленных, чем торжествующих. Очень мало шансов найти их в Президиуме Союза Писателей, в Синоде Патриарха или даже в Академии Наук. Это молчащие труженики, жаждущие одного — забвения. Есть писатели, которые не печатаются, философы и ученые, которые никому не известны, христианские подвижники, которые не носят рясы. Бывают эпохи, когда молчание становится подвигом. За молчание платят дорогой ценой. Не писать од Сталину для поэта значит обречь себя на нищету, гонения, ссылку. Но, конечно, эта подспудная праведность не способна преобразить звериной жизни. Самое большее она сохраняет в ней очаги человечности. Будет время, когда она выйдет на поверхность и начнет трудную и медленную работу нравственного возрождения России. Но это может произойти не раньше, чем будет удален душащий ее и всеоскверняющий инкуб фашизма.

Как это может произойти? Ведется ли там борьба против диктатуры, существует ли оппозиция? На эти вопросы голос невозвращенцев дает ясный, но горький ответ.

Велико недовольство масс, обреченных на голод и рабство. Не могут примириться люди с повседневным террором, лишенным и видимости правосудия. Непредвидимые и порой необъяснимые ссылки мужей, братьев, детей поддерживают глухую злобу. Против НКВД, против циничных карьеристов, греющих руки на народной беде, против Сталина, самодержавного творца этой системы. Но эта злоба бессильна, неспособна к сопротивлению. В России не ведется политической борьбы, нет партий и групп организованной оппозиции. Люди даже не представляют себе, чем мог бы быть заменен ненавистный режим: настолько извращена вся информация о прошлом России и о настоящем вне-советском мире у поколения Октября. Полицейский механизм тоталитарного государства так страшен, что внутренняя борьба с ним невозможна.

Это свидетельство русских беженцев подтверждается всем, что нам известно из опыта западного фашизма, тоталитарность которого далеко не достигла советских образцов. Мы все еще не знаем, как обстояло дело с Германией, потерял ли Гитлер свою популярность и когда. Но относительно Италии можно сказать определенно: режим Муссолини ко времени войны стал ненавистен большинству итальянского народа. И тем не менее, при сравнительной мягкости его полицейской системы, только военное поражение освободило Италию. Следует ли видеть в этом закон современного тоталитаризма?

Конечно, трудно выводить исторические законы из опыта двух с половиной (неоконченный опыт России) фашистских революций, — хотя до сих пор социологи строили свои законы революционного процесса из единственного опыта Франции. Но и двух чужих опытов нельзя игнорировать, если все, что мы знаем о России, пока что их подтверждает. Во всяком случае, голос невозвращенцев единодушен: только военное поражение может освободить Россию.

Здесь сейчас не время подвергать это воззрение тому всестороннему и бесстрашному рассмотрению, какого оно заслуживает. Тема эта огромна, и она имеет свою полную значения историю. Ей не суждено скоро сойти с порядка дня всех мыслящих

людей, которые любят Россию и болеют тревогами за ее судьбы. К ней еще придется вернуться, и голос невозвращенцев тем более будет учтен, что это не только отзыв, но и одновременно их свидетельство.

Это свидетельство или этот вывод идет вразрез с тактикой всей левой эмиграции, которая после опыта гражданской войны стояла как на догмате: «никакой интервенции! Russia fara da se! [2]» Эта позиция диктовалась разочарованием в итогах интервенции 1918–20 гг., воспоминаниями французской революции и, конечно, верой в силы русского народа. Двигаясь в колее этой доктрины, левая эмиграция отреклась от традиции всех исторических эмиграций и в большинстве своем оказалась столь же обезоруженной перед лицом сталинской диктатуры, как и «левые» партии Европы и Америки. С одной лишь и очень дурной разницей: забота о международных интересах России привела к оживлению лозунгов реакционного национализма, ставшего совершенно архаическим в эпоху гибели мировых империй и борьбы за единство мира.

Да, силы русского народа оказались не бесконечны. Кто сможет судить его? Довольно и того, что он боролся против бесчеловечной диктатуры дольше, чем любой другой народ. Было бы доктринерской жестокостью повторять человеку, упавшему без сил: вставай, не надейся на чужую руку, за помощь придется дорого платить. Пора понять, что теперь речь идет не о том, быть ли России сильной или слабой, и даже не только о том, быть ли ей свободной или порабощенной. Но о том, быть ли ей как духовному существу, быть ли народу, а не государству русскому. Сейчас культура этого народа гниет на корню. Его недавно великая литература измельчала и опошлилась. Его наука, по крайней мере гуманитарная, необычайно опустилась в качестве. Его церковь, по крайней мере правящая иерархия, перестала быть его совестью. Остановить процесс духовного разложения нации, пока не совсем поздно, важнее всех политических соображений. Пусть «патриоты» соображают, сколько миллионов или десятков миллионов стоит еще замучить на советской каторге ради расширения границ России. Империя Российская, несмотря на последний, горячечный размах ее, вероятно, больна смертельно; но русский народ — как духовно-историческая личность — еще может пережить ее.

И. И. Фондаминский в эмиграции

Об Илье Исидоровиче Фондаминском трудно писать, не впадая в агиографический тон. Он действительно был праведником и в христианском и в светском смысле слова; а умер мучеником. Правда, шансов на канонизацию у него, еврея и социалиста-революционера, немного. Но есть другая, лаическая канонизация, которая, с легкой руки народовольцев, обескровила и обезличила биографии большинства праведников из русской интеллигенции. Вот почему так важно сохранить черты живого человеческого лица, пока они еще не стерты героической легендой. Легкая мера болландистского критицизма сугубо необходима.

* * *

Я никогда не встречался с Бунаковым-Фондаминским в России. Лишь отголоски его легенды — Лассаля, Непобедимого — долетали до меня в далекие годы первой революции. Познакомился я с ним в Париже, вскоре по моем приезде туда, в эмиграцию, в самом конце 1925-го или в начале 1926-го года. Не могу сказать, при каких обстоятельствах наше знакомство произошло, но с тех пор как помню себя в эмиграции, вижу себя в уютной столовой Фондаминских за чашкой чая, среди немногих гостей, или в кабинете Ильи Исидоровича в беседе с хозяином, почти всегда деловой или идеологической, почти всегда связанной с одним из его многочисленных литературных или общественных предприятий. Пятнадцать лет я был его сотрудником почти во всех его начинаниях, особенно по изданию «Нового Града», где к нам присоединился Ф. А. Степун. Я мог наблюдать жизнь И. И. и в домашнем быту, гостя у него на его вилле в Грассе. Имею ли я право называть себя его другом в русском смысле этого слова? По совести, не знаю. Илья Исидорович не посвя-

щал меня в интимные стороны своей жизни, редко вообще говорил о себе, о своем прошлом. Никогда не жаловался на жизнь. Наверное, были люди, которые знали его ближе и глубже, но боюсь, что «иных уж нет, а те далече». И мне приходится восстанавливать его духовный облик из отражений и обрывков внешних впечатлений.

Первое, что поражало и покоряло в Фондаминском, была его редкая доброта. Она казалась безграничной. Разная бывает доброта. Доброта Ильи Исидоровича проявлялась ярче всего в аспекте кротости. Удивительна была его мягкость и деликатность в отношениях с людьми. Я никогда не видал его рассерженным, нетерпеливым или даже негодующим. Казалось, он готов принять всякого человека в братское общение, все ему простить и верить в кредит. Совершено неслыханной в кругу русской идеологической интеллигенции была его терпимость к чужим убеждениям, даже самым далеким, даже враждебным. Он всегда старался понять противника в его основной правде, не переспорить, а переубедить его. Он часто сокрушался по поводу фанатизма русских людей его круга, русской интеллигенции вообще, где расхождения во взглядах всегда готовы вылиться в личную вражду. Фондаминскому это было чуждо, словно он сам никогда не принадлежал к столь чтимому им «ордену» русской интеллигенции. Конечно, эта терпимость отчасти объяснялась открывшейся ему другой стороной истины. Он был одним из немногих, кто на историческом водоразделе сумел видеть подлинные, не шаржированные очертания и старой и новой России. Но интеллектуальные мотивы недостаточны для объяснения его терпимости. «Широкая церковь» у нас имеет тоже своих фанатиков. У И. И. терпимость была выражением доброты, которая принимала и активные формы, показывающие, что она не была только биологически-защитной установкой, за которой нередко скрывается равнодушие. И. И. помогал множеству людей и в материальных и в духовных нуждах. Помогал достойным и недостойным и не жалел своих денег. А ведь деньги более надежный показатель доброты, чем улыбки.

Но есть еще более ценные дары, чем деньги и улыбки. И. И. притягивал к себе людей, мучающихся личным горем или заблудившихся на путях жизни. К нему шли не только как к другу, но почти как к духовнику или светскому старцу. В наше время рас-

терянности, разброда и отчаяния, потребность в чужом водительстве сильнее, чем когда-либо. И. И. не тяготился этой ролью, выпавшей на его долю. Он даже как будто любил ее, изменяя в этом своему обычному смирению. Может быть, потому, что нравственные истины — необычайное явление в нашу эпоху — были для него яснее, неотразимее истин рациональных, где он охотно прислушивался к чужому голосу. И, несмотря на эту абсолютность нравственных императивов, И. И. не был строгим духовником. Он никогда не обличал, не возлагал тяжкого бремени. Он сочувствовал, переживал сам чужое горе и давал надежду. В этом отношении его оптимизм оказывался чудодейственным средством. Казалось, в жизни для него не было безысходных или трагических положений. Даже таких, что требуют смерти или мучительной жертвы, которая бывает хуже смерти. Оптимизм не изменял ему в самых тяжелых обстоятельствах. Он имел характер не природной жизнерадостности, а исповедания веры или нравственного долга. Не было словечка, которое так часто срывалось бы с его губ, как его любимое «чудно, чудно!» Оно слетало иногда и невпопад, при обстоятельствах далеких от чудесности. И. И. не изменил себе и своему обязательному оптимизму даже во время последней болезни любимой жены, когда ее положение было признано безнадежным. И на кладбище, над могилой Амалии Осиповны, он силился изобразить улыбку на своем лице. Но в этой улыбке было уже нечто безумное.

Конечно, оптимизм был драгоценным качеством светского «directeur de conscience»[1]. Им Илья Исидорович напоминал не столько оптинских старцев, сколько горьковского Луку. Не то, чтобы Фондаминский, подобно Луке или Горькому, стоял за «золотой сон» или «возвышающий обман». Но он был органически неспособен причинить человеку страдание. Сама правда, даже нравственная правда, должна была потесниться перед человеком. А любовь к человеку для И. И. прежде всего требовала утешения, облегчения горя.

Если считать, что совершенная любовь должна преодолеть и жалость, то любовь И. И. не была совершенной, хотя и была бесконечно выше того, что под именем любви понимают аскетические истязатели. Но в его любви не хватало и другого, — и в этом истязатели уже вполне на его стороне. Не хватало совершенно

личного отношения, того, что можно назвать моментом выбора, избрания, di-lectio. Для многих представителей монашеской этики, но также и для Толстого, любовь должна быть равной ко всем, не знать предпочтения. Но в ограниченности человеческого, а не Божественного сердца это равенство обескровливает любовь, делает ее теплой, если не прохладной. Несомненно, многие из друзей И. И. или спасаемых им духовных чад досадовали на широту его сердца, когда убеждались, что не могут притязать на исключительное место в его жизни. И. И., по крайней мере в те годы, когда я его знал, не имел друзей в том смысле, как романтики понимали это слово. Он сознавал за собой это свойство или недостаток и с юмором смирения принимал упрек, делаемый ему в «fausse bonté» [2].

Незлобливость И. И., его неограниченная терпимость если не ко злу, то к злым, его оптимизм могли приводить в отчаяние его товарищей по партии, да и не только их одних. Общаясь с ним, трудно было представить себе, что этот кроткий непротивленец и былой Бунаков-Непобедимый один и тот же человек. Он ни от чего не отрекался, ничего не проклинал в своем прошлом. Но он стал христианином, и это изменило его природу. Мы не знаем — и вряд ли кто-нибудь из живых может теперь рассказать, — как происходило его «обращение». По-видимому, это был длительный процесс, начало которого относится к первым годам века, то есть к первым годам его революционной карьеры. Кризисы, несомненно, прорезывали эту в общем духовно-счастливую жизнь. Об одном из этих кризисов И. И. говорил намеками, и мы решаемся, конечно, только в виде предположения, искать в нем объяснения загадки его личности. По его словам, он однажды пережил тяжелое душевное потрясение, приведшее его к нервной болезни, — может быть, на порог безумия. Из кризиса он вышел обновленным, но далось ему это нелегко. Он должен был с огромными усилиями строить в себе нового человека. Людей, переживших религиозное обращение, которое пересоздало всю их личность, называют дважды рожденными. Это определение как-то не подходит к И. И. Говоря о нем, скорее вспоминаешь о художественной вазе, разбитой, но искусно склеенной. С первого взгляда не видны швы и следы поломки, но они проступают, когда вглядываешься пристально. Может быть, правильнее было бы подыскать органическое сравнение. Ведь самые тяжелые ра-

ны заживают, кости срастаются, но рубцы остаются. Остается иногда и функциональное поражение мускулов, хромота, например. Почти неестественная кротость, терпимость и оптимизм И. И. были не то что маской, скрывающей его лицо, но броней, в которую он заковал себя, эгидой, которой он отвращал чудовищ, некогда глянувших на него из глубины хаоса.

Народническое прошлое облегчало для И. И. его христианское самовоспитание. Кротости и терпению приходилось учиться заново. Но человеколюбие было пересажено безболезненно. В науке любви безбожные праведники русской интеллигенции мало чему могли научиться от современных христиан. Остался также и народнический «кенозис», та форма социальной аскезы, которой русская интеллигенция сближается с традицией русских святых. «Худые ризы» Сергия Радонежского соответствовали поношенному пиджаку, измятому воротничку, в которых И. И. появлялся на собраниях и даже в концертах, его по неделям небритой бороде.

Он не подвергал себя нарочитой аскезе, не спал, как Рахметов, на гвоздях, не отказывался от тех благ культуры и комфорта, которыми мог пользоваться по своим средствам, или, вернее, по привычкам своей жены, но он в них нисколько не нуждался и, ясно было, от них мог легко отказаться при первой необходимости.

Насколько христианство И. И. было полным и глубоким? На этот вопрос нелегко ответить. Как известно, он крестился лишь накануне смерти, — следовательно, не принимал участия ни в таинствах церкви, ни в так называемой церковной жизни. Но он молился, и его можно было видеть в церкви каждое воскресенье. В последние годы перед войной он принадлежал к маленькому православному французскому приходу о. Жилле [3]. Было бы естественным предполагать у него какие-либо догматические или иные сомнения, заставлявшие его откладывать вступление в церковь. Но И. И. всегда отклонял такие предположения. По своей скромности, он никогда не выступал с богословскими речами или статьями и счастливо избежал распространенного соблазна стать православным публицистом. Но современная богословская интерпретация православия Соловьева, Булгакова и особенно Бердяева, по-видимому, его вполне удовлетворяла.

Отрицал он и другое предположение, что он не стремится к таинству потому, что не чувствует в нем потребности. Его фило-

софский идеализм давал основания для этого мнения, но И. И. утверждал, что для него вполне ясно, почему человек, существо духовно-телесное, нуждается и в материальных символах для духовных даров. И в этом он был искренен, хотя несомненно, что шел он ко Христу путем этическим, а не мистически-сакраментальным. На вопрос, почему он, будучи во всем согласен с церковью, не крестится, он отвечал всегда одно: что он недостоин. В этом тоже была доля истины, то есть в смирении его самооценки. Подобно христианам IV века он считал, что крещение означает еще новый перелом в жизни, новый подвиг святости. Так, в XX веке он восстанавливал в церкви чин оглашенных.

Думается, была и другая причина его медлительности, и заключалась она в его еврейском самосознании. Русское в Фондаминском преобладало над еврейским, и в культуре и в нравственном характере. Но оставалось место и для еврейства. Не болея особенно еврейскими проблемами, он не хотел разрывать связи с еврейским народом, прежде всего с кругом друзей, родных и близких, для которых религиозное и национальное были связаны неразрывно. Даже «агностики» не простили бы ему крещения как измены своему народу. Вся религиозная трагедия еврейства непосредственно переживалась им в отношении к его жене. Амалия Осиповна, христианка, как и он, по убеждениям, была более кровно связана с еврейством, чем И. И. Ее страстная любовь к матери, ортодоксальной еврейке, делала для нее невозможным крещение, даже после смерти последней; А. О. не хотела разлучаться с матерью и в иных мирах. Такова же должна была быть и религиозная драма И. И. Она во многом напоминает драму Пеги, этого пламенного и ортодоксального католика, который до порога смерти не мог ходить на мессу, чтобы не покидать своих неверующих друзей, свой «орден» радикальной интеллигенции. Впрочем, Фондаминский никогда не говорил об этом тайном мотиве своего оглашенчества. Всегда ссылался на свое недостоинство.

* * *

И. И. Фондаминский не был крупным мыслителем. Его личность была много значительнее его писаний. Но мысль его работала всегда, пытливо и самоотверженно, и он, несомненно, зай-

мет свое место в истории русской общественной мысли. Ему выпало на долю, как задача жизни, перебросить мост от революционного народничества к христианству. Задача была нелегкая, поскольку он хотел оставаться общественником, а не уходил, подобно многим, потерпевшим крушение, в религию личного спасения. Не пошел он слепо и за кем-либо из новых православных вождей-социалистов, как Булгаков или Бердяев. Он искал своего пути.

Фондаминскому нелегко давался процесс писания. Он был прирожденный оратор, и большинство написанного им представляет запись непрерывной внутренней речи. Но и писал он мало, предпочитая быть организатором чужой или общей мысли. Его идеи можно изучать по большой неоконченной работе «Пути России», печатавшейся в «Современных Записках», и по статьям в журнале «Новый Град» (1931–1939).

«Пути России» посвящены прошлому. Это опыт анализа политической идеологии, на которой строилась русская государственность. Он довел свое изложение до XIX века, оставаясь все время в кругу одной идеи: идеи русского самодержавия.

Вместе с евразийцами, с Данилевским и Шпенглером — Фондаминский утверждал основную противоположность России и Европы. Россию он относил к восточной культурной сфере, наряду с Египтом, Китаем и др. Это значит, что для него Московское Царство было высшим раскрытием русской идеи в прошлом, и самодержавие — политической верой русского народа. К пониманию самодержавия его подвели русские славянофилы, которых он глубоко чтил как отцов, по его мысли, русского народничества. Из первоисточников, главным образом XVII века, он собрал громадный материал для характеристики идеалов московского царя, отца народа, защитника сирот и притесненных. Научная ценность этой работы подрывалась ее односторонностью. Фондаминский мог видеть и изучать только одну сторону действительности, и писал только яркими, несмешанными красками. Но все же после Тихомирова, народовольца, Фондаминский, социалист-революционер, собрал наиболее богатый материал для понимания души русского самодержавия.

Так как самодержавие было верой русского народа, то Фондаминский, в порядке личного самоотречения, перестал питать к нему ту священную ненависть, которой жил орден интеллиген-

ции. Он мог без всякого отвращения рассказывать — и даже злоупотреблял этим рассказом — о сапогах Александра Первого, которые целовал обступивший его народ. Не только либералы, но и русские дворяне, в обществе которых выступал Фондаминский, не могли не чувствовать брезгливости к подобным жестам.

Фондаминский не стал монархистом, но по отношению к монархии был навсегда обезоружен. Он никогда не полемизировал с монархистами из правого лагеря или «пореволюционной молодежи». Но он всегда проводил различие между идеалом православного самодержавия и всеми современными формами фашизма, монархического или иного, по отношению к которым сохранял всю свою непримиримость.

Но «Пути России» обращены к прошлому. Сам Фондаминский глядел в будущее. Не историк, а политик, он жаждал принять участие в строительстве нового мира, который он провидел за хаосом исторического крушения. К строительству Нового Града он подходил как социалист, демократ и либерал. Но великие идеологии XIX века должны быть очищены в горниле христианской правды и опыте истории. Социализм должен освободиться от узости классовой борьбы и от материализма, убивающего дух рабочего класса; либерализм — от буржуазного индивидуализма, разъедающего основы общества; демократия — от устарелых форм парламентарной механики. Надо всем этим господствует завещанная славянофилами идея соборности, примиряющая все противоречия в универсальной гармонии.

Как личное с общественным, так национальное примиряется со вселенским в христианском идеале Нового Града.

В широком культурном, не политическом плане, Фондаминский называл свой идеал гуманизмом. Конечно, это было филологическое недоразумение, столь распространенное в нашей среде. Гуманизм у нас смешивается с гуманностью, и человек берется не как существо творческое, а как страдающее. Гуманизм оказывается учением Нагорной Проповеди, но при этом из него должны быть исключены гуманисты Возрождения, давшие ему свое имя, как и великие гуманисты нашего времени: Гете, Ницше, Вячеслав Иванов. Зато в него включаются Белинский и Добролюбов, Диккенс и Некрасов. Гуманизм Фондаминского носил исключительно этический характер, продолжая традиции панморализма русского народничества. Не то чтобы Фонда-

минский был совершенно чужд эстетической культуре. Его можно было встретить и на концерте и на художественной выставке. Он наслаждался искусством искренне, и его суждения о нем, всегда скромные, не были слишком некомпетентными. Но эстетическое не нашло места в его миросозерцании. Вероятно, Ницше, как и декадентство, никогда не касались его души, не разъедали ее нравственной цельности. В этом была его сила и его счастье. Примирить Ницше с Христом, над чем трудился Бердяев, было несравненно более сложной задачей, чем примирить с Христом Некрасова. Но это делало мир Фондаминского узким и его воздух немного спертым. При всей тяге к современности и к будущему, весь его облик носил характер несовременный и старомодный — тень XIX века.

Гуманизм, в понимании Фондаминского, несомненно, христианского происхождения, и, однако, он считал, что его актуализировала или явила миру французская революция. Странное заблуждение, разделяемое многими. В этом смысле Фондаминский, не углублявшийся в историю Европы, как углублялся он в Россию и Восток, остался верен иллюзиям своей молодости. Но он хорошо отдавал себе отчет в том, что Россия, по мере выветривания монархической веры, становилась ареной борьбы между самодержавием и идеалами свободы, равенства и братства. Сам Фондаминский был — в последнюю половину жизни — не столько борцом, сколько проповедником этого революционного гуманизма. Он видел на родине крушение своего идеала в огне черносотенной революции, но не приходил в отчаяние. Он имел еще более горький опыт: видел, как предавала его гуманизм молодежь эмиграции, воспитанию которой он отдавал так много сил. Они любили его; любили слушать, когда он говорил им о христианстве, социализме, самодержавии; но затыкали уши, когда он говорил о свободе. Без свободы идеал обращался в русский вариант фашизма, которым были заражены почти все новые пореволюционные течения. Фондаминский видел и это, и не отчаивался. У него была своя философия истории, в которой нетрудно распознать следы «исторических писем» Лаврова [4]. Отталкиваясь от марксизма и всяческих форм исторического материализма, Фондаминский возвращался к вере в непобедимую силу идей и носительницы их — героической личности. Любая идея может победить в мире, всегда и в любой историче-

ской обстановке. Нужна лишь крепкая вера в нее сплоченной группы людей, готовых проводить ее в жизнь. Победа Ленина в России, вопреки всем экономическим законам, вопреки здравому смыслу, подтверждала для Фондаминского его доктрину. Он любил говорить, что в 90-х годах вся большевистская партия могла уместиться на одном диване. Он верил, что та малая кучка молодежи, которую он старался собрать вокруг себя, со временем может изменить судьбу России и, может быть, мира. Но одно логическое признание идеи недостаточно. Действенность идеи зависит от энтузиазма ее носителей, и большая часть работы Фондаминского была посвящена «культуре энтузиазма».

В отличие от Ленина 90-х и всяких других годов, Фондаминский менее дорожил чистотой принципов и качеством отбора, чем широтой охвата своей пропаганды. Он шел во все политические и культурные группировки, которые его терпели, и строил свои собственные. Не говоря уже о журнале «Современные Записки», которого он был одним из редакторов, он работал в кружках Христианского Студенческого Движения и позже Православного Дела, бывал в Р. Д. О.[5], у младороссов, в Пореволюционном Клубе Ширинского-Шихматова [6], читал даже в Союзе Дворян. Этот список далеко не исчерпывает всех организаций и кружков, куда Фондаминский вкладывал свою неутомимую активность. Со времени основания «Нового Града», он старался сделать его центром своей организаторской работы. По его мысли, вокруг «Нового Града» и на основе его идей должны быть созданы группы интеллигенции на профессиональной основе – педагогов, инженеров, врачей, писателей – которые готовили бы себя для общественной работы в России. Из этих планов осуществился только один: кружок («Круг») молодых писателей (вернее, поэтов). Среди всех профессиональных групп поэты менее всего подходят для роли общественных деятелей и реформаторов. Но они тянулись к Фондаминскому, находя вокруг него человеческое тепло и веру, отогревающую их в ледяной стуже Монпарнаса. У некоторых из них просыпалось желание найти выход из внутренней анархии в каком-то положительном идеале, религиозном или общественном. Лично Фондаминский помог многим найти себя, устоять в безвременьи. Но общественной цели своей он не достиг. Он попробовал отобрать в «Круге» маленькую группу людей, разделяющих идеи «Нового

Града» и готовых работать для них, но с самого начала в ядре будущего ордена не оказалось единства. Когда грянула война, группа разбрелась в разные стороны; многие стали жертвой соблазнов московского фашизма.

Смотря на работу Фондаминского со стороны и со стороны общественной, следует признать, что она потерпела крушение. О Фондаминском можно было бы сказать словами одного древнего русского писателя: «аки на воду сеял». Но нельзя измерить внешними результатами впечатления слова, за которым стоит пламенное убеждение и любовь. Хочется думать, что те из «советских патриотов», которые когда-то были учениками или слушателями И. И., не способны уже стать порядочными чекистами. Историческое несчастье Фондаминского в том, что он не дожил до встречи с новой советской молодежью, «избравшей свободу». В нем они нашли бы того вождя, которого ищут так страстно, а он — ту армию Нового Града, которая — кто знает? — могла бы действительно завоевать новую Россию.

* * *

Терпеливая и мужественная оборона против хаоса выдержала одно испытание. Смерть жены была для И. И. страшным ударом. Несколько лет спустя он как-то признался, что потерял всякий вкус к радостям жизни; что даже природа, которая прежде давала ему столько утешения, стала в тягость. Но он и виду не подавал, какую глубокую рану нанесла ему утрата. Даже не стал суше, суровее. Весь целиком ушел в свою работу. Общественность стала для него единственной жизнью; личной жизни уже не было. И вот тут-то рок нанес ему второй удар, который добил его. На этот раз, казалось, хаос победил.

При всей своей русскости Фондаминский любил Францию; любил ее дивную землю, ее людей, простых, умных и добрых. Гуманистическая религия, в его понимании, родилась на этой земле. Другой Европы для него не существовало. Когда армии Гитлера прорвали, словно картон, слабое французское сопротивление, Фондаминский почти заболел физически. Не спал по ночам, не мог уже скрывать своей подавленности. Для него поражение Франции было концом войны. Он не верил в Англию, да и не знал ее. Поражение в этой войне было окончательным тор-

жеством зла на земле, по крайней мере в пределах нашей исторической эпохи. Что должен был выстрадать И. И., когда порывалась последняя нить, связывающая его с миром культуры, да, пожалуй, и с самой землей! Сколько раз он должен был повторять: «Боже мой, почему Ты меня оставил?»

Вернувшись в немецкий Париж после летнего убежища в Аркашоне (в 1940 году), Фондаминский долго и мучительно решал для себя вопрос: оставаться ли ему или уезжать в Америку, куда уже бежали или собирались бежать большинство его друзей из социалистического лагеря. Но бежать стоило лишь для того, чтобы продолжать борьбу. Для борьбы не было ни сил, ни веры. Трудности бегства – и для чего? для собственного самосохранения? – казались непреодолимыми. В этой нерешительности и безволии И. И. производил жалкое впечатление убитого человека: «Презрен и умален паче всех сынов человеческих». И все же не по слабости остался И. И. в Париже, где его ожидала смертельная опасность. Думаю, что решающим был иной, свободный выбор. Не все друзья его были в Америке. Уехали общественники, остались другие, те, с кем он мог молиться и беседовать о последних вещах: Мать Мария (Скобцова), ее друзья из «Православного Дела», Мочульский, Бердяев, столько других. В последние дни, перед лицом смерти, И. И. почувствовал, что этот мир для него ближе той общественности, даже христианской, которой он служил всю жизнь.

Арестован был Фондаминский вместе с русскими в июле 1941 года, когда началась война с СССР, но остался в лагере (Компиенском) вместе с евреями, когда большинство русских уже были освобождены. Говорят, что не пощадило его в лагере и последнее испытание: антисемитизм соотечественников, которых не смягчала и обреченность беззащитных жертв. Но с И. И. было несколько друзей-христиан, от которых мы знаем, как он окреп и вырос в это страшное время. Очевидно, он примирился со смертью и приготовился к ней. Он даже писал в это время своей сестре, что переживает лучшую пору своей жизни: «Я чувствую себя прекрасно, и уже давно, давно не чувствовал себя таким спокойным, веселым и даже счастливым». Таково же было и впечатление сестры, которой удалось получить свидание с ним (февраль 1942 года): «Il est en bonne humeur, meme heureux» [7]. В лагере Илья Исидорович много работал, даже читал лекции

своим товарищам по заключению. Тогда-то он решил и креститься. Никакого давления на него не было оказано. Священник, который крестил его, скорее сам чувствовал его влияние, его духовное и даже богословское превосходство. Этот священник рассказывал, что, когда, после крещения, он служил литургию, за которой И. И. должен был впервые причаститься, ворвались немецкие солдаты и приказали прекратить службу, так как походная церковь подлежала закрытию. Таинство было закончено вне церкви, в одном из бараков. Так старый подпольщик в подполье встретил своего Христа.

Чтобы уяснить вполне значение смерти Фондаминского, нужно помнить, что она была наполовину добровольной. Ему представлялась возможность спастись. Тяжело заболев в лагере, он был переведен в больницу. Бежать оттуда было возможно, и друзья (на этот раз социалисты) брались устроить побег. Фондаминский отказался. Своим мотивом он указал желание разделить участь обреченных евреев. В последние дни свои он хотел жить с христианами и умереть с евреями, этим, может быть, искупая ту невольную боль, которую он причинял им своим крещением.

Смерть Фондаминского, вероятно, останется навсегда окутана тайной. Он был увезен в Германию, и там следы его теряются. Неизвестен даже и лагерь, в котором он встретил свою смерть. Близкие и друзья годами надеялись на его спасение. Ходили слухи о том, что И. И. вывезен в Россию; были даже люди, которые слышали по радио его голос. Но в смерти его нет сомнения. Французское правительство сообщило семье точную дату: 19 ноября 1942 года. А внешние подробности могут ли прибавить что-нибудь к смыслу его страшной и славной жертвы? Не тысячи, а миллионы прошли тем же путем на Голгофу, но немногие умерли добровольно — чтобы разделить страдания своего (даже наполовину своего) народа.

Вольная смерть, внешне бесцельная и неоправданная, отказ защищать свою жизнь от убийц, «яко агнец непорочен, прямо стригущему его безгласен» — есть русское выражение кенотического подражания Христу. В непротивленчестве своем бывший революционер, из льва обратившийся в агнца, стал учеником — думал ли сам он об этом? — первого русского святого, князя Бориса.

Русский религиозный кенотизм с первых дней русского христианства нашел двоякий исход своей жажде подвига: в социальном уничижении, основанном на любви, и в вольной жертвенной смерти. Через столетия, в безбожной культуре XIX века, русское народничество (по существу тот же кенозис), следуя бессознательно голосу совести еще христианского народа, осуществляло себя на этих обоих путях. В лице И. И. Фондаминского русское народничество заплатило Церкви с лихвой свой исторический долг.

Н. А. Бердяев — мыслитель

24-го марта 1948 г. в своем доме в Кламаре под Парижем скончался Николай Александрович Бердяев, выдающийся русский религиозный философ. Русское общество мало следило за работой его острой, неутомимой мысли. Оно сильнее всего реагировало на его политические выпады, часто неожиданные и парадоксальные. Сравнительно немногие имели счастье знать и любить его как человека. Но весь мир знал Бердяева как религиозного философа. В Европе и в Америке его ценят гораздо выше, чем в русской эмиграции и, конечно, в самой России. Объяснение, вероятно, в том, что Бердяев со своей философией личности, свободы и творчества более связан духовно с Западом, чем с Россией; но в то же время он вобрал в себя много ценных элементов русского миросозерцания (через Достоевского, Хомякова, Вл. Соловьева), которые являются для Запада новым откровением. Запад, конечно, ошибается, считая Бердяева типичным выразителем русского православия; Бердяева самого беспокоило это давнее недоразумение. Но мы преступно несправедливы, игнорируя большого русского мыслителя, писавшего не школьные книги, не академические исследования, но страницы, полные жизненного (по модному экзистенциального) смысла, обращенные к каждому.

Бердяев писал горячо, всегда в борьбе на нескольких фронтах, не страшась преувеличений и противоречий. «Духовное солнце не бесстрастно», — сказал он в одной из последних своих книг. Встречаясь с этими противоречиями, некоторые склонны даже отрицать единство его мысли. Но этот взгляд совершенно ошибочен. Противоречия скопляются на поверхности, в его отталкиваниях, скорее чем в утверждениях. В глубине он оставался верным своей основной жизненной интуиции, которая сложилась в цельное метафизическое миросозерцание уже в его

первых настоящих книгах: «Философия Свободы» (1911 г.) и «Смысл Творчества» (1916 г.).

У Бердяева в молодости было много учителей, таких далеких и несхожих. Из западных «отцов» достаточно назвать Якова Беме и Канта, Маркса и Ницше. Самое сочетание этих несовместимых имен исключает мысль об эклектическом синтезе. Их невозможно примирить, но можно перелить, расплавив в личном опыте, в совершенно новое и оригинальное мировоззрение. Такова была философия Бердяева, враждебная всякой систематике, необычайно радикальная и в выражении и по существу, но вытекающая из единства жизненного и нравственного опыта. Это единство мы и попытаемся установить в немногих, наиболее отчетливых и твердых линиях.

Основная жизненная интуиция Бердяева — острое ощущение царящего в мире зла. В этой интуиции он продолжает традицию Достоевского (Ивана Карамазова), но также и русской революционной интеллигенции, с которой он столько копий переломил в первые годы своего идеалистического исповедания (период «Вех»). Борьба со злом, революционно-рыцарская установка по отношению к миру отличает Бердяева от многих мыслителей русского православного возрождения. Не смиренное или эстетическое приятие мира, как Божественного всеединства (основа русского «софианства»), но борьба с миром, в образе падшей природы, общества и человека, составляет жизненный нерв его творчества. Бердяев почти всегда должен отталкиваться от чего-либо, от какой-либо лжи, для того, чтобы выяснить свою истину. Он открыто признает себя дуалистом. Монизм, влекущий большинство философов, особенно русских, ему всегда был чужд. Вот почему он сразу отверг Платона, и до конца оставался верен Канту, при всей разительной несхожести их духовных типов. Между истинным миром «вещей в себе» и миром явлений должна быть пропасть, для того чтобы Бердяев мог поверить в Божественное происхождение истинного мира. Манихейский (или маркионитский) соблазн злого бога-творца должен был когда-то искушать его. Он преодолел его своим учением о грехопадении. Оно столь же радикально, как Кальвиновское, но вместе с тем почти во всем ему противоположно. Последствия греха ощущаются Бердяевым всего сильнее не в человеке, а в природе. Бердяев видит природное зло не только в жестокости

борьбы за существование, в страдании и смерти, но в самом факте роковой необходимости, несвободы, которая составляет сущность материи. Человек, с его возможностями духовной свободы, брошен в слепой механический мир, который порабощает и губит его. В последние годы своей жизни, познакомившись с философией немецкого экзистенциализма, Бердяев еще более заострил свое мироотрицание. Зло — в самой объектности мира, в том, что он представляется нам как собрание вещей или объектов. Но это злой кошмар нашего греховного сна. Подлинно реальны только субъекты, т. е. свободные духи. Освобождение от власти мира или вещей составляет цель человеческой жизни.

При своем остром ощущении мирового зла Бердяев не может допустить никакой оптимистической теодицеи. Бог не есть самодержавный правитель мира. Сама эта мысль, делающая Бога ответственным за зло, неизбежно вызывает у Бердяева прометеевский бунт. Он предпочитает атеизм, воинствующий во имя справедливости и сострадания, вере во всемогущее Провидение. Бердяев верит в Бога, который, сотворив мир, отрекся от Своего всемогущества ради свободы твари — даже если свобода эта оказывается губительной. Любовь Божия в том, что Он разделяет страдания человека, злоупотребившего своей свободой. Воплотившийся и страдающий Бог делает возможным ответную любовь к Нему человека. Но Бог и не безвластен. Он действует в мире через человека, вдохновляя его, посылая ему Свою благодать. Однако благодать эта не является непреоборимой. Человек может отвергнуть ее или следовать за ней. Но без нее, без Бога падший человек бессилен, и дело его в мире безнадежно. Эту истину Бердяев подчеркивал с достаточной силой в пору его юношеской борьбы с атеистической интеллигенцией. Бердяев верит в сотрудничество Бога и человека, в богочеловечество, пониманию которого он научился у Вл. Соловьева. Бердяев говорит о Царстве Божием как о конечном идеале, но Царство строится не только Богом, но и усилиями человека. Так религиозная философия Бердяева становится не столько учением о Боге, сколько учением о человеке: антропологией в богословском смысле.

Огромная религиозная ценность человека — в том, что он, несмотря на свое падение, имеет в себе божественное начало, «образ Божий», который пребывает в его духе, в его «я», или лично-

сти. Его телесное или душевное естество погружено в мир падшей природы и порабощено им; но дух его, или личность, остается носителем свободы. Бердяев не презирает тела подобно платоникам, ибо тело создано быть органом духа, для выражения его во-вне. Однако, в отличие от современных софианцев, интерес Бердяева сосредоточен на духе человека. Четыре основных понятия, взаимно связанных, в сущности разные аспекты одной идеи, определяют религиозную тему Бердяева: Личность, Дух, Свобода и Творчество. Недаром самые значительные его книги носят заглавия: «Смысл творчества», «Философия свободного духа», «О назначении человека».

Личность в понимании Бердяева радикально отличается от индивидуальности как своеобразия, неповторимой комбинации черт. Индивидуальность или особь принадлежит природному миру и разделяет с ним рабство и смертность. Бердяев враг индивидуализма, миросозерцания по преимуществу буржуазного, но любит называть свою философию персонализмом. Эта терминология, вероятно, немецкого происхождения, прививается ныне во Франции именно под влиянием Бердяева и его французских учеников. В английском языке ее проведение наталкивается на большие трудности.

Личность есть духовно-творческое и свободное начало в человеке.

Известно, как трудно определение духа в тех школах, где он противополагается душе. Бердяев не давал определений. Он противопоставлял дух душевно-телесному человеку как начало свободы в царстве необходимости. Но он не ограничивал духа его проявлениями в религиозной жизни. Познание, искусство, человеческие отношения – все это сферы духовности. Дух там, где свобода.

Однако свобода царит лишь в Царстве Божием. В нашей жизни она позволяет только просветы, прорывы из природного мира. В борьбе с природным рабством человек имеет Бога своим вождем и вдохновителем. Но его свобода утверждает себя и в отношении к Богу. Бердяев признает Откровение не как внешний авторитет, а как свободно избранный путь, в согласии с опытом и высшими потребностями личности. Бердяев не хочет быть рабом у Бога, и все рабские формы богопочитания ему чужды и даже ненавистны.

Для метафизического обоснования такой свободы Бердяев создает своеобразную теорию, отчасти заимствованную у Якова Беме, германского мистика XVI–XVII века. По Беме, есть нечто более первичное онтологически, чем Бог. Божество, Божественный мир первичнее личного Бога, а Бездна (Ungrund) первичнее Божества. Эта бездна содержит в себе все возможности, как Аристотелевская материя. Для Бердяева поэтому она есть чистая свобода. Другими словами, свобода не создана Богом, но Он сам рождается (не в порядке времени) из свободы и из этой же свободы, из Ничто, которое потенциально содержит в себе Все, Он творит мир. От того-то в основе мира и человека лежит свобода, и свобода не только к добру, но и ко злу. Эта Бемевская идея несет у Бердяева двойную службу: объясняет наличие зла в мире, т. е. делает возможным теодицею; и определяет свободу человека не только по отношению к миру, но и к Богу. Но такая концепция свободы трудно примирима с христианским пониманием Бога как Существа Абсолютного. Здесь мы имеем дело с наиболее уязвимым местом философии Бердяева.

Столь же своеобразна и Бердяевская концепция творчества. Творчество — это цель жизни человека на земле — то, для чего Бог создал его. Грехопадение не отменило его призвания, поскольку сохранило его свободу. Если христианство есть религия спасения, то это спасение через творчество, а не только через аскетическое очищение от греха. Иногда, впрочем, Бердяев противопоставляет творчество спасению или святости как иной жизненный путь. Не отрицая необходимости аскезы как средства самовоспитания, он против ее переоценки, которая из средства делает ее целью. И грешный человек может творить. Грех искажает всякое человеческое творчество, но не обесценивает его.

Все платонизирующие системы этики и эстетики, т. е. системы идеалистические видят смысл творчества в усмотрении и следовании божественным прототипам или идеям, лежащим в основе тварного мира. Отталкиваясь от реализма (натурализма), который ищет подражания природе или жизни, идеализм все же ограничивает человеческое творчество подражанием, или воспроизведением уже данных, или сокрытых в мире идей. Бердяев решается утверждать в творчестве возможность принципиально нового, т. е. нового даже для Бога. Бог хочет от человека продол-

жения Его творения, и для этого дал ему творческую способность (Свой образ). В этом смысл всего трагического эксперимента, каким является создание Богом свободного существа.

Грех делает невозможным не творчество, а его совершенство. Всякое творчество, в условиях падшего мира, обречено на неудачу. И главная из этих неудач, для Бердяева, есть объективизация творчества, т. е. превращение его в продукт или вещь, подчиненные закону необходимости. Книга, картина, даже симфония – тленны и обременены тяжестью мира: они лишь отдаленно соответствуют мечте творца о совершенно свободной мысли и жизни. Еще более объективны, т. е. несвободны наши поступки и социальные институты, создаваемые людьми. Творческий огонь застывает в лаву, которая сама делается препятствием для творчества. Это значит, что для Бердяева ценен творческий акт, а не его результат, не «произведение» искусства или мысли. Отсюда понятно, что он враг даже стремления к законченному совершенству: враг всякого классицизма. Пушкин не нашел места в его «Русской идее».

Это пренебрежение к совершенству объясняет и писательский стиль самого Бердяева. Враг всякой системы, не верящий в возможность мысли, свободной от противоречий, Бердяев хочет сохранить в своих писаниях возможно полную свободу своей кипящей, взволнованной мысли. Нечего и говорить, что он не унижается до доказательств. Подобно французскому поэту Пеги, он стремится все к новому выражению одной и той же мысли, не зачеркивая уже найденных, бросает нить и снова возвращается к ней. Он мастер удачных, образных определений, но они часто тонут среди черновых набросков. Мы лишь предчувствуем блестящий писательский дар, запущенный как старый русский сад, заросший сорными травами.

Неизбежную неудачу, обреченность всякого человеческого творчества Бердяев называет его эсхатологизмом. Это указание конца, границы, смертности мира и человека. Но конец не последний, неудача не окончательна. Бог спасает творчество человека и воскрешает его за гранью истории, в Царстве Божием.

Легко и соблазнительно причислить Бердяева к линии духовных анархистов. Но это заключение будет ошибочным. Разумеется, интересы личности для него всегда дороже общества. И он прошел через искушение Штирнером. Но для него, социалиста,

не без помощи Хомякова открылось, что личность не может осуществить себя в отрыве от других «я». Одиночество означает ее иссыхание и гибель. Я находит себя через Ты. И не только в романтическом слиянии двух, но и в Мы как в свободном общении многих. Бердяев охотно берет Хомяковское учение о соборности как преодолении конфликта между индивидуальностью и коллективом в общем деле, любви и сознании. Однако чаще всего он указывает на опасности, подстерегающие личность при ее выходе в план социальный. Это опасности объективации, образование институтов, застывших форм вместо реального (экзистенциального) общения. Признавая общение, Бердяев ведет войну с обществом. «Социальное» вообще для него является понятием порочным. Помимо всех грехов и неправды, которыми отягощена социальная жизнь, сам характер социальности, как обыденности, уже порочен. Сильнее всего греховность общества проявляется в государстве — во всяком, а не только тираническом. Но и брак есть обыденность, угашающая любовь. И Церковь как институт есть социальная объективация, т. е. деформация Церкви как общения в Духе и любви. Бердяев за свою долгую христианскую жизнь не переставал обличать грехи исторической церкви, как и грехи государства. В этом он видел преимущественно пророческое или «профетическое», как он любил говорить несколько скромнее, служение. Свою философскую публицистику, всегда пронизанную злободневностью, но sub specie aeternitatis [1], он причислял именно к профетической литературе. Отказываясь от звания богослова, с оттенком презрительности относясь к самому богословию, он имел высокое самосознание христианского пророка в обличии и стиле современного журнализма. В этом все-таки заключалось его социальное служение Церкви.

Борясь с социальностью, Бердяев всю жизнь оставался социалистом. Он никогда не был ортодоксальным марксистом, хотя бы потому, что никогда не был материалистом. Но даже с Марксом его разрыв был неполным и неокончательным. В эмиграции он постепенно возвращался к учителю своей юности. В Марксе он ценил прежде всего критика капиталистического строя, беспощадно разоблачавшего его маски и фикции. Но он видел в нем и задатки гуманиста, боровшегося против обесчеловечения работника машиной и безличным строем хозяйства. Опублико-

вание ранних, до-марксистских сочинений Маркса немало способствовало укреплению этого взгляда на Маркса как на гуманиста, заставляя Бердяева забывать подчас, как много Маркс сам содействовал обезличению и механизации пролетариата и рабочего движения.

В Бердяевском социализме сравнительно мало ощущается сострадание или мотив каритативный. Или же он целомудренно скрыт за негодованием против эксплуатации человека. Цель социалистического движения для Бердяева – освобождение личности в бесклассовом обществе. Личность и здесь на первом плане, и социализм свой Бердяев предпочитает называть персоналистическим. Против этатизма Маркса или его учеников Бердяев иногда выдвигал общинный или кооперативный социализм Прудона, дающий личности большие гарантии свободы. Но, может быть, есть и еще один мотив, самый личный и сильный в социалистическом комплексе Бердяева: его ненависть к буржуазии. Ненависть эта направлена не столько на буржуазию как господствующий класс в современном обществе, сколько на ее психологический тип: на «буржуа» во французском смысле слова – мелочного, скупого гедониста, потерявшего веру во все высокие ценности и всякую способность к героическим добродетелям. Отношение Бердяева к буржуа не имеет ничего общего с завистью пролетария. Оно ближе к ненависти художника, богемы, но в ней есть нечто и от дворянского презрения к выскочке, купчишке, который вытеснил благородный рыцарский тип, не имея для себя никакого нравственного оправдания. В социализме Бердяева столь же много дворянского, как в анархизме Толстого. Свою ненависть к буржуа-плебею Бердяев распространял и на прошлое и не хотел видеть в этом классе никаких исторических заслуг. Ни современная наука, ни голландская живопись, ни освобождение сервов от средневековых коммун до Французской революции – для Бердяева не связывались с буржуазией. Даже Маркс был более справедлив к ее освободительной миссии. Бердяев явно предпочитал и античное рабство и средневековое крепостничество капитализму. И, очевидно, не положение трудящихся классов или степень их эксплуатации определяли его предпочтение.

Насколько постоянны были социалистические симпатии Бердяева, настолько текучи и неустойчивы его политические взгля-

ды. Безусловно для него было одно: защита личности и ее свободы — и то лишь в высших ее проявлениях: мысли, совести, слова. К политическим формам он относился почти равнодушно, часто меняя свои симпатии. Отчасти это вытекало из его презрения к формальному началу в жизни вообще, особенно к праву в жизни социальной. В годы ревизии своего революционного мировоззрения (1900–1910) Бердяев был очень скромен. Он соглашался на конституционную монархию, он признавал демократию относительно лучшей из политических форм. Но чем дальше, тем более его отношение к демократии становится критическим. Особенно в те годы, когда во Франции он столкнулся с теневыми сторонами ее в Третьей Республике. Конечно, главной причиной холодности и даже отталкивания Бердяева от западной демократии был социальный субстрат ее: буржуазия в ее упадке. Мещанство и пошлость, царящие в нравах и вкусах общества, погоня за низменными наслаждениями как цель и смысл жизни, равнение на среднего человека как мерило ценностей, — все это претило Бердяеву с его духовным аристократизмом. Особенно должно было возмущать его как философа новейшее философское обоснование демократии на релятивизме. Отказавшись от христианского идеала своей молодости, и даже от рационализма своих зрелых лет, современная демократия ищет оправдания принципу большинства в относительности всякой истины и всякой ценности. Но такое мировоззрение разрушает культуру и обезличивает человека. Политический атомизм, изолирующий личность в демократиях современных (вернее XIX века), разрушающий всю сложную ткань древних общественных союзов, кроме государства, также, разумеется, не мог не вызывать протеста Бердяева с его идеалом общения.

Однако все эти законные мотивы отталкивания от демократии не искупают того софизма, который чем дальше, тем ярче выступает в аргументации Бердяева. Это мотив формальности демократии. В его устах формальность означает фиктивность. Это значит, что свободы слова, печати и проч., столь насущные для философа, становятся вдруг мнимыми, раз дело касается масс. Бердяев усваивает здесь гиперболический язык раннего социализма, который был неуместен и сто лет тому назад. Бердяев как будто проглядел все успехи рабочего движения, с его мощными союзами, значительным политическим влиянием и

даже долей социальной обеспеченности. Пролетариат для него остается вечно голодной, бесправной и темной массой, не ощущающей даже потребности в свободе. Свобода для него то же, что свобода незанятого извозчика в известном анекдоте Прудона. Только полной оторванностью от живого рабочего класса можно объяснить эту аберрацию философа.

В двух практических и важных пунктах Бердяев расходится с современной демократией и приближается к фашизму в его русской или западной форме. Во-первых, в своем абсолютном отказе от экономической свободы. Он прав, конечно, в том, что социализм невозможен без ограничения свободы в экономической сфере. Но, не желая искать, вместе с современными социалистами, нового сочетания начал личной свободы и общественной регламентации, он заранее и целиком отдает государству всю полноту хозяйственной власти. Тем самым он лишает всякой независимости и хозяйственного интереса и крестьянство, и ремесленников, включая «свободные» профессии, делая государство ничем не ограниченным властелином их судьбы. Отстаивая духовную свободу – для тех немногих, кто живет творчеством духовных ценностей – он, не замечая сам того, создает остров свободы для мыслителей и поэтов в океане всеобщего рабства.

Если в полном отрицании экономической свободы Бердяев приближается к коммунизму, то в корпоративной организации государства он разделяет принципы и восточного (советского) и западного фашизма. «Формальной» группировке граждан по территориальным округам и политическим партиям противополагается их организация по профессиональным трудовым корпорациям. Предполагается, что трудовые связи более реальны, чем поместные и политические. Это было бы верно при возрождении творческого и этического средневекового отношения к труду как к искусству и долгу. При современном утилитаризме, особенно в связи с уничтожением многопартийности, корпоративная система делается политической основой для тирании. Так Бердяев, который из всех социальных форм более всего ненавидел государство, отступает перед ним почти по всему фронту – из ненависти к духовному типу буржуа.

Сообразно с колебаниями его политической мысли менялось и его отношение к большевизму в России. Было время (1917–

1922 гг.), когда его негодование против коммунистической тирании не имело границ. Он сам жил в стране пролетарской революции и видел ее человеческое, а не только доктринерское лицо. Впрочем, и тогда уже он кое-что принимал в ней: напр[имер], приобщение широких масс к культуре и даже праведное возмездие. Действительно, Бердяев усвоил идею Де-Местра, что революции — суд Божий над народами. Из этой христианской идеи (не особенно связанной с его личной теологией), Бердяев сделал вывод, что нельзя идти против Божьего суда: всякая контрреволюция осуждена, и революция может быть преодолена лишь изнутри, в своей имманентной эволюции. Это определило его отрицательное отношение к русскому белому движению и всей почти политической эмиграции, от крайне-правых до социалистов, боровшихся с большевизмом как с внешней и враждебной силой, поработившей Россию.

Оказавшись поневоле в эмиграции (Бердяев был выслан из СССР), он скоро был вынужден вести борьбу на два фронта: против капитализма и коммунизма одновременно. Это была позиция, достойная философа и христианина. Одна из его книг-брошюр «Правда и ложь коммунизма» [2] своим заглавием указывает на его двойственную установку.

Однако за время Второй мировой войны это равновесие было нарушено — в пользу Советской России. Бердяев оказался захваченным потоком русских патриотических настроений, вспыхнувших с необычайной силой в среде русской эмиграции во Франции. И хотя в его статьях этого времени преобладают социальные, а именно антикапиталистические ноты, но национальные мотивы просоветской стратегии не подлежат сомнению. Россия представлялась освободительницей мира от гитлеровского фашизма. Сходство двух тоталитарных режимов забывалось. Жила вера, ни на чем не основанная, в близость больших перемен во внутренней политике большевистской партии. Тогда-то Бердяев написал книгу, одну из последних своих книг, — «Русская Идея», где выразил неожиданную для него славянофильскую веру в особое религиозно-историческое призвание России. В течение многих лет он боролся против национализма как одного из самых страшных ядов нашей эпохи. Вместе с Вл. Соловьевым он утверждал всеобщие, но различные призвания каждого народа. Он не отказался от этой веры и теперь. Но Рос-

сия имеет особое преимущество перед другими народами: в самой силе и качестве ее религиозного мироощущения. «Русский народ принадлежит к религиозному типу»... «Этические идеи русского человека очень отличны от этических идей западных народов, и это более христианские идеи». И русская идея более «общинна», чем западная. Вот почему для «нового Иерусалима» «путь уготовляется в России». Социальная революция в России есть этап на этом пути.

Многие друзья и ученики Бердяева были глубоко и тяжело поражены этим последним уклоном учителя. Особенно странно было, что Бердяев, который всю жизнь шел против течений, господствующих вокруг него, оказался вторящим толпе и властителям текущего дня. Являлась мысль о старческом ослаблении его духовных сил. Впрочем, чем дальше развертывались события, тем более разочаровывался Бердяев в своих ожиданиях от Советского Союза. Уже он поднимал свой голос в защиту свободы слова, попираемой в России. Друзья передают, что под конец от его первоначального энтузиазма ничего не осталось. Однако он не пожелал выразить в печати свое новое накопившееся возмущение – чтобы не дать лишних аргументов сторонникам войны против СССР. Войны он боялся больше всего на свете.

В «Русской идее» самой характерной чертой русской религиозности Бердяев считает эсхатологизм. Его подбор типических русских мыслителей по этому признаку страдает некоторой искусственностью. Ни Пушкин, ни почвенники, преемники московской традиции, не вошли в линию «Русской идеи». Поднятый русской революцией, задолго до ее взрыва, вихрь разрушительных и эсхатологических идей объявляется выразителем смысла всей тысячелетней истории России. Но этот выбор русской магистрали показателен для самого Бердяева. Он, действительно, самый эсхатологический из всех русских религиозных мыслителей. Подобно многим людям своего поколения, он переключил в христианскую эсхатологию революционные настроения эпохи. Эсхатологизм Бердяева вырастает из совершенно других религиозно-психологических корней, нежели традиционно-христианский, особенно православный. Не уход из истории и не сознание ничтожества человеческого культурного дела порождает его жажду конца. Ее рождает революционное

недовольство всем существующим и тоска по конечном и радикальном преображении мира. Эсхатология Бердяева не есть отвержение истории, но завершение ее.

Бердяев считает себя философом истории по преимуществу. Его отношение к основным формам падшего мира — пространству и времени — не одинаково. Мир пространства, содержащий в себе материю, порабощает человека. Мир времени создает возможность истории как арены человеческого коллективного творчества. Правда, человеческое творчество реализуется в истории лишь частично. Эта неудача, а также смертность его, делают историю не бессмысленной, но трагически несовершенной. Все существующее должно сгореть в огне личных и исторических катастроф. Но конец истории, которого жаждет Бердяев, не только уничтожение социального, но и осуществление Царства Божия. Суд и осуждение зла лишь подчиненный момент в торжестве Царства. Бердяев готов даже допустить Оригеновский апокатастасис — всеобщее спасение, если бы этому не препятствовало его признание последней ценности свободы. Ад есть не кара Божия, но право тварной свободы. Эсхатология Бердяева полна оптимизма, несмотря на ее катастрофичность. Сама катастрофичность, вероятно, источник радости для революционного духа, как трагическая игра для Ницше. Мы уже видели, как свет этой вселенской эсхатологии падает на все человеческое творчество, делая невозможным, для Бердяева даже противным, всякое законченное, пребывающее совершенство.

И однако, в плане истории, т. е. эсхатологии, Бердяева и подстерегало последнее искушение. Он знает и любит повторять, что вся история соткана из преступлений. Но финальная Осанна заставляет его часто забывать, что история есть поле свободы и борьбы. Добро и зло борются в мировом процессе через человека. В этой борьбе личность зачастую обречена стать жертвой бессмысленных социальных сил. Ее давит и губит не одна природа, но и история. И Бог ждет от нее сопротивления действующим в истории силам зла.

Соблазн Бердяева — признать разумность истории en bloc [3], заставив личность перед ней преклониться. Бог, который молчит для него в природе, говорит в истории — и не только через пророков, ее обличающих, но и через ее временных и грешных владык. Это соблазн оптимистического гегельянства, столь роко-

вой для русской интеллигенции, начиная с Белинского, через марксистов, до наших «пореволюционеров» всех оттенков. Монизм, от которого бежал Бердяев-философ, подстерегал его в истории. Не желая покоряться ни законам природы, ни авторитетам человеческим и даже Божественным, Бердяев склонил свою гордую голову перед историей, в одной из ее самых страшных и отвратительных фаз: перед коммунистической революцией.

Может ли этот политический, хотя бы и последний грех, заставить нас забыть о подвиге целой жизни, об исключительной духовной красоте и благородстве ушедшего учителя? Время скоро исцеляет политические раны. «Двенадцать» Блока не мешают уже нам почитать поэта, как Пушкин дорог нам всем, несмотря на «Клеветникам России». Н. А. Бердяев войдет навсегда в историю России как образ живого и страстного религиозного искателя и борца, как человек, впервые открывший Западу все богатство и сложность, всю противоречивость и глубину русского религиозного гения.

La geste du Prince Igor

1938 год, дата 750-летия «Слова о полку Игореве» (1188), вызвал к жизни в Советской России целую литературу изданий и переводов. Но вся она носит популярный характер. Последнее научное издание памятника, подводившее итоги вековому исследованию, дал академик В. Перец в 1926 году. С тех пор изучение древнерусской литературы и языка сделало большие успехи — и в России и за границей. Новый комментарий, новая попытка преодоления старых трудностей, противившихся усилиям целых поколений ученых, сами по себе оправданы. Но есть особое обстоятельство, которое положительно требовало нового издания. Как это ни покажется странным, до сих пор все издания «Слова» принадлежали историкам литературы, а не филологам-лингвистам. Знаменитый Потебня, хотя и гениальный лингвист, в сущности, тоже дал (1875) только литературный комментарий к «Слову» из запасов народной словесности. Но изучение древнерусского языка сделало огромные успехи как раз за последние десятилетия. Проф. Р. О. Якобсон, наследник замечательной русской школы филологов, является, вероятно, самым выдающимся лингвистом и филологом-славистом нашего времени. Ему удалось объединить группу ученых, русских и иностранных, в своем семинаре по изучению «Слова», которым он руководил в течение 1943–1946 гг. при «Институте Восточной и Славянской Филологии и Истории» Брюссельского университета. Изгнанный войной из Бельгии, Институт этот, во главе с директором Грегуаром, нашел приют в Нью-Йорке при французской Ecole libre des Hautes Etudes [1]. Этим объясняется французский язык книги, изданной в Америке и составленной преимущественно трудами русских ученых. И почин, и львиная доля работы принадлежат проф. Якобсону.

Юбилей «Слова», подобно римским триумфам, был бы непо-

лон без своего зоила. Французский славист А. Мазон [2] написал ряд статей, частью объединенных в книгу (1940), где он пытается доказать, что знаменитый русский эпос является подделкой конца XVIII века, отражая исторические и поэтические взгляды эпохи. Мазон возобновил атаку, которую вели против «Слова» ранние представители русской скептической школы 20-х годов прошлого века. Необходимость защиты «Слова» была, очевидно, одним из поводов нового издания, и этот апологетический или полемический тон не всегда выгодно отражается на составе и экономии книги.

Вот ее содержание. Сначала идут «Замечания» Якобсона о принципах критического издания «Слова», его переводов и реконструкции оригинального текста. За этим следует издание текста (Якобсона) с превосходным французским переводом Грегуара; указание и оправдание текстуальных изменений и конъектур (Якобсон); исторический комментарий (М. Шефтеля); опыт реконструкции «Слова» на языке XII века (Якобсона); переводы на английский язык (Е. Кросса), на современный русский (Якобсона) и стихотворный польский перевод Ю. Тувима. Заключают книгу две полемические статьи против Мазона: проф. Г. В. Вернадского «"Слово" с исторической точки зрения» и Р. О. Якобсона «О подлинности "Слова"». Последняя и по размерам своим (126 страниц) и по богатому содержанию составляет гвоздь сборника. Она прочтется с волнующим интересом не одними специалистами.

К сожалению, весь этот богатый материал подан в каком-то поэтическом беспорядке: читатель не сразу в нем разберется. Казалось бы, лучше было напечатать вместе группы текстов, примечаний и переводов, да, кстати, и перенести Postface [3] с историей самой книги на его настоящее место, как Préface. Гораздо серьезнее ощущается пробел подстрочного (или построфного) историко-литературного комментария, соответствующего превосходному историческому комментарию проф. Шефтеля. Весь огромный, собранный им историко-литературный и лингвистический материал проф. Якобсон использовал в статье «О подлинности». Но здесь распорядок его следует аргументации Мазона, а не порядку самого «Слова». Не сомневаемся также, что, если бы Якобсон в своем комментарии не был связан движениями противника, он мог бы осветить много вопросов, ос-

тавшихся в тени. Оставлена комментаторами без внимания и вся предшествовавшая история попыток истолкования «Слова», за исключением результатов, принимаемых настоящим издателем. Поэтому новое издание отнюдь не делает излишними труды предшественников, а скорее требует их помощи.

Каковы же положительные достижения проф. Якобсона и его сотрудников?

Нечего и говорить, что в конструкции Мазона не осталось камня на камне. Приходится только удивляться, с какими слабыми средствами предпринята была эта попытка, и даже сожалеть о той затрате труда, критической остроты и эрудиции, которые понадобились для опровержения таких легкомысленных гипотез.

Во-вторых, мы имеем впервые реконструкцию не только погибшей рукописи XVI-го века, но и оригинала XII-го века, реконструкцию, конечно, конъюнктурную, но осторожную и сделанную рукою мастера.

В-третьих, исторический комментарий М. Шефтеля, превосходящий полнотою и точностью все предшествовавшие.

В-четвертых, богатый филологический комментарий, который вставляет «Слово», несмотря на все его своеобразие, в рамку литературных и художественных течений его эпохи.

В-пятых, — и этот результат всего важнее для рядового читателя, то есть для каждого образованного русского — мы получили разрешение многих загадок «Слова», дразнивших воображение четырех или пяти поколений.

Изгнана, и кажется навсегда, из русского эпоса тень римского императора Траяна. Его место заняла легенда о Троянской войне, пленившей воображение поэта благодаря географическим ассоциациям: северное Черноморье — земля Троянская для средневековых географов.

«Седьмой век Троянов» окончательно расшифрован, как седьмое тысячелетие (без всякого Трояна), грозное эсхатологическими пророчествами. Впервые показан Якобсоном этот эсхатологический фон «Слова», на котором получает, наконец, свое объяснение и «дева Обида», дословно взятая из греческого апокрифа.

Одним из самых блестящих открытий Якобсона мы считаем введение Гомера, заменяющего отныне Траяна в классическом

наследии «Слова». Русскому ученому удалось убедительно показать, что всем известный пролог «Слова» является свободным подражанием греческому хроникеру Манассии, где имя Баяна заняло место Гомера. Так отчасти подтвердились домыслы кн. П. А. Вяземского, которые в его время казались чистыми фантазиями.

Наконец, особенно ярко выступает, благодаря совместной работе Якобсона и Шефтеля, полуисторический, полулегендарный образ Всеслава Полоцкого, занимающий так много места в «Слове». Якобсон предполагает древнюю былину, ему посвященную и известную автору «Слова» (проф. Г. В. Вернадский предлагает остроумную историко-экономическую гипотезу для объяснения популярности памяти Всеслава в XII-ом веке).

Как известно, единственная сгоревшая рукопись «Слова» давала во многих местах испорченные чтения, не знала разделения текста на слова, ни на предложения. Чтение первых издателей было чистой конъектурой. Темные и испорченные места доселе представляли главное преткновение для современного читателя. Поэтому всякое новое издание «Слова» предполагает работу над исправлением текста. Якобсон дает несколько десятков новых чтений, которые в большинстве случаев счастливо осмысляют бессмысленный текст, достигая это с минимумом изменений: иногда переменой знаков препинания, иногда новым разделением на слога, вставкой одной или двух букв, редко целого слова. Очень удачно чтение «поминем» (вм. почнем) в ст. 6 по счету Якобсона, «ночи мрькнет заря» (ст. 32), «камылы» (в ст. 62 и 63), «Донови» (вм. Дунаеви) в плаче Ярославны; чрезвычайно интересно и после первого отталкивания убедительно «съду ток» (вм. с Дудуток) в ст. 157, и многое другое.

Разумеется, элемент гипотетичности остается во многих новых (и старых) чтениях. Даже сотрудники Якобсона расходятся с ним в толковании некоторых мест: Вернадский в ст. 157 (сохраняя Дудутки), Грегуар в стихе 12. Лично мне кажутся искусственными и эстетически неприемлемыми чтение ст. 28-го (в стазби) и 156 (утреже вазни с три кусы»), также замена «поганую» на «праведную» в ст. 112. Я бы предпочел испорченный стих 56 «Кая рана дорога братие» изменить не в «Дая раны, дорога братие», а в «Кая рана дорогa брата» (т. е. оплакивая раны дорогого брата). Предпочел бы также по эстетическим соображениям (а,

может быть, и по консерватизму) оставить старое разделение на фразы в ст. 81–82 и 197. Не понимаю, почему проф. Якобсон так энергично протестует против олицетворения в толковании стиха 81: «кликну карна и желя поскочи по Русской земли» — ведь не из боязни же насмешек Мазона? Кажется мне также, что оба стиха о Мстиславичах (140–1) требуют (нетрудной) переделки; во всяком случае все переводчики дают смысл обратный буквальному чтению. Или же стих 140-й («непобедными») содержит в себе ядовитый укор вместо похвалы, что тоже возможно.

Но все это мелочи. После издания Якобсона «Слово о полку Игореви» утратило большую часть своих загадок. В изучении «Слова» это издание представляет не просто шаг вперед, но целую эпоху.

Из Postface мы узнаем, что в портфеле редактора имеется целый ряд чрезвычайно интересных материалов, которые должны составить второй, дополнительный том. Пожелаем же, чтобы материальные и типографские трудности не задержали его выхода в свет.

Народ и власть

Я не я, и лошадь не моя.
(Русская поговорка)

Стремление русских людей оторвать свой народ от коммунистической власти, представляющей его в глазах мира, естественно. Приближается час расплаты, и горька будет чаша, которую придется пить России за преступления ее властителей. Столь же естественно и нежелание или неумение иностранцев отделить русский народ от коммунизма. Эта операция логического отделения народа от власти представляет на практике трудности почти непреодолимые. Иностранцам мешает незнание, своим — пристрастие. Невежество иностранцев по части России всегда было потрясающим; оно сравнимо только с русским невежеством в вопросах Азии или Африки. Но русское пристрастие иногда переходит все границы. Те же люди, которые вчера делали весь немецкий народ ответственным за Гитлера, ни за что не согласятся отвечать за Сталина, ни лично, ни коллективно. Признание такой ответственности или даже связи между русским народом и его тиранами среди нас очень непопулярно в эти дни. Лет 20 тому назад оно, напротив, имело большой успех в значительной части русской эмиграции. Но ведь историческая истина не меняется так легко в зависимости от политической обстановки. Сказать, что коммунизм не имеет ничего общего с русским народом, значит сказать благочестивую ложь, очень выигрышную для оратора на русском политическом митинге, но смехотворную для всякой иностранной аудитории. На лжи, как бы благочестива она ни была, нельзя построить серьезной политики. На наших глазах Черчилль и Рузвельт на лжи построили стратегию второй мировой войны, но накликали на мир призрак третьей. Между тем всякое рассуждение о «вредности» или

опасности известных политических суждений о фактах является скрытым признанием предпочтительности лжи.

Чтобы взглянуть на нас самих, на современную Россию со всей возможной объективностью, поставим сначала общий вопрос об отношении народа и власти в истории всех цивилизаций. Мы говорим привычно: древняя Греция, Англия, Россия в эпоху Империи, даже и не задумываясь о том, как малы были те человеческие группы, которые представляли эти государства или эти народы. Несколько тысяч афинских граждан, и еще меньше спартанцев, говорят за всю Грецию перед человечеством. Но их общественные или художественные идеалы разделялись ли миллионами метеков, рабов и варваров, которые жили на территориях эллинских республик? Сомнительно. Многим ли больше было число англичан, имевших политические права в эпоху создания и расцвета Британской Империи? До XIX века Британский парламент был органом олигархии. Но кто вспоминает об этом всем известном факте, когда говорит о преступлениях английского империализма? Пример России особенно поучителен и нам лучше известен. У нас десятки тысяч помещиков из десятков миллионов населения одни принимали участие в жизни государства, служили ему, хотя и не управляли им. Это было «русское общество» наших историков. Правящий круг составляли, может быть, сотни семейств, для которых был открыт доступ к императорскому двору. Столь же ограничен был, хотя и не совпадавший с ним, круг носителей русской культуры. При Пушкине он почти исключительно совпадал с дворянским. Но кому, кроме фанатика Писарева, придет в голову отрицать национальное достоинство Пушкина? Пушкин был национальным поэтом и тогда, когда его читали только тысячи. Эти тысячи одни представляли нацию в культурном смысле слова. В политике это кажется сложнее. Не подлежит, однако, сомнению, что миллионные массы России имели весьма смутное понятие о целях и смысле международной политики своей страны. Для армий XVIII века, активно делавших эту политику своей кровью, типична солдатская песенка:

Пишет, пишет король Прусский
Государыне Французской
Мекленбургское письмо.

Очень немногие, даже в дворянском обществе, были посвящены в политику графа Нессельроде или Горчакова, еще менее сочувствовали ей. Тем не менее это была политика России, а не только «Петербургского кабинета», как было принято выражаться на старинном дипломатическом языке. Договоры, подписанные канцлером, были обязательствами России, их нарушение было бы противно чести России, хотя при заключении их никто не спрашивал мнения России.

Но, может быть, отсутствие протеста, пассивное приятие народом правительственной политики нужно считать ее признанием? На это нельзя ответить простым «да» или «нет». На примере России вскрывается вся сложность проблемы. Народ, несомненно, хранил верность царю, доходившую до религиозного обожания. Но так же несомненно, что он никогда не принимал законности крепостного рабства и всей новой, европейской культуры, на нем воздвигнутой. Пугачевщина свидетельствует о том, что народ думал о самом блестящем веке Русской Империи. Да и весь девятнадцатый век дрожал под непрерывными почти ударами крестьянских бунтов. На вопрос, отвечает ли русский народ за политику самодержавия, единственно правильный ответ таков: да, отвечает, ибо он отвечает за само самодержавие — отвечает и в добром и в худом, отвечает за угнетение Польши и за освобождение Болгарии.

Эта ответственность народа за власть кажется необоснованной, пока мы игнорируем третье понятие, перебрасывающее мост между ними: понятие государства. Никто не станет оспаривать, что государства представляются их правительствами, а не оппозицией, даже если за оппозицией стоит большинство страны. Государство даже в наши дни может обходиться без санкции народной воли. Опора государства на волю большинства принадлежит к самым новым явлениям политической жизни. Англия становится демократией на наших глазах — в XX веке. До Ллойд-Джорджа, кажется, имя демократа в Англии было пугалом. Что же, неужели лишь в XX веке английский народ стал ответственен за политику своих правительств? Народ отвечает за государство и косвенно за правительство, представляющее государство: отвечает или за то, что его одобряет, или за то, что его терпит.

В истории человечества демократии являлись редчайшим, хо-

тя и драгоценнейшим исключением. Династии или олигархии правили народами и говорили их именем – до 19, а то и до XX века. И никто не оспаривал их права, хотя всем было ясно, что решения кабинетов или монархов не диктовались волей народа. Поддержка власти en bloc, как таковой, хотя бы пассивная, хотя бы только претерпевание ее, делала возможным говорить о солидарности власти, государства и народа.

Наши славянофилы, как известно, обосновывали этически свою апологию самодержавия тем, что оно берет на себя и снимает с народа ответственность и грех власти. Наивное утешение! Как будто можно заслониться чем-нибудь от нравственной ответственности. Древнерусские книжники, согласно с Библией, учили, что Бог наказывает народ за грехи царя, хотя они же запрещали ему восставать против царя. Противоречие? Может быть, не столь вопиющее, если вспомнить, сколько есть форм противления злу, кроме прямого насилия: отказ от участия в нем, обличение тирана, вплоть до мученичества за правду. Писатели – современники Смутного Времени, в полном согласии с исторической истиной, сейчас забытой в России, объясняют его бедствия наказанием за опричнину и тиранство Грозного. Грех народа один из них видит в «безумном молчании», т. е. в пассивной покорности преступной власти. Мученичество митрополита Филиппа, обличения двух юродивых явно недостаточны, чтобы уравновесить предательство епископов, осудивших Филиппа, низость десятков тысяч людей, служивших в опричнине и извлекавших из нее выгоду. Народ, как и боярство, был жертвой Грозного. Но, может быть, кое в чем он и сочувствовал ему по мотивам классовой злобы или национальной гордости. По крайней мере, в массах своих он без ужаса и отвращения относится к Грозному царю.

Это моральное осуждение народа за грехи власти становится понятным, если вспомнить, сколько оттенков существует в сознательности нравственного акта и, следовательно, тяжести греха: есть грехи злой воли и грехи слабости, грехи вольные и невольные, грехи сознательные, полусознательные и, может быть, совсем бессознательные. Отрицать их, как это было в традиции старой русской адвокатуры, значит оскорблять свободу и достоинство человека.

Может быть, эта морализация претит кому-либо из читателей.

Многие, не одни материалисты, протестуют против внесения морали в политику. Я глубоко несогласен с этим взглядом. На политическом имморализме может вырасти только тирания. Больше всякого другого строя демократия нуждается в «добродетели», как это было ясно для Монтескье. Но я готов условно сменить нравственный суд на политический, на суд истории. Тогда возмездие представляется просто причинно-следственной связью. Последствия худой политики власти падают на весь народ, если в ошибках превзойдена известная мера. Дурное правительство приводит к разорению и нищете; агрессия вовлекает народ в тяжкие войны, в конце которых ждет призрак поражения и даже национальная гибель. Война, как и чума, не знает правых и виновных, умерщвляет женщин и детей, губит целые города — в наше время, может быть, с более слепой жестокостью, чем в средние века.

Я знаю, что историческая Немезида далеко не всегда совпадает с нравственным судом. Скорее это бывает исключением. Это случается, когда превзойдена обычная человеческая мера зла. Но именно тогда история становится осмысленной и возвышенной, как подлинная трагедия.

* * *

В какой степени эта общая связанность народа с властью и ответственность народа за власть применима к России и большевизму?

Несомненно, мы имеем здесь дело с одним из предельных случаев — наибольшей разобщенности между народом и властью, при которой может существовать государство. Народ в огромном большинстве теперь ненавидит власть. По своим корням, своей идеологии она представляется антинациональной. Она преследует цели международной революции. Она держится в последнее время только террором и личной заинтересованностью правящего слоя. Может быть, действительно, русский народ тут не при чем?

Это большой и сложный вопрос, и ответ на него требует расчленения. Быть может, сейчас уже всякое сопротивление невозможно или требует героизма сверхчеловеческого. Но всегда ли это было так? Невменяемый в настоящем (алкоголик) ответст-

венен за прошлое. Было время, когда он мог бороться с победившей его темной страстью, но поддался ей, хотя бы полусвободно. Корни русского рабства и безысходности заложены в самых истоках революции. 1917 год завязал петлю на шее народа, которая затягивается все туже год от года.

Стоит ли говорить о самой революции, которую готовили столетие, но которая разразилась тогда, когда почти никто не хотел ее, в момент страшной национальной опасности. Русская интеллигенция в массе своей воображала, что революция вообще — это счастливое событие, именины в жизни народов. Но историк знает, что революции — это тяжкие болезни народов, за которые дорого платят и от которых не всегда выздоравливают. Социальная болезнь, переведенная на язык этики, есть грех. Все мы знаем эти грехи старой России, и те из нас, кто сознательно жил, или начал жить в ту эпоху, несут ответственность за них. Монархия, давно прекратившая свою просветительную миссию, завещанную Петром, и ставшая тормозом в движении великой страны. Бюрократия, сделавшая политику делом личной корысти. Высшие классы, державшие народ в такой эксплуатации и презрении, которым не было равных ни в одной европейской стране. Церковь, выбросившая социальную этику из своего обихода и умевшая только защищать власть и богатство. Интеллигенция, живущая в мире книг и утопий, потерявшая связь с народной жизнью, но все время подрубавшая ее религиозные и нравственные корни. А сам народ — «единый ли безгрешный?» Потерявши в школе и новой индустриальной среде и Бога, и царя, он вступил в полосу нигилизма, которая называлась хулиганством в начале этого века и которая вылилась в пораженчество и пугачевщину на исходе тяжкой войны.

Если бы движущим мотивом революции 1917 года для народа была борьба за свободу и родину, как для интеллигенции, то было бы совершенно непонятно, как мог он так легко отдать родину немцам, свободу тиранам, да еще интернациональным беглецам, избравшим Россию ареной своей международной авантюры [1]. Но если представить 1917 год, в целом, как восстание массы против войны, за мир во что бы то ни стало, т. е. за похабный мир [2], тогда все объясняется. В России была только одна партия, да и в этой партии едва ли не один вождь, настолько бессовестный, чтобы заключить этот похабный мир; она и должна была

стать победителем. Революция делалась и завершилась дезертирами, которым было наплевать на Россию и свободу, но которые были не прочь пограбить под лозунгом социализма.

Революция зачалась в душе народа в момент злобы и исступления и рождалась на свет, как пьяная оргия. Все остальное было попытками прикрыть приличием французских слов наготу этого ужасного зрелища и задержать на несколько месяцев оползень России.

Часто говорят, что злоба и солдатская оргия 1917 года только накипь, свойственная всем большим историческим событиям, что побеждают в истории только положительные силы, что и в большевистской победе участвовали идеалистические факторы, которые в свое время проглядела демократическая интеллигенция. Так думают сейчас не одни большевики, но, может быть, и большинство антисталинцев внутри России. Ленин и Октябрь все еще окружены известным ореолом.

Как очевидец и историк, я хотел бы сделать одно разграничение. Я признаю наличие рабоче-крестьянского идеализма в борьбе за Октябрь, но только эти идеалистические силы начали действовать после того, как Октябрь стал уже фактом. В 1917 году большевистские герои и мечтатели существовали лишь в небольших группах рабочих, преимущественно рабочей молодежи, которая слабо влияла на события. Но в борьбе против белого движения они своею кровью отстояли Октябрь. Они стали стержнем Красной Армии и вместе с крестьянской молодежью, пришедшей еще позднее, стали строить Новый Мир, или то, что тогда называлось пролетарской культурой. Но даже и в победе Красной Армии над Белой решающим был не героизм, а полусознательный и почти цинический выбор крестьянства. И барин, и комиссар были ему ненавистны. Но поставленный в необходимость выбора, он предпочел комиссара. Зная все страшное будущее, которое его ожидало, он, может быть, не сделал бы этого выбора. Но выбор был непоправим. Когда народ пытался его поправить в Кронштадтском и Тамбовском восстаниях, было поздно. Он был уже скован по рукам и ногам.

В момент прихода к власти большевиков, за них была подана треть голосов на выборах в Учредительное Собрание. Меньшинство? Да, но такое же меньшинство было подано за Гитлера в последние свободные выборы в Германии. Эта треть была ес-

ли не лучшей, то, конечно, самой активной, воинствующей частью страны. Если бы две трети боролись так же энергично, как одна, никогда бы меньшинство не смогло победить. Ведь тогда в его руках не было всего страшного аппарата тоталитарного государства, который делает возможным и 10-ти процентам управлять всем народом. Террор-то был не только красный, но и белый. Если говорить о национальной ответственности, то две трети тоже несут ответственность за Россию. Есть грехи бездействия, неделания; не помочь утопающему, значит почти то же, что утопить его.

Но было время, когда и большевистская треть стала расти и, вероятно, обратилась в большинство. Конечно, этого нельзя доказать никакой статистикой. Но тот, кто жил в России в годы Нэпа, знает, как ослабела оппозиция коммунизму. Крестьянство, получившее землю и временно заслонившееся от власти, было положительно довольно. В течение немногих лет рабоче-крестьянская власть была действительно популярна. И вот тогда она могла позволить себе то, на что не решилась никогда ни одна революционная власть: произвести новую революцию — против крестьянства. Для этой цели она использовала антагонизм города и деревни. Недавно еще крестьяне посмеивались над голодающими дармоедами-рабочими, и эти дармоеды оружием добывали мужицкий хлеб. В 1929–30 годах масса рабочей молодежи была брошена в деревню, чтобы угрозами, пытками, убийствами и разорением загнать крестьян в новое крепостное рабство колхозов. В самой деревне удалось натравить на трудовое крестьянство так называемую «бедноту», которая с жадностью «разделяла ризы» ссылаемых в Сибирь семейств. Та же социальная зависть и злоба, направлявшаяся недавно против помещиков и «буржуев», превратилась во взаимное поедание трудовых классов. Из чугуна этой злобы только и могла быть вылита страшная машина государственного террора, а когда она была вылита, то не трудно было уже обратить в крепостное состояние и рабочих в ряде индустриальных пятилеток, истребить всю ленинскую партию и без огласки превратить старый революционный коммунизм в истинно-русский фашизм. Все это было сделано не по воле народа, но при его соучастии с использованием самых низких инстинктов его души. В этом и состоит зловещее отличие современных тираний от всех известных в истории. Новые де-

лают свое гнусное дело против народа, но через народ; они считают, что это дает им право называть себя демократиями.

* * *

В оценке большевизма и критики его и апологеты часто впадают в одно из двух противоположных заблуждений: или он рассматривается ими как наносное, чуждое России явление, как вампир, сосущий невинный народ, или как порождение народной стихии, цвет или плод всей тысячелетней истории России. Верно и то, и другое: интернациональный в своей первоначальной идее, большевизм обрусел в русской среде, став выражением страстей народа в годину его страшного падения. Но он никогда не мог обрусеть до конца, и вовсе не было написано в книге судеб, чтобы Россия должна была свалиться именно в эту яму.

Известно старое, немного схематичное, но все же не утратившее свою справедливость, противоположение: интернациональный коммунизм и русский большевизм. В двадцатых годах позволительно было надеяться, что русский большевизм преодолеет и съест коммунизм. Тогда было возможно советскому поэту с полным сочувствием восклицать устами своего героя-атамана:

Да здравствуют большевики,
Долой, нехай, коммунистов!

Эти надежды не оправдались. Победил коммунизм, приняв национальное обличье.

Ясно, что́ принадлежит к составу коммунизма: марксизм как основная идея (живая и сейчас, хотя и подвергшаяся ревизии); мировая революция (живее, чем когда-либо); «Интернационал» как русский гимн (отменен); техника и хозяйство (живут); борьба с национальной Русью (сменилась реставрацией Руси, но только черносотенной). Что в этом комплексе первоначального ленинизма было воспринято народной душой? За что народ несет ответственность?

Марксизм есть создание гениального немецкого еврея и нашел себе почву только в Германии и странах немецкой культуры. Единственное исключение — Россия. В девяностых годах Россия дала такую блестящую плеяду экономистов и историков-марксистов, какой не имела ни одна страна. Ленин был одной из звезд

второй величины в этой галаксии. И Россия же сделала свою революцию под знаком Маркса. Это не могло быть случайностью. Можно указать несколько элементов в марксизме, которые делали его соблазнительным для русского человека:

1. Материализм, прорвавшийся так бурно еще в 60-х годах и опять-таки пожавший такие лавры только в России. В народной толще его питательной средой был религиозный материализм, выражавшийся в чувственном восприятии сверхчувственного мира. Русский человек, среди других народов, наделен поразительной силой чувственности, становящейся пророческой у русских гениев (Толстой, Достоевский, Розанов, о. Булгаков). И хотя этот сенсуализм органического, а не механического порядка, он может лечь в основу всякого материализма.

2. Рационализм, лишь на первый взгляд противоречащий сенсуализму. В истории народов, как и в развитии личности, рационализм соответствует отроческому пробуждению мысли. Она мечтает легко и без само-дисциплины все понять, все окинуть взглядом, не оставив ни одной неразрешенной загадки. Она не терпит никаких осложнений и не признает никаких границ познанию. У Маркса это не было наивной простотой, а вторичным опрощением, грехопадением философской (гегелианской) мысли, подобным возвращению Пикассо к искусству негров. В России, проспавшей интеллектуально целое тысячелетие, рационализм есть первый лепет мысли. Интеллигенция ринулась по этой дороге с 30–40 гг., народ с начала этого века. Чрезвычайно опрощенный марксизм Ленина с привеском примитивного дарвинизма оказался как раз по зубам рабоче-крестьянской молодежи, всколыхнутой революцией.

3. Оптимистический детерминизм исторической философии марксизма. В прямом или вульгарном его понимании (не будем спорить) он снимает с личности бремя ответственности и нравственного суда. Личность не смеет бороться ни против своей среды, хотя и может переменить ее, ни против истории (пример Бердяева). Сливаясь с ее потоком, она чувствует себя необычайно сильной. Для нее нет никаких сомнений, что он вынесет ее, все человечество к утопии всеобщего счастья. Русским восприемником здесь было слабое развитие личного сознания и жажда уничтожения в коллективе: «Где народ, там и Бог». — «На миру и смерть красна».

4. С этим последним увлекающим моментом марксизма связан и пафос мировой революции. Библейское эсхатологическое сознание, напряженная жажда конца истории в атеистической цивилизации превращается в религиозный фетишизм революции – последней, всемирной. Это превращение, уже совершившееся в западном марксизме, который и вообще, по своей структуре, представляет обезбоженную иудео-христианскую апокалиптическую секту, идет навстречу эсхатологически-устремленной русской душе. Каяться ей придется не в эсхатологизме, без которого нет христианства, но в сектантском отрыве от реальности, в нетерпении и нетрезвости. Конечные идеалы приобрели у нас характер взрывчатых бомб.

Так и марксистский плен оказывается наполовину добровольным. Когда-то А. Блок со свойственным ему провидением обращался к Руси:

> Какому хочешь чародею
> Отдай разбойную красу.
> Пускай заманит и обманет...

Ну вот, русская Людмила, отвергнув бедного Руслана, отдалась Черномору, и седая борода Карла долго развевалась над взвихренной Россией.

От коммунизма переходим к большевизму.

1. Прежде всего, 1917–18 г. был временем великого (в смысле грандиозности) народного бунта, одного из тех, которые отмечали с постоянным ритмом каждое столетие московско-петербургской неволи: Смутное Время, Разиновщина, Пугачевщина, Ленинщина. Всероссийский «чертогон», говоря по-лесковски, давал выход застоявшимся, скованным силам. Смотря снизу, глазами мятущихся масс, Октябрь не был отрицанием Февраля, а его продолжением. Ненависть к войне сочеталась с застарелой ненавистью к барству, питаемой пережитками крепостного права. Они пронизывали почти всю русскую жизнь, особенно армию. Оказалось, что народ ничего не забыл и не простил. Его месть была слепой и часто несправедливой. Интеллигент отвечал за барина, социалист за капиталиста. Коммунизму, который поджигал стихийный пожар, стоило немало труда, чтобы потушить его и обуздать стихию. Зеленые атаманы долго сопротивлялись и белым, и красным генералам. Самое интересное то,

что стихия революции нашла отзвук — и какой! — в русской поэзии. Революция не только дала двух больших поэтов, Маяковского и Есенина, но увлекла за собой многих символистов, которым она была, казалось, органически враждебна. Брюсов нашел в ней своего Дьявола, а Блок последнее выражение падшей женственности (Катька). Поэты откликались на зов дикой воли; и там, и здесь говорит славянский Дионис, плохо скованный и христианством и культурой (Аполлон). Эти поэты переживут века, и я боюсь, что по ним потомки будут судить о русской революции. Не столько атаман Махно, сколько Блок и Есенин сделали Октябрьскую революцию национальной, т. е. грех ее всенародным.

2. Между разгулом большевистской стихии и коммунистическим террором, ее обуздавшим, лежит полоса революционной культуры, которую можно условно назвать прослойкой идеализма. Годы и десятилетия молодые поколения рабочих и крестьян с жадностью бросались к «свету и знанию» и строили с величайшими жертвами новую жизнь, как им казалось, лучшую и справедливую. Ради этого идеала они обагряли кровью свои руки, отождествляя его с восторжествовавшей тиранией. Самое содержание нового идеала — коммунизм — оказался связанным с очень глубокими основами народной этики. Не одна молодежь, но и вся масса, как и интеллигенция российская, были носителями этой этики. Русская этика эгалитарна, коллективистична и тоталитарна. Из всех форм справедливости равенство всего больше говорит русскому сознанию. «Мир», т. е. общество имеет все права над личностью. Идея-сила, пока она царит в типично-русском сознании, не терпит соперниц, но хочет неограниченной власти. Но сколько бы ни было правды в равенстве, красоты в личном самопожертвовании и даже в самодержавии идеи, весь этот комплекс в своей односторонности опасен и может принимать демонические формы. Такова была судьба общественного идеала в русской революции, повторившей во многом судьбу русской народнической интеллигенции. В России не раздался ни один голос в защиту частной собственности. Конфискация всей промышленности была воспринята не одними большевиками, как акт почти нормальный, и во всяком случае справедливый. Социализм, который никак не укладывается в американскую голову, без труда был принят в России, а не толь-

ко вколочен насилием. Русские беженцы говорят, что теперь в России социализм ненавистное слово. Вероятно это так и есть. Но, чтобы добиться такого результата, нужно было более 30 лет нечеловеческих мук. Только Сталину удалось внедрить в России психологические предпосылки буржуазного хозяйства.

3. Национальное чувство, подавленное в первые полтора десятилетия коммунизма, было реабилитировано в 30-х годах и сейчас сделалось одной из основ новой фашистской версии сталинизма. Оно доводится не то что до абсурда, но просто до глупости. В жертву ему принесено уже немало человеческих жизней за счет «космополитов» или «западников». Но, хотя за ним стоят палачи МВД, трудно сомневаться, что оно опирается на народное сочувствие. Первые, робкие всходы русского национализма после убийства Кирова, были оценены нами, думаю, справедливо, как уступки власти народу. Эта политика нашла через десять лет свою параллель в отношениях к Церкви — с той разницей, что после уничтожения ленинской партии национализм свил гнездо и в самом правящем классе. Слишком долго подавлялись всякие проявления здорового национального чувства, чтобы не вызвать реакцию. Читая нелепые проявления советского национализма, мы уже не знаем, что отнести на счет партийных директив, а что объясняется просто национальным психозом — такого же качества, как и другие его европейские разновидности. Удивительно ли, что советские историки с большой страстью, но без всяких доказательств, утверждают превосходство Киевской Руси перед Западом, если, случалось, и в эмиграции ученые проповедовали то же самое? Национальная мегаломания превращает в слепцов даже очень ученых людей. Amor patriae tollit ingenium [3]. После целых поколений интеллигентской всечеловечности Россия пошла, к несчастью, по немецкой дорожке. Об этом говорит и свободное русское слово, отражающее настроения как беглецов «оттуда», так и повальные увлечения старой эмиграции.

Особую форму, религиозную или псевдорелигиозную, русский национализм приобретает в христианском мессианизме. Это наследие старого славянофильства, за которое не большевики отвечают. Бердяеву нечему было учиться у Сталина. Этот тип национальной гордыни, паразитирующей на теле исторического христианства, уводит нас в древнюю Москву. Как не пове-

рить искренности московского патриарха, который стремится, пользуясь машиной советского террора, покорить себе под ноги весь православный мир? Блок и Бердяев оттенили другую черту русского мессианизма. Поэт назвал ее скифством, и все мы встречаемся с его проявлением в русском беженстве. Из унижения вырастают горделивые притязания. Это понятно, но не менее страшно. Таков был и роковой путь Германии...

4. Есть ли связь между тоталитарным государством Сталина и традициями русского самодержавия? Все иностранцы утверждают ее, большинство русских страстно отрицают. Конечно, мы знаем (чего не знают иностранцы), как сравнительно мягок был старый режим в его последние десятилетия. Но дело не в жестокости, которая свойственна революциям, а не ancien régime'ам [4]. Дело в вековой покорности, почти безграничном терпении народа, имевшем свои глубокие исторические корни. Народ способен на бунт, но бесконечно труднее для него повседневная борьба за право и свободу. В условиях тоталитарной тирании борьба за право, в конце концов, вообще становится невозможной. Но ведь эта тоталитарность пришла не сразу. И вот вероятно, а исторически вполне естественно, что в создании этой небывалой тирании архитектором был не один террор, но участвовали и вошедшие в кровь и плоть навыки векового рабства. Вспоминал же Ленин, когда готовился к захвату власти, что Россией управляли когда-то 40.000 помещиков — приблизительная численность его партии.

Народ сопротивлялся коммунизму, особенно интеллигенция, но, очевидно, недостаточно. А было время, когда это сопротивление имело шансы на успех. Многие народы в Европе — немцы, чехи — приняли новую тиранию с еще большей легкостью. Все же остается фактом, что нигде в мире тирания не доходила до той тоталитарности, как в России. Остается фактом и другое, — что структура фашистского государства, как и методы террора, созданы Лениным и были просто пересажены на европейскую почву.

Нельзя закрывать глаз на основное социологическое различие между западным и русским фашизмом (коммунизмом). На Западе он родился из кризиса демократии; уже много раз в истории тирания возникала из разложения демократии: в Греции, в Риме, в Италии Ренессанса, в революционной Франции. В Рос-

сии основной причиной победы коммунизма было отсутствие демократии. Там разочарование в ней, здесь ее девственное неведение. Наши судьбы не совпадают. Россия является сейчас соблазнительницей Запада, как раньше, в цветущий век демократии, Запад увлекал Россию. Большевистскую Россию можно было бы сравнить с Македонией или даже Персией в эпоху упадка греческой свободы. Греческие полисы сами тяготели к тирании на почве классовой войны. Но Македония и Персия давали готовые монархические формы для новой авторитарности. Эсхины [5] и Ксенофонты играли роль современных попутчиков. Так выросла мировая держава Александра и Рима, существовавшая полторы тысячи лет. Судьба, которая готовится и ныне западному миру, если он не сумеет преодолеть и внешней опасности и своих внутренних ядов.

* * *

Кое-какие соблазны коммунизма или фашизма еще сохраняют свою притягательную силу в России; национальная мегаломания, например. Но не ими держится власть. «Облетели цветы». Сталин, может быть, прав, веря только в две вещи: террор и деморализацию. Последнее и есть самое страшное. Мы только и слышим сейчас, что почти все население ненавидит советскую власть, но пытки МВД так страшны, и полицейская сеть так густа, что невозможны никакие проявления протеста. О, если бы было только это! Тираны прошлых веков довольствовались покорностью и молчанием. В эпоху революций молчание опасно — казнят и подозрительных. Нужно славить власть даже тогда, когда ее ненавидишь. Но Сталин пошел дальше. Он изобрел систему, которой не знало человечество. Он поставил своей целью заставить каждого гражданина совершить какую-нибудь подлость, чтобы раздавить его чувство достоинства, чтобы сделать его способным на все. Только эта цель объясняет многие фантастические явления русской жизни, которые без нее кажутся абсолютно непонятными. Полицейские и следователи всего мира, не исключая Гестапо, добиваются признаний в подлинных преступлениях или поступках. В СССР добиваются признаний заведомо лживых. Ради чего? Разве нельзя уничтожить человека и без всяких с его стороны признаний? Но палачи работают меся-

цами, чтобы добиться подписи под лживым и никому не нужным документом. Сломить раз и навсегда волю человека, осквернить его совесть, сделать его предателем, клеветником — вот цель. Такой уж никогда не сможет смотреть людям в глаза. Он сделает все, что мы от него потребуем. Таков дьявольский расчет. Вероятно, он не всегда оправдывается.

Другое чудовищное явление — это поветрие покаяний. Когда сменяется генеральная (т. е. Сталинская) линия культурной политики, целые секторы научной и художественной работы подвергаются публичному и поименному сечению, и позже от оклеветанных и смертельно замученных людей требуется акт самобичевания и отречения от своих идей. И здесь та же цель: раздавить морально писателя или ученого. Он слишком гордо носит голову; таково уж свойство его профессии. Он воображает, что служит науке или искусству. Он служит нам; он оплачиваемая государством проститутка, и пусть не забывает этого.

Есть люди, которые и здесь отказываются участвовать в общей подлости. Они выбирают молчание, нужду, ссылку, гибель близких. Имена немногих из них доходят до нас. Мы преклоняемся перед их страданиями; они дают нам силу жить. Но все тот же роковой вопрос: сколько праведников спасают Содом?

О, если бы четкая линия между палачами и мучениками могла быть проведена в России! Где кончается эта ненавистная власть и где начинается ее ненавидящий народ? Может быть, власть — это партия? Но партия, давно уже потерявшая свой идеологический костяк, почти растворилась в массе. Родственные, бытовые отношения связывают ее с беспартийными. У коммуниста можно порой сыскать даже защиту в случае политических неприятностей. Но, с другой стороны, партия облеплена густым слоем кандидатов, карьеристов, готовых на все, чтобы пролезть в ряды знати. Или власть — это МВД? Но как мало число действительных палачей сравнительно с массой вольных и невольных доносчиков. Кто охраняет заключенных в бесчисленных каторжных лагерях? По большей части, те же осужденные. Кто помогает чекистам и их собакам ловить беглецов? Окрестные крестьяне. Поистине трудно — возможно ли? — остаться непричастным злодеяниям власти, которая ставит своей целью сделать своим соучастником весь народ. Легче всего совесть у тех, кто находится на самом дне: у станков и за плугом, без мечты о вы-

движенчестве. Им разрешено молчание. Есть даже углы в России, где допускается и свобода слова: в лагерях смерти для тех, кто не помышляет о возвращении в мир. Но велика ответственность тех, кто по самому призванию своему поставлены на страже истины и свободы, но вынуждены отравлять и развращать сознание народа. Велика ответственность русского писателя, ученого, епископа. Самый тяжкий грех — грех патриарха.

* * *

Общая вина, общий грех. Без признания их нет духовного возрождения России. Без покаяния нет очищения. Конечно, возрождение государства мыслимо и на других путях, известных нам по новейшей истории Германии. Но какая от того радость? Германия не исцелилась от ядов фашизма после гибели фюрера. Ущемленное национальное самолюбие, вырастающее в гордыню, мстительность; безмерные притязания, разрыв с человечеством. Все эти опасности ожидают Россию, если она отвергнет сознание своей вины и будет искать виновных вокруг себя.

Но горе чужой стране, которая взяла бы на себя дело возмездия. Если можно карать отдельных преступников, — а кто, как не Сталин имеет право на первую виселицу? — то никто не смеет взять на себя наказание целого народа. У каждого народа достаточно своих собственных грехов, демократии тоже стоят перед судом. Самозванные же судьи сами становятся преступниками.

Если в политике есть место нравственным идеям, то во всяком случае не идее возмездия. Политическая мысль смотрит вперед, а не назад. По отношению к народам, развращенным тоталитарной тиранией, единственно возможная интервенция — та, которая ставит своей целью помочь их возрождению, а не карать их грехи. В начале последней войны это сознание жило у союзников. Они заявляли, что ведут войну с Гитлером, а не с немецким народом. Но потом чувство мести за разрушаемую Англию взяло верх, и немецкому народу уже не приходилось ждать пощады. Без всякой военной необходимости уничтожены прекрасные древние города, принадлежащие всему человечеству. Немцев загнали в подземелья, где они живут как троглодиты, помышляя снова о мести. В политическом отношении к Германии все время боролись две идеи, разрушавшие одна другую: идея

«перевоспитания к демократии» нейтрализовалась мыслью о возмездии, — все еще вешают военных преступников на пятый год мира. В результате, настоящее Германии мрачно, будущее смутно.

Вспоминается другая победа коалиции европейских народов над народом и тираном, который был ненавидим в свое время не меньше Гитлера. Франция, конечно, была ответственна и за революцию, и за Наполеона. Но союзники забыли прошлое и дали ей хартию свободы, не слишком роскошную, но с которой она могла начать новую жизнь. Франция не помышляла о реванше, тень Наполеона преследовала только лирических поэтов, и Европа могла наслаждаться длительным миром.

Великодушие победителя — дело не только его сердца, но и мудрости. Вот почему отделение народа от его преступной власти — невозможное исторически и этически — является политической необходимостью: не в порядке сущего, а должного, особенно для сторонних или даже враждебных наций.

О гуманизме Пушкина

Не всем и не во всем может помочь Пушкин. Блоку, пожалуй, он уже не мог помочь, как и большинству модернистов нашего фашистского и предфашистского времени. Им нужны иные, более могущественные средства, чтобы спасти их от разложения. Но я принадлежу к тому поколению, или душевной формации, для которых Пушкин еще не утратил своей целительной и возрождающей силы. В часы тоски и отчаяния, сомнений в человеке и человечестве мы раскрываем Пушкина, все равно на какой странице, и медленно пьем — как назвать этот напиток? — не воду, конечно, но и не вино, — а какой-то божественный нектар, который вливает успокоение, надежду и любовь к человеку. Словом, Пушкин для нас это то, чем был для Тургенева русский язык, уже не целительный для нас с тех пор, как мы узнали всю ту меру или безмерность лжи, какую он способен нести в мир. Но Пушкин жив, и пока он жив, еще не умер гуманизм, ибо Пушкин и есть наш великий гуманист, в каком-то смысле, может быть даже единственный.

В последнее время — вероятно, с легкой руки Горького, а может быть, и под влиянием русского народничества — слово гуманизм у нас утратило свой настоящий смысл и стало употребляться как синоним гуманности. В этом понимании гуманистами оказываются и Некрасов и Глеб Успенский, т. е. люди, гуманизму совершенно чуждые и даже враждебные. Слово гуманизм родилось в Италии в XV столетии и всегда употреблялось для обозначения культуры Ренессанса, или всей, или одного из ее аспектов, преимущественно литературного. Но что может быть более чуждого гуманности, чем великолепный и жестокий век Леонардо да Винчи или Борджиа? Без всяких объяснений и доказательств предлагаем такое краткое определение: гуманизм есть культура человека как творческой личности. Это покроет все —

от Петрарки до Бердяева. Но человек, как страдающее существо, нуждающееся в спасении, каким он дан в христианстве и в старом социализме, не человек, «преследующий свое счастье», каким его видит буржуа, а человек, создающий ценности — вот человек гуманизма.

В России струя гуманизма всегда была чрезвычайно слабой. Рядом с Пушкиным, но, конечно, на большой дистанции, можно назвать разве одно большое имя, Вячеслава Иванова. Не случайна и связь обоих с классической древностью; едва ли возможен гуманизм вне предания Греции. Но если бы даже мы имели одного Пушкина, мы не смеем роптать: живет же англосаксонский мир с одним Шекспиром!

Приглядимся пристальнее к гуманизму Пушкина: из каких элементов составлен его драгоценный сплав?

Несколько лет тому назад, когда мне пришлось писать о Пушкине, я напал на одно стихотворение, где поэт сам дает совершенно точное определение своего миросозерцания. Это всем известный Демон («В те дни, когда мне были новы...»).

Когда возвышенные чувства,
Свобода, слава и любовь
И вдохновенные искусства
Так сильно волновали кровь...

Демон (Раевский?), который искушал его тогда, отрицательно утверждал ту же систему ценностей.

Он звал прекрасное мечтою;
Он вдохновенье презирал;
Не верил он любви, свободе...

Формула Пушкина четырехчленна: слава, свобода, искусство и любовь. Демон отрицает три из них. Понятно, что он не отказывается от славы. Гордость и похоть власти составляют самую основу демонизма. Слава — это единственное, что и фашизм оставляет от ценностей гуманизма, и что дало Муссолини ложную претензию считать себя преемником Ренессанса. Для Пушкина характерно то, что он, в своей ясной цельности, не желает ничего уступить демону. Отрицать гуманизм для него значит «искушать Провидение». Иначе Лермонтов. Его демон говорит о себе, вслед за Байроном: «Я дух познанья и свободы», и этим начинает роковой раскол в мире ценностей, взорвавший русскую культуру.

Четырехчленная формула Пушкинского гуманизма может показаться искусственной. Я предлагаю читателям проверить ее на любом из созданий Пушкина, — предварительно дочитав до конца эту статью.

Какое место занимал Пушкин в истории гуманизма вообще? Итальянский Ренессанс выше всего поставил славу и творчество. Любовь досталась ему по наследству от средневековья: Петрарка связан крепко с Данте и трубадурами Прованса, которые изобрели любовь. О свободе мало помышляли гуманисты, скитавшиеся по дворам тиранов. Свобода, столь обаятельная для Пушкина и его современников, есть дитя XVIII века, как французской революционной, так и германской, гуманистической его традиции. В послепушкинской России Лермонтов и Гоголь отказались от славы и этим нанесли Империи первую смертельную рану. Радикализм 60-х годов пытался убить всех четырех Пушкинских богинь, как и самого Пушкина. Не без труда они воскресали одна за другой, в борьбе и примирении с ценностями других, негуманистических порядков, пока, наконец, большевизм не покончил со всеми... кроме славы. Верный своей фашистской природе, он возродил лишь культ империи и войны (Суворов, Кутузов и проч.).

Но вернемся к Пушкину. Действительно ли служением четырем богиням — Славе, Свободе, Музе и Любви — исчерпывается его отношение к миру и жизни? Конечно, нет. Ведь их мы находим и на Западе, во французском романтизме, напр[имер], но в совершенно иной тональности. Сами по себе, они совместимы с горделивой отъединенностью творческой личности (Байрон), с олимпийским презрением к жизни простых людей (Гете), даже с острой ненавистью к их быту и судьбе (Ницше, Блок). У Пушкина мы дышим особенным, ему свойственным, воздухом великодушной человечности, которая близка уже к гуманности XIX века, хотя и не совпадает с ней. Ведь написал же Пушкин о своем «Памятнике», т. е. на своем памятнике:

Что чувства добрые я лирой пробуждал...
И милость к падшим призывал.

Добрые чувства (т. е. этика человечности) и милость к падшим не были главным для поэта. Почти никогда они не были и темой или содержанием его поэзии. Упоминает он о них в «Памятни-

ке», только становясь на точку зрения «народа», который будет его читать. Но они были тем незримым этическим фоном (а у всякого искусства есть свой этический фон), на котором легко и непринужденно возникали создания его музы.

Милость к падшим, т. е. сострадание, у Пушкина всегда соединялось с сорадованием, как соединялись они еще у апостола Павла, но очень часто разлучались в поздней христианской традиции. Сорадование, пожалуй, было ближе сердцу Пушкина, чем его печальная сестра — темы пиров, дружбы, лицейских годовщин. Но в «Повестях Белкина», в «Капитанской дочке» находим то внимание, то участие к судьбе маленького или оскорбленного человека, которым будет потом жить чуть не вся русская литература XIX века. Пушкин не проливает слез, не пронзается до глубины зрелищем человеческих страданий, как Достоевский или Некрасов. Страдания не омрачают для него основной благости и красоты мира, но он не закрывает на них глаз и подходит к ним со вздохом дружеского участия. Невозможно представить себе лицо Пушкина искаженным презрением и ненавистью к человеческому роду, каким больны почти все писатели нашего времени. Читая их, слишком часто чувствуешь, что автор хочет плюнуть вам в лицо. Пушкин если и ненавидел, то одних подлецов. И сама ненависть его легка; он не мечтает об убийстве, с него достаточно и эпиграммы.

От острой, жгучей ненависти своих западных современников (якобинцев, Байрона) Пушкин рано вернулся к тому своему у нас неповторенному гуманизму, который позволительно назвать христианским. В этом и заключается в сущности простая разгадка его тайны. В последние десятилетия у нас грешили против Пушкина, пытаясь объяснить его «тайну». Многие авторы хотели сделать из него глубокого христианина, иные — даже мистика. Пушкин, как поэт — эхо, откликался на все; не мог пройти равнодушно и мимо образа Мадонны или даже литургической поэзии Церкви. Но, увлекаясь его немногочисленными библейскими поэмами, не забудем, что он перелагал и Коран. Читая его «Монастырь на Казбеке», не будем думать, что вчерашний вольтерьянец серьезно собирался окончить свою жизнь в монастыре. Но что он глубже, чем Гете или даже Шекспир, способен был чувствовать раскаяние, это бесспорно («Когда для смертного...»). Что он дышал более чистым и крепким христианским

воздухом, чем его западные собратья, не пережившие «обращения», это тоже не подлежит сомнению.

Эти христианские влияния, умеряющие его гуманизм, Пушкин почерпнул не из опустошенного родительского дома, не из окружающей его вольтерьянской среды, но из глубины того русского народа (начиная с няни), общения с которым он жаждал, и путь, к которому сумел проложить еще в Михайловском. Невзирая на холод целого века Просвещения, подпочва русской жизни была и долго еще оставалась религиозно-горячей, и этого подземного тепла было достаточно, чтобы преобразить гуманизм Пушкина. В своем сознательном мире Пушкин всегда был западником, или, по Достоевскому, всечеловеком. В подсознании он воспринял от своего народа больше, чем кто-либо из его современников. Только это и позволило ему стать великим национальным поэтом не Московии, не Руси, но России.

Две или одна

Когда мы, эмигранты Октября, строили планы освобождения России, мы невольно становились жертвами одной исторической иллюзии. Мы проводили сравнения между нашей анти-большевистской и старой, анти-императорской эмиграцией, скажем, эпохи Герцена или заката Народной Воли. Как тогда, главной задачей было найти путь к новой России, главной болью — молчание России, ее апатия, ее покорность. Мостом между прошлым и будущим должно быть воспитание нового поколения в свободолюбивых идеях отцов.

Для нас это новое поколение было дано в эмигрантской молодежи, выросшей в изгнании. Мы старались воспитать ее в верности России и любви к свободе. Трудились много, упорно, но бесплодно. Одни из детей растворялись в окружающей культуре высоко цивилизованных стран, и это были не из худших — более тонкие, талантливые, с умственными запросами. Другие, более стойкие, но духовно грубее, становились в большинстве своем жертвами фашизма. Будущая Россия рисовалась им, как страна царя или вождя, с тоталитарной идеологией и «жестокой» властью. Свобода для них был звук пустой. Так мы и не дождались своей смены. Вечная русская драма отцов и детей повторилась на наших глазах. Неудивительно, что многие не выдержали ледяного молчания России. Люди размагничивались политически и духовно. О них можно сказать по Некрасову:

Не предали они. Они устали
Свой крест нести.
Покинул их дух гнева и печали
На полпути.

Смена пришла неожиданно, с той стороны, откуда мы ее не чаяли! Россия двинулась на нас не отдельными беглецами, но

сплошной массой; она затопляет нас, оглушает своим криками, будит, зовет к борьбе. Какое счастье!

Вот уже третий или четвертый год идет с конца войны и нового исхода, но трудно привыкнуть, трудно освоиться с новым фактом нашей жизни. Мы не одни, Россия пришла, мы с ней. Она говорит на наших митингах, издает политические газеты, свидетельствует потрясающим голосом на процессе Кравченко [1]. Железный занавес прорван. А поток людей, «выбравших свободу», не иссякает. Бегут по земле, летят по воздуху. Клянутся в ненависти к тиранам, готовятся к борьбе.

В такие дни заниматься взаимной критикой, сводить счеты — занятие чрезвычайно вредное. Разумеется, различие опыта, суровая, но иная школа жизни, наложила на всех нас свою печать. Жизнь в советском рабстве, как и жизнь в эмигрантской пустоте, не проходит даром. Мы все несем в душе, а то и на совести, свои мозоли, рубцы и даже язвы. Будем терпеливы друг к другу и подивимся благодарно тому, что, невзирая на разную судьбу и тридцатилетнюю разлуку, мы сошлись на одной общей воле и одной надежде: свободы для своего народа, для всех народов России.

Если смотреть на нашу встречу как на встречу двух поколений, то у обоих есть свои преимущества и, конечно, свои пороки (каждая добродетель, как известно, имеет свой, ей суженый, порок). У них большая воля, характерная для советских людей, вынесших тяжесть тысячепудового молота, большое знание России, большая непримиримость. У старых — больший политический опыт и знание Западного мира. Эти преимущества не абсолютны. С каждым годом новые входят глубже в западный мир и понемногу отстают от быстрого бега русской жизни.

Да и кто же может говорить от имени России? Если и вообще живой народ не являет никогда сплошного единства, но живет во множестве личных мнений, верований и воль, то народ, живущий во мраке современной тоталитарной ночи, представляет загадку даже для самого себя. Там, где каждый скрывает свои заветные мечты от друзей и соседей и никто не говорит правды, там нет и возможности судить «об общественном мнении» страны или о воле народа. Лишь в действии порабощенный народ может явить свою волю.

Наша очередная задача, необходимое условие общей борьбы с

врагами народа, — спаять, срастить обе эмиграции, как срастается живая ткань организма после пореза или разрыва. Эта задача облегчается тем, что в среде новых встречаются разные поколения, не одни мятежные дети Октября, но и люди, подобно вам, выросшие в культуре старой России. Но и среди нас есть люди разного «эмигрантского возраста», те, кто помнит Россию 1917-го, двадцатых и даже тридцатых годов. И между ними есть свои счеты, связанные с этим политическим возрастом. Пора забыть о них. Раны психологии лечатся логикой и этикой. Политика, достойная этого имени, питается и той и другой.

Что мешает нам всем, без различия новых и старых — это проклятый русский анархизм, не способный к самоограничению ради общего дела. Но анархизм есть детище деспотизма и вместе с тем его источник. Русское самодержавие и русское бунтарство — разные имена для того же исторического излома народной души. Там, где невозможен сговор свободных людей, умеющих пожертвовать частью своей свободы для общего блага, там государство, царь или тиран, устанавливает единство насильственно, единство без свободы. Ибо общество не может существовать без единства и мирится скорее с порабощением, чем с безвластием. Таков горький опыт всей жизни.

Сейчас в эмиграции нам даны последние годы для сговора демократических сил, который покажет, способна ли Россия осуществить народоправство после свержения ненавистной власти.

В этом сговоре сейчас главные две стороны — это две эмиграции. В возникающих повсюду новых политических объединениях главная тема — сговор старых и новых антибольшевистских сил на общей политической платформе. Всякая удача в этом объединительном процессе есть победа над силами анархии и тирании, как бы скромны и самоочевидны ни казались результаты этой работы, закрепленные в политической платформе.

Христианская трагедия

Более или менее все согласны, или были недавно согласны, что трагедия — высшая форма искусства. Что такое трагедия? Все определения обманчивы, но, когда мы сознаем свое бессилие, то обращаемся к Аристотелю, и старик редко бросает нас без помощи. Его определение трагедии всем известно: трагедия есть драматическое действие, в котором зритель переживает чувство ужаса и сострадания и достигает очищения этих страстей. Лучше не скажешь, можно только пояснить. Ужас и сострадание вызываются не зрелищем стихийной катастрофы, но гибелью героя, внутренне необходимой. Иначе не может быть и речи об очищении. Герой может не быть добродетельным, может быть злым (хотя не до последнего растления совести), но он должен быть сильным, чтобы чувство ужаса было свободно от презрения. Трус не может быть героем трагедии. Гибель героя обусловлена неизбежным конфликтом, борьбой со злом в его ли собственной природе или в окружающем мире. И в этой борьбе его силы достигают предельного напряжения и величия. Все это условия очищения.

Эпос, в старинном значении слова, часто притязал на первую роль в классической эстетике. Гомер был долго соперником Эсхила, хотя сейчас кажется окончательно побежденным. Но замечательно, что содержание великих национальных эпопей почти всегда трагично. Они чаще повествуют о гибели любимого героя, чем о его победах. Таковы Ахилл, Зигфрид, Роланд. Иногда герой и спасается после долгих и тяжелых подвигов и страданий: Одиссей, Эней, князь Игорь. И все же чувствуется, что счастливый конец несколько умаляет значительность эпопеи.

Откуда эта эстетическая необходимость рокового конца? Думаю, не от жестокости слушателя (позднее читателя), отразив-

шейся и во вкусах римской публики, жадной до гладиаторских зрелищ, и в современной американской литературе с ее murder mysteries [1]. Но перед лицом смерти раскрывается истинное лицо человека. Один обращается в дрожащую тварь, другой вырастает в героя. Смерть — великая учительница не только мудрости, но и мужества, не только философии (по Зиммелю [2]), но и доблести. Прав Пушкин: «верит мир лишь доблести, запечатленной кровью».

Никогда не превзойденная трагедия была создана языческой Грецией. Достаточно выяснены ее религиозные корни. Это не есть трагедия чистой человечности. Всеми своими истоками, темами и лирическим фоном она погружена в мир религиозной мистерии. Под светлым, но слишком человечным (или бесчеловечным) небом Олимпа Греция молилась другим, таинственным и страдающим богам. Умирающие и воскресающие боги обещали посвященным спасение от страданий мира и вечную жизнь. Фракийский Дионис, растерзанный титанами, сделался богом афинского театра, к праздникам которого приурочивались трагические (и комические!) зрелища. До наших дней не сохранились первоначальные формы дионисовской драмы, где являлся сам бог со своей свитой сатиров и вакхантов. Дошедший до нас греческий театр выводит на сцену героев-людей, в своей жестокой судьбе повторяющих пассии Диониса. Это его маски или личины. Такова, по крайней мере, господствующая теория происхождения греческой трагедии, не опровергнутая пока ни новыми открытиями, ни новыми домыслами.

Но поскольку человек, а не бог становится героем трагедии, ее содержание существенно меняется. Герои гибнут без воскресения, и чем сильнее их дух, тем беспощаднее они уничтожаются роком. Боги могут преследовать или защищать их, но бессильны спасать от власти рока, который царит и над самими богами. Здесь, в трагедии, находит свое выражение глубокий пессимизм греческого мироощущения, только прикрытый одеждой аполлинической культуры. Здесь получает свой исход «древний ужас» и очищается в созерцании величия обреченного героя. Действительно, силам рока, богам и демонам противостоит только достоинство человека. Его одного достаточно, чтобы возвыситься над созерцанием безысходности нашей судьбы. Древняя трагедия есть трагедия рока. Единственным исключе-

нием представляется Антигона, где силы рока представлены злой социальностью, властью земного тирана. Вся божественная правда воплощена в Антигоне; силы, губящие ее, лишены религиозного авторитета. Вот почему для нас это самая легкая из античных трагедий. В ней мы дышим почти христианским воздухом.

* * *

Умирающий и воскресающий Бог составляет основной догмат христианства, его первичное откровение или опыт. По отношению к нему все остальное догматическое богословие является раскрытием или надстройкой. «Мы исповедуем Христа распятого», — говорит ап. Павел. Нужно прибавить «и воскресшего», ибо он же сказал: «Если Христос не воскрес, суетна вера ваша». Забывая о воскресении, говорили, что тень от Голгофского креста протянулась через всю историю. Мы все живем под тенью или под сенью креста. Для людей нашей культуры оказалось легче отречься от Бога, чем от креста. По крайней мере, крестной трагедией отмечена и наша, в общем безбожная, эпоха. Стало трудно поверить в воскресение, но Голгофа есть опыт большинства современных людей, сохранивших в себе образ человеческий. Трагедия, заключенная в самом сердце новой религии, сообщает всей «новой» эпохе и ее искусству ту остроту и глубину, перед которой гармоническое искусство античности кажется чуть-чуть пресным даже для немногих еще верных его поклонников.

Слишком часто мы слышим, что религия распятия и креста составляет сердце католичества, тогда как православный Восток живет верой в воскресение (или преображение, как стали говорить у нас со времен символизма). Здесь справедливое наблюдение выражено с крайним преувеличением. В действительности, разница скорее в оттенках. В христианстве нет распятия без воскресения и нет воскресения без распятия. Разрыв между ними означал бы духовную катастрофу. Конечно, на распятиях Византии и древней Руси мы не видим той смертной муки, которая поражает нас на крестах западного средневековья. Конечно, восточные подвижники не знали самобичевания и избегали кровавых форм аскезы, предпочитая «постничество» и «сухое»

умерщвление плоти. Верно и то, что Западная церковь не обставила праздника Пасхи той ликующей торжественностью, какой сумела окружить его церковь Восточная. Но ведь «светлой» неделе предшествует «страстная», и некоторые ее службы в своей пронзительной трагичности не уступают дионисическим восторгам Дамаскина. Многие люди с религиозным вкусом даже предпочитают их.

Возможно, те из нас, кто бывает в церкви раз в году, на пасхальной заутрене, легко могут поверить тому, что православие — религия воскресения. Но те, кто переживает весь церковный круг, или те, кто знакомится с православием по его аскетико-мистической традиции, те знают, какой страшной ценой куплены пасхальные ликования.

Впрочем, в нашей послепетровской церкви нечувствительно сгладились многие отличия западного и восточного христианства. Католические и православные распятия теперь мало отличаются друг от друга. Человеческие страдания Иисуса острее переживаются сейчас религиозными людьми, чем переживались нашими предками. Святитель Тихон в XVIII-м веке проводил часы медитации перед изображениями отдельных моментов страстей Христовых (не иконами) явно западного происхождения.

Думаю, мало у кого вызывает возражение мысль, что крест есть основа и сердце христианства. И в самых разнообразных формах этого символа, греческом — равноконечном, русском — осьмиконечном, еще различимо первоначальное Т, орудие позорной казни, виселица, на которой повешен был Спаситель мира. Правда, уже много веков как христианский мир, слишком привыкший к символу виселицы и к страшной реальности Голгофы, научился эксплуатировать святую кровь для своего земного комфорта. Люди устраиваются на Голгофе, как они устраиваются на Везувии. Под сенью креста создаются империи, накопляются богатства, освящается рабство, благословляется ветхозаветная семья и вся почти языческая цивилизация. Многие христиане стали думать, что Христос поднялся на крест, чтобы избавить нас от наших крестов. Нет ничего более противного и духу и слову Евангелия. «Радость», которую обещал Христос своим ученикам, есть «радость — страданье», достижимое лишь для тех, кто идет Его путем. Об этом могут забывать массы (особенно привилегированные и счастливые), но никогда не забывали

духовно-чуткие. Сектанты протестовали против обмирщения Церкви; святые старались осуществить идеал христоподобной жизни в своей собственной; христианские пророки звали к Царствию Божию путем крестным. Истинный художник носит в себе пророческое вдохновение. Что же открыли нам христианские поэты о тайне трагедии креста?

* * *

Нужно сознаться: немного. Где они, христианские трагики, достойные Софокла и Эсхила? Их нет, по крайней мере, в области театра, то есть трагедии в собственном смысле слова. Трагедия нового времени, Шекспира, французского классицизма или немецкого романтизма, не является в основе христианской. Поскольку она не питается воспоминаниями античности, это трагедия человека эпохи гуманизма, оставленного Богом или оставившего Его; трагедия характеров, страстей, конфликтов и неизбежной гибели личности в этом смертном мире, трагедия не христианская прежде всего потому, что не религиозная. И не религиозная не в том смысле, что в ней действуют не божественные силы и не сознательные религиозные мотивы, а в том, что причины ее почти без остатка сводятся к моральным и имморальным мотивам, не оставляя места для религиозного вопрошания. В этом смысле новая трагедия менее религиозна, чем греческая, менее религиозна, ибо более моралистична.

Христианское средневековье было великой эпохой. С ним связаны почти все культурные ценности, которыми мы живем. Оно создало и великое искусство, преимущественно пластическое. Пыталось создать и религиозный театр, выраставший из литургии, как и в языческой Греции. Литургический театр знала не только католическая церковь, но и православная. Самая известная из византийских драм приписывалась Григорию Богослову и носила заглавие «Страсти Христовы». Следовательно, по заданиям это должна была быть, как и на Западе, христианская трагедия. Но нигде она не подымалась над посредственностью, не достигала хотя бы такой высоты, на которой стояла средневековая лирика или роман. В X столетии Хросвита, аббатисса Гандерсгеймская из династии Оттонов, лучшая писательница своего времени, писала латинские трагедии из жизни мучени-

ков, подражая Плавту и Теренцию. Это были лишь школьные упражнения.

* * *

Многие говорят: да, христианской трагедии нет и быть не может, и это вытекает из самой возвышенности христианской религии, которая не оставляет места ни року, ни неоправданным страданиям. Вера в Провидение несовместима с трагическим ощущением жизни. Но ведь в сердце христианства поставлен крест! И на этом кресте Богочеловек воззвал: «Боже мой, зачем Ты меня оставил?» Это ли не трагедия и не источник всех христианских трагедий? Ведь «чашу, которую Я пью, будете пить и вы». И действительно, христианская трагедия существует, но она создалась в самые последние времена, на исходе второго тысячелетия христианской истории. Это один из величайших парадоксов нашей культуры. Один из тех, понимание которого дает ключ к нашей общей судьбе.

Почему христианская трагедия или, что одно и то же, трагичность христианства были осознаны так поздно?

Тому были серьезные причины догматического порядка, из которых я укажу две.

Одна из них, действительно, заключалась в долго господствовавшем — не знаю, сказать ли оптимистическом или бесчеловечном — учении о Провиденции. Оно древнее христианства; в сущности, это стоическое представление, лучше всего выраженное в словах Цицерона: Providentia Dei mundus administratur [3]. Мир управляется Богом как всемогущим монархом вселенной, и в целом и во всех своих частях. Все направляется ко благу, несмотря на видимость беспорядка и зла. Зло кажется нам таким потому, что мы видим лишь часть картины вместо целого. Видим только освещенное солнцем (вернее, погруженное во тьму) полушарие вселенной. Здесь все нити без начала и без конца. Они получают свою развязку и свой смысл в том мире, который начинается после смерти. Там караются грехи и награждается добродетель. Если правда торжествует всегда, хотя, быть может, не на этом свете, где тут место трагедии? «Праведный радуется справедливости», — говорил бл. Августин, а за ним повторял Фома Аквинский. Правда, в этой предустановленной гармонии есть одно уязви-

мое место — гибель грешников, и притом вечная гибель. Августинизм должен был забыть о том, что «Бог не хочет смерти грешника» и что двойная вечность — ад и рай — не может быть угодна Ему. Бог не может «радоваться» такой справедливости, если даже праведный фарисей ей радуется. Но в богословских системах, где любовь Божия отступила на задний план перед правосудием и всемогуществом, легко забывают о жертвах мировой гармонии. Какова теология, таково и благочестие. Построенное на страхе Божием и морали добрых дел, оно делает человеческое сердце неуязвимым для трагического жизнеощущения. Если сострадание случайно проникнет в это святилище спасительного страха, оно, лишенное надежды, увядает, прежде чем начать разъедание монолитного ужаса. «Dies irae» [4], конечно, вселяет страх и ужас, но без сострадания невозможно «очищение этих страстей». Эти наблюдения относятся к раннему средневековью (как и к Византии). Но даже и Данте, лишь слегка затронутый францисканской духовностью, в основе чужд трагического мироощущения. Он, способный презрительно оттолкнуть ногой осужденного, цепляющегося за него из своей огненной реки, не чувствует сострадания к низким обитателям своего ада. Лишь при встрече с Паоло и Франческой, и в немногих других местах, где светский кодекс морали слишком резко сталкивается с церковным, сострадание проникает сквозь кольчугу теологического разума и систематика возмездия окрашивается трагически.

Не следует думать, что эта теология умерла со средними веками. Она еще живет в школьных системах, в наших катехизисах. Недаром митр. Антоний требовал в катехизисе Филарета [5] исключения «вседовольный и всеблаженный» из числа предикатов существа Божия. Но там, где Бог «вседовольный», в мире, Им созданном, нет места трагедии.

Другая догматическая причина бестрагичности средневекового христианства — порядка христологического. Несмотря на торжественно утвержденный Халкедоном (451 г.) догмат совершенной человечности Христа, для людей средних веков Его человечность было так же трудно принять, как для людей Просвещения Его божественность. Привкус монофизитства остался во всей литургической поэзии и искусстве Византии. У нас на Руси один из самых известных книжников византийской шко-

лы, Иларион, митр. Киевский, в своем Исповедании веры писал: «Вижу Его распятого и радуюсь». Он радуется, конечно, потому, что Его смерть источник нашего спасения. Но эта радость, кажущаяся нам неуместной и жестокой, предполагает несерьезное, «докетическое» отношение к страданиям Христа. Может ли Бог страдать взаправду? Другой русский «византинист» киевской эпохи, еп. Кирилл Туровский, в изображении распятия старается собрать все евангельские и даже апокрифические черты, усиливающие божественное величие Христа. Что же он делает с воплем богооставленности? Он его просто не упоминает.

Запад, в лице папы Льва, проведший халкедонский догмат и успешно боровшийся за него против монофизитских тенденций Востока, уступает им в раннем средневековье. Духовная печать Византии легла и на него. В VI веке один галльский епископ смущается нагим изображением Распятого и велит прикрыть его пеленой. До XI века и Запад не мог себе представить страдающего Христа. До нас дошли древние распятия (Германия ок. 1000), где Христос изображен на кресте в длинном одеянии и в царской короне, без всяких намеков на страдание. Это живой символ целого тысячелетия бестрагической, но цельной религиозности.

Та же эпоха оставила тысячи житий мучеников, перерабатывая на свой вкус древние «акты» и предания. Здесь пытки и казни, одна страшнее другой, нагромождаются, чтобы потрясти наивное воображение. Вот, казалось бы, где место «ужасу и состраданию», источнику христианской трагедии. Но нет, Хросвите не написать трагедии. Эти физические муки не могут дать содержания для трагедии потому, что за ними нет духовной борьбы. Ложное благоговение (тот же привкус монофизитства) лишает и мученика человеческой слабости. Страдает не он, а Христос в нем. Поэтому ни одной минуты читатель не сомневается в его победе, да герой никогда и ни в чем не показывает даже отдаленной возможности падения. Так, ни распятый Бог, ни страдающий с ним человек не могли стать источником новой трагедии, даже если бы у поэтов нашлись для нее культурные средства и формы, как нашлись они в ту эпоху у строителей романских соборов.

* * *

Из этих двух догматических камней, заваливших путь христианской трагедии, раньше всего на Западе был отвален послед-

ний: полумонофизитская христология. Когда это произошло, и кто был инициатором этого всемирно-исторического сдвига, трудно сказать с точностью. Где-то в конце XI — начале XII в., одновременно с созданием новой лирики и философии, т. е. с началом оригинальной западной цивилизации — совпадение знаменательное. У мало известного немецкого писателя Руперта Дейцского, даже еще раньше, у кардинала Петра Дамиани, мы находим новую черту религиозного внимания к земной, человеческой жизни Христа. С огромной силой любовь к человеку-Иисусу трепещет у мистика Бернарда Клервоского, т. е. задолго до Франциска Ассизского, который был скорее завершителем, а не зачинателем движения. Оно совпало с крестовыми походами, и не случайно: паломничества в святую землю оживили память о божественном Человеке. На предполагаемом месте Голгофы переживались Его страдания, Его воскресение. С этого времени новая струя в западном христианстве, «Jesus mysties», никогда не прерывается совершенно. Франциск получает стигматы, сопереживая крестные раны Спасителя. И в позднем средневековье мы видим распятия с обезображенным, окровавленным лицом Христа, особенно поражающие в южной Германии и в Испании. Искусство Ренессанса опять завуалировало трагедию Голгофы, но в сердце живой религии, и католической и протестантской, она осталась навсегда. Наконец, она проникла в Россию, задолго до св. Тихона Задонского. Ее принесли в Москву киевляне в XVII столетии, вместе с новыми иконами и новыми, западными темами проповедничества.

Тем не менее, на исходе средних веков рождения христианской трагедии не произошло. Новая христоцентрическая религиозность не успела разбить теологический железный корсет, ее сковавший. И родившийся в ней гуманизм проложил новое русло: только человеческого, полуязыческого, реакционно-античного Ренессанса.

Теология цицероновского или аристотелевского Провидения не была христианизована до конца. Реформация поставила новые экзистенциальные проблемы спасения: о свободной воле человека, благодати Божией и предопределении. Над ними билась века и протестантская и католическая мысль. Эта мысль исходила в схоластических формулировках, а ужас и боль религиозной личности не нашли себе адекватного выражения. Эпоха

Барокко обладала страшно острым ощущением и личности и смерти. Казалось бы, есть откуда родиться новой трагедии. Но родилась чисто гуманистическая, безрелигиозная трагедия. Кальдерон не в счет: его своеобразная религия имеет мало общего с христианством. Глубокие трагедии борьбы с Богом, отчаяния и любви, переживались в уединенных кельях. Какие трагические фигуры — Иоанн Креста и Паскаль, да и весь янсенизм вообще! Но их духовные борения не отразились в искусстве, по крайней мере, в искусстве слова [6]: слово сковано бестрагической теологией. Сейчас их темы, их жизни становятся образом наших собственных мук и отчасти получают выражение в искусстве. Их эпоха должна была довольствоваться Рибейрой и Зурбараном.

Мистические самоистязания Барокко сменились законно реакцией Просвещения. Европа отдыхала на перине гедонистического рассудка. Можно было не верить в адские муки или забывать о них. Ничто не мешало успокоиться на идее мировой гармонии, которая теперь приняла форму бесконечного прогресса. Менее благоприятного для трагедии века, чем XVIII, трудно себе представить.

Нужно было, чтобы человечество окунулось в море крови революций и наполеоновских войн, а потом в волны романтических туманов, чтобы стала возможной трагическая религиозность и трагическое искусство. Впрочем, шумный и грубоубедительный прогресс XIX века увлек большинство — и элиты и массы — по своей большой оптимистической дороге, которая вела к нашей пропасти. Немногие видели эту пропасть в истории или ощущали ее в своем сердце. Эти немногие провидцы спасли для нас христианскую духовность в пустыне «прогресса», и притом духовность трагическую. Почти одновременно, в середине XIX века, протестантизм, католичество и православие (в такой последовательности) дало трех гениев, которыми ныне живет христианское человечество: Киркегарда, Бодлера и Достоевского. Они не могли быть поняты в свое время. Киркегард был отодвинут в тень, как чудак и сумасброд (каким он несомненно и был); Бодлер, автор «Цветов зла», сделался надолго символом сатанизма для благочестивых католиков; Достоевский был признан у нас как большой писатель, психолог, «жестокий талант», но лишь XX век открыл в нем мыслителя и богослова. Вещь не-

бывалая: православный епископ Антоний (Храповицкий) составляет словарь к произведениям Достоевского. В это время Бодлер был уже признан, вместе с другими «проклятыми поэтами», как один из основоположников католического возрождения во французской интеллигенции.

Замечательно, что почти на всех католических писателях последних поколений лежит печать трагического: Леон Блуа, Мориак, Бернанос, Жуандо, Жюльен Грин [7]. Они, несомненно, имеют опыт ада при жизни, но пишут как бы от имени погибающих, а не спасенных. Достоевский тоже не отделяет себя от грешников, идет их путем, но идет за Христом, образы которого он ищет в живых людях. По сравнению с ним, католическая трагедия (в форме романа) кажется более мрачной, почти безнадежной. Но это «почти» необходимо помнить. Луч света, то есть надежды — должен прорезать мрак для того, чтобы трагедия оставалась христианской.

Менее других трагичны авторы настоящих, т. е. драматических христианских трагедий: Клодель и Т. С. Элиот (англокатолик). Но их иерархическое миросозерцание приближает к Фоме Аквинскому и Данте. Они строители Церкви, прежде всего, и способны «радоваться справедливости». Но сам по себе факт возрождения христианской драмы в наши дни весьма знаменателен. Он подготовляет возможность появления великого трагического поэта: христианского Эсхила.

Что же изменилось в религиозном сознании, чтобы христианская трагедия стала возможной?

Если остаться в границах мира Достоевского, то этот мир представляется не «управляемым хозяйством» Бога, а полем битвы, где Бог — одна из борющихся сторон. «Поле битвы — сердца людей». Человек обладает неограниченной, страшной свободой к добру и злу. Ставрогин поворачивается к нам то серафическим, то демоническим своим обликом. Карамазовское насекомое живет и в Алеше. Раскольников, Ставрогин, Иван Карамазов — вылиты из одного и того же металла — потомки байронистов, предтечи ницшеанцев. Но какая различная метафизическая судьба: один спасен, другой погиб, третий, мы чувствуем, может спастись. Это тайна человеческой свободы. И Достоевский показывает нам Христа-сострадающего и страдающего, который хочет победить человека не «чудом, тайной и авторите-

том», то есть не всемогуществом Своим, а притяжением духовной красоты. Свобода поставлена наравне с божественной любовью, и это означает и ныне, как в начале мироздания, трагическую непредопределенность конца. Вместо «вседовольного» небесного Царя и Судии перед нами распятая Красота. Вспоминается слово Паскаля, которое повторяется теперь многими выразителями современного трагического католицизма: «Христос в агонии до скончания века». Произошла огромная революция в христианском сознании, по значению равная и по смыслу тождественная той, что имела место на пороге XII века: новое восприятие и углубление Голгофы и возвращение Кресту центрального значения в христианстве. Может быть, школьное богословие еще медлит на старых схоластических путях. Но в новом русском богословии мы уже видим, как вчера бесстрастное Божество вовлекается в трагедию падшей твари. Отец сострадает Сыну, и Сын является «Агнцем, закланным от сложения мира».

Трагическая теология еще в зародыше, но трагическое искусство уже господствует в христианском секторе культуры. Его религиозная основа выступает не с одинаковой рельефностью. Иногда это трагедия человеческой судьбы, без всякой религиозной мотивации, но лишь ощущаемая чутким читателем на религиозном фоне. Таковы романы Мориака и Грина, которые могут быть допущены, по близорукости, и в советские библиотеки, как иллюстрация разложения буржуазного общества. Но Бернанос изображает духовный путь подвижников и мистиков нашего времени. Его тема — борьба души с Богом и за Бога. «Sous le soleil du Satan» [8] рисует поразительный мир католического святого, который до самого конца, вместе с читателем, остается в неизвестности: не был ли он всю жизнь жертвой демонической иллюзии? Только смерть разрешает это страшное сомнение. Наконец, возможно возрождение средневековой мистерии, и есть уже попытки воскресить страсти Христовы, где Christus passus [9] сам является героем трагедии.

Мы уже видели темы этой трагедии, несравненным гением которой остается Достоевский. Царящее в мире зло, как грех — личный и социальный. Глубокое несчастье человека-грешника и сострадание наше к нему. Борьба света с тьмой, исключающая безнадежность. Герой, еще не очищенный от страстей, пусть, падая, ведет неустанную борьбу с собой и злом мира. Его борьба

освещается и вдохновляется свыше. За ним стоят или чувствуются небесные силы, против него — демонические. Но Бог уважает его свободу. Спасение или гибель зависят от его воли. Он может совсем перестать слышать небесный голос и изнемочь в своем одиночестве. Но исход не предопределен до конца. Если спасение, — «радость-страданье». Если гибель, — ангелы плачут. «Христос в агонии до скончания века».

Здесь уместно поставить вопрос, важный для нас, русских: почему трагедия Достоевского не нашла себе последователей у нас? Достоевский оказал огромное влияние на все наше православное возрождение и на поколение символизма вообще. Им в значительной мере питалось новое богословское сознание. И вот, те православные художники слова, которые ныне составляют особый, ясно очерченный сектор русской литературы, чужды трагедии. В своей религии они нашли покой от суеты и безумия мира: в церковном ли благолепии быта (Шмелев), в чистой ли элегической красоте тварного и уже закатного мира (Зайцев). Зло и мрак оставлены в удел безбожникам или людям без догмата. Те живут этим мраком, но без материи нравственной борьбы не могут претворить мрак в материал для подлинной трагедии.

Почему это произошло? Почему мы утратили наследие Достоевского, доставшееся французам?

Мне кажется, причиной тому имморализм, что вошел в русскую жизнь и душу с великого кризиса 90-х годов. И декадентство-символизм, и марксизм, и «новое религиозное сознание» были одинаково враждебны этике. Замолкли, потеряли свой смысл вопросы, волновавшие полвека русских мальчиков, которые нашли свой голос в Достоевском: что добро и что зло? можно ли убить, можно ли солгать, принести человека в жертву идее? Этика в России была утоплена в эстетике, и воспитанный на Киркегарде Ибсен быстро сошел с русской сцены. Но без остроты этической проблематики не может быть трагедии. Религиозная мысль ищет успокоения в красоте (София) и даже там, где не находит выхода в оптимизме всеобщего спасения (Булгаков), удовлетворяется эстетически, как бл. Августин, двойною вечностью. Это страшный ущерб русской души, который сказался, конечно, не на одной трагедии. И религия, и политика сейчас страдают от него, и, вдумываясь в смысл нашей не литературной, а поли-

тической трагедии, мы приходим к тому же роковому перелому: 90-е годы. Но сейчас нас интересует только искусство.

* * *

«Если Христос не воскрес, суетна вера ваша». В конце концов, христианство ведь благая весть — о спасении, а не о гибели. Там, где утверждается крест без воскресения, мрак без надежды, там уже нет христианства. Есть трагедия, родившаяся на почве христианства, но не христианская трагедия. Так на почве христианской этической проблематики вырос русский атеизм, абсолютный и в конечном выражении своем сатанинский. Вероятно, ни одна культура, вне христианства, не могла создать такого трагического искусства, какое создает сейчас Запад в своей агонии, но является ли оно христианским? И где границы христианской трагедии? Вопросы мучительные, может быть, неразрешимые. Я хотел бы подойти к ним от одного исторического и в то же время личного воспоминания.

Лет двадцать тому назад, проезжая через Кольмар (в Эльзасе), я остановился, чтобы увидеть знаменитое распятие Матиаса Грюневальда (ок. 1515 г.). Впечатление осталось на всю жизнь, сильное, но смутное. Дальше нельзя идти в очеловечении Христа. Напрасно искать в этом лике отблеска божественности. Художник не только не пощадил ни одной черты от обезображивающих мук смерти, но постарался сделать это лицо и это тело отвратительными, покрыв все его, без всякого основания, кровоточащими точками. Говорят (может быть, это только легенда), что он взял своей моделью труп человека, умершего в госпитале от какой-то накожной болезни. Зачем? Это распятие стояло в церкви. Перед ним молились. Это трудно понять человеку восточного воспитания. Но трудно переварить и гуманисту. Мне было трудно поверить, что такой труп может воскреснуть (хотя воскресение изображено тут же, на другой доске). Но, может быть, я был не прав, и в этом моем смущении говорила немощь веры. Вера отца Сергия Булгакова была покрепче моей; он принимал Грюневальда.

Христос Грюневальда, Христос-утопленник Гольбейна в Базеле, ад Иеронима Босха — все это пограничные вехи христианской трагедии. Кисть живописца отважилась на то, на что не ре-

шился ни один поэт. Но остается доныне – и, может быть, до Страшного Суда – под вопросом: христианское ли это искусство?

Этот же вопрос стоит по отношению к современному искусству вообще. Здесь живопись, музыка и слово идут одним путем. Еще доживают старые формы, и, как всегда, огромное большинство производимых вещей принадлежит прошлому. Это дает возможность людям отдыхать или наслаждаться искусством и закрывает от глаз страшную пропасть. Еще никто не загоняет принудительно в Museum of Modern Art и не заставляет слушать концерты передовых композиторов. Но ведь настоящий, а не вчерашний день определяет будущее. Сюжеты рыцарских романов находили кое-каких читателей и в наше время. Может быть, «нищие духом» будут читать любовно-семейные романы XIX века – в XXV-ом. Но интеллигентные молодые люди их уже не читают. Они «устали» от Бетховена и их тошнит от Ренессанса. То в современном искусстве, что заслуживает этого имени, трагично. Но лишь малый сектор его принадлежит христианской трагедии, о которой мы говорили. Какова же ее секулизированная сестра?

Современный художник ненавидит красоту, ненавидит самую ее идею и большинство ее воплощений: особенно красоту человека и красоту мира. Отказаться совсем от красоты искусство не в состоянии. Что-то должно уравновесить дисгармонию: будь то краска или орнаментальная линия, равновесие плоскостей или соответствующие «формальные» ценности в музыке. Но эти элементы так слабы, что им не уравновесить всей нагрузки безобразия, которого алчет современный художник. Что отрицается начисто – это человеческое лицо, человеческое тело, эмоциональное содержание в музыке, первозданная красота мира. Все это является предметом отвращения и надругательства. (Ecce homo!). Не одна эпоха Ренессанса отвергается, но и все христианские тысячелетия со всеми их истоками. Искусство Востока, Мексики и, еще лучше, негров, – чем примитивнее, чем острее, чем дальше от греческой гармонии, тем лучше, – заменяет прежние классические образцы. Не образцов жалко, а погибающего мира человеческой души (с духом и телом), разлагающегося на свои элементы.

Под эту характеристику подойдут французские сюрреалисты и экзистенциалисты, левые американские романисты (только

не Стейнбек), — наконец, Кафка и его школа. Не знаешь, что страшнее: каменное бесчувствие к мукам человека (то подлинное, то напускное) или садистический интерес к ним. Многие современные книги и картины кажутся написанными чекистом. Чувствуешь: если бы современный палач обладал талантом и досугом, то он мог бы написать такую вещь. Во всяком случае, если человечество сейчас более, чем когда-либо разделилось на палачей и жертв, то передовое искусство скорее с палачами, чем с жертвами. Это искусство концентрационных лагерей, отражающее направление «передовой» политики: фашизма и коммунизма. Если же это искусство жертв (Кафка), то впавших в прострацию отчаяния. Ни там, ни здесь невозможно ждать очищения страстей. Впрочем, и сострадание покинуло нас, оставив один ужас.

* * *

Но возможно ли современнику произносить окончательный суд над своим искусством? Что мы знаем о скрытых интенциях художника, может быть, неизвестных ему самому? Возможно, что глубоко придавленное сострадание скрывается под садизмом, который играет роль стыдливого защитного покрова. В сентиментальное время бывало наоборот; случалось, садизм прикрывался чувствительностью. Перед распятием Грюневальда, перед иным католическим романистом нашего времени не знаешь, верит ли он в воскресение; т. е. не теоретически верит, а есть ли в душе его луч надежды и любви? Так и о специалистах ужаса никогда нельзя сказать с уверенностью, не живет ли еще дитя в этой измученной и мучающей душе и не осветится ли вдруг ее мрак. Судьба искусства неотделима от судьбы всей культуры, к которой оно принадлежит, и никто из нас не может и не смеет произнести окончательного приговора над собой, над всеми нами, над нашим веком.

От других связанных и взаимопроникающих сфер культуры искусство отличается особой чуткостью. Чувствительный к незримым духовным токам, художник многое предчувствует. Его называли пророком; он скорее похож на ясновидящего. Блок еще в 1908 году сказал: «Но узнаю тебя, начало высоких и мятежных дней!» Современный американец может проживать ве-

селое наследство XIX века и схематически улыбаться для фотографов. Фолкнер и Хемингуэй показывают, каково будет самочувствие американца во время и после атомной войны. Но каково будет тогда самочувствие самих Хемингуэев? Великие потрясения производят в сознании такие разряды, которых невозможно предвидеть, извлекают из-под глубоких пластов души хранившиеся на дне тысячелетние инстинкты. Но, главное, существует же такая вещь, как новое рождение, как творчество нового, небывалого и непредвиденного. Мы за наш краткий век видели столько небывалого и непредвиденного. К несчастью, новое почти всегда являлось как новая форма зла. Но почему не случиться обратному? Среди безоблачного дня вчерашнего прогресса могли вдруг затрепетать от ужаса редкие провидцы нынешнего дня. Так и среди обломков нашей культуры, на самом дне ада, солнечный луч или одно его предчувствие может осветить мрак. Тогда трагедия перестанет быть безвыходной. Распятый вместе с Богочеловеком разбойник сможет вдруг поверить в Его и свое воскресение. Его трагедия станет христианской.

Сталин или Гитлер?

Старый вопрос этот, поставленный войной, все еще продолжает волновать русскую эмиграцию. Я всегда был убежден, что самая постановка этого вопроса и ложна и опасна.

Ложна потому, что нет общей меры для измерения зла. Одни указывают на принципы, определяющие злодейства этих тиранов (национальный, классовый, рассовый и т. п.), другие на количество жертв, третьи на элементы садизма или личной подлости у властителей и т. д. без конца. Спор становится бесплодным, подобно спору о сравнительных достоинствах виселицы и гильотины.

Но этот спор и чрезвычайно опасен, так как часто приводит демократию к дефетизму [1]: как будто бы и впрямь ей не остается иного выбора, как только между разными вариантами фашизма. Отталкиваясь — часто справедливо — со всей силой от одного черта, начинают идеализировать или обелять другого. Психологически это понятно. Но это зрелище человеческой слабости принадлежит к самым тяжким испытаниям нашего времени. Видим же мы Томаса Манна, захромевшего налево со времени гитлеровщины. Не той же ли болезнью, но в острой форме, заболел физик Фукс, выдававший Советам секреты атомной бомбы?

У нас, у русских эмигрантов, мы видели столько нападений и «налево» и направо, что их не перечесть, и мы не сможем никогда свести старых счетов иначе, как путем всеобщей амнистии. А ведь Мережковский и Бердяев вместе с Т. Манном принадлежали к самой свободолюбивой элите нашего культурного мира.

Я понимаю, конечно, что бесплодный морально и политически спор: «Сталин или Гитлер» становится иногда неизбежным во время войны. В минуту опасности люди не проявляют чрезмерной брезгливости в выборе союзников. Можно понять радость Черчилля, который после гитлеровского вторжения в

Россию увидел в нем спасительный для Англии перелом войны. Можно также понять и радость тех русских людей, которые видели в неизвестном им Гитлере освободителя от слишком известного домашнего врага. Впрочем, понять не значит оправдать. Радость Черчилля, как и радость русских пораженцев, завели обоих в опасные политические тупики.

По крайней мере, мы, русские эмигранты в Америке, и после падения Европы были избавлены от необходимости выбора фашистских станов. У нас был свой стан, — военный стан демократии. Мы были счастливы, что могли сражаться, хотя бы мыслью и словом, под звездным знаменем свободы. Я в свое время тоже испытал радость — вместе со всеми невольными обитателями французского концентрационного лагеря в Марокко — в день 22 июня 1941 года. Но моя первая мысль была: «О, если бы оба эти гада пожрали друг друга!»

Далеко не все русские смотрели так на вещи. И, конечно, не испанцы, которых было большинство среди нас. Только в поляках я чувствовал тогда единство настроения. Если бы вожди демократии, Черчиль и Рузвельт, руководились этой идеей, мир ныне не стоял бы перед перспективой новой атомной войны.

Нам, профанам, представлялась эта политика такой ясной. Конечно, помогать оружием Сталину, пока он был слабейшей стороной, чтобы истощать силы Гитлера, но не объявлять его соратником и другом демократии, относиться к нему так, как сам он относился к нам: как временным союзникам и будущим врагам. И, конечно, обратить оружие против него сейчас же, как только выяснилось поражение Гитлера, а Сталин уже начал порабощение демократических народов: Польши и Югославии.

Вместо этого ему была отдана половина Европы и бесконтрольная власть над 100 миллионами людей. Теперь к ним уже прибавилось 450 миллионов китайцев. Америка своими руками создала колоссальную силу Евразии, которая теперь угрожает ее жизни.

Говорят, иная, — единственно мудрая, — политика была невозможна потому, что народные массы в странах демократии были во власти иллюзий, и нужны были годы, чтобы они отрешились (совсем ли отрешились?) от их власти. Вернее было бы сказать, что во власти иллюзий были не массы, а их вожди, близорукие и невежественные. Это они, с помощью печати, дезинформирова-

ли и деморализовали и свои народы и свои армии. Во время войны печать самых демократических стран была довольно послушна дирижерской палочке правительств.

Страшные ошибки и политические преступления демократических вождей, совершенные во время войны, теперь ясны почти для всех. Но значит ли это, что ими была совершена ошибка в самом выборе главного врага? Нет, они были правы: Гитлер был врагом номер первый для их стран, для свободы и человечества. И это вне всякого отношения к гнусности его принципов, его деяний или его личности. Просто по двум причинам:

во-первых, в чисто военном отношении он, несомненно, был сильнее Сталина, и

во-вторых, его разбойничий стан находился в центре Европы, откуда он мог совершать свои вторжения по всем направлениям.

Европа почти вся была уже в его власти. Еще одно усилие, и Англия могла бы пасть, и тогда, по моему глубокому убеждению, мы должны были бы сказать «прости» свободе на долгие века. Едва ли одна Америка могла бы долго сопротивляться соединенным силам всей фашистской Нео-Европы. Но, может быть, вопрос ставится иначе для России, и для нее Сталин, а не Гитлер был первым врагом? Здесь мы подходим к самой сути нашей темы.

Глубочайшее заблуждение, — и одно из самых опасных в наше время — думать, что какой-либо народ, или страна могут спастись одни, своими собственными путями, среди всеобщей катастрофы. Мир стал слишком тесен и слишком связан для изолированного или совершенно независимого существования народов. Время «национальной» политики прошло безвозвратно. В наши дни лучшая национальная политика есть лучшая интернациональная политика.

О, конечно, политические традиции XIX века еще держатся. Известно, что политика есть самая косная из сфер культуры. Мы в США осуждаем некоторых сенаторов Среднего Запада за их изоляционизм. Большинство американцев, однако, уже понимают, что их судьба неразрывно связана с судьбой Европы и Азии. Но те же реакционные изоляционистские настроения существуют и в Англии и во Франции — повсюду.

К несчастью, со времени революции большинство русских, и на родине и за рубежом, живут в состоянии политического и ду-

ховного изоляционизма. Это как бы расплата за столетие утопического интернационализма русской интеллигенции XIX века. Многие открыли родину впервые в годы первой войны — тогда, когда в мире эпоха национальных отечеств была уже на исходе. Народные массы, впрочем, никогда не знали культуры Запада, а теперь они искусственно отрезаны от нее, в течение более 30 лет, своими тюремщиками. И вот что теперь больше всего поражает в политических соображениях молодых, старых и даже престарелых эмигрантов: они нередко рассуждают так, как будто бы Россия была одна на свете.

Когда-то итальянские патриоты, боровшиеся за освобождение и объединение Италии, с гордостью говорили: Italia fara da se (Италия справится одна), хотя в действительности и она не обошлась без помощи Франции. В первые годы русской революции мы тоже могли повторять: Russia fara da se. С тех пор миллионы, десятки миллионов людей, некогда дышавших воздухом свободы или хотя бы глотнувших его, — на том свете, в порядке ли естественной смерти или от руки палачей. Те же, кто живут на земле Советов, воспитаны в такой атмосфере рабства, что с трудом могут представить себе возможность иной, свободной мысли и жизни.

Оптимисты, не чувствующие истории, воображают, что жажда свободы и борьба за нее возникают спонтанно во всяком обществе, где есть угнетение. Если под борьбой понимать бунты, спорадические восстания угнетенных, то, конечно, такие восстания рабов происходили всегда. Но только никогда, ни при Спартаке, ни при Уоте Тайлере, ни при Пугачеве они не приводили к свободе.

Свобода, в том смысле, в каком ее понимает современная демократия, не есть природное, врожденное влечение. Это продукт тысячелетней культуры христианского Запада. Первобытный, и русский, человек, когда говорит о свободе, думает о своем собственном освобождении. Порабощение врагов ему кажется лишь расширением сферы своей свободы. Но свобода демократии есть свобода для всех, то есть и для врагов.

Много веков борьбы и соглашений понадобилось для того, чтобы аристократическое чувство личного достоинства расширилось до признания всеобщего, человеческого достоинства. Как далек от этого идеала весь мир, в том числе и русский, кро-

ме срединного острова западной цивилизации, душа которой в Англии, а сила — в Америке.

Совершенно неубедительны аналогии с прошлым русского революционного движения для оценки перспектив будущего. Вся русская интеллигенция, без исключения, дышала западом, — в то время, когда запад переживал романтическую пору своего освобождения. Даже славянофилы обязаны Западу своим первоначальным свободолюбием. Даже русская бюрократия, даже императоры не могли оставаться вполне чуждыми освободительным влияниям с Запада. Конечно, ими же питалось и русское революционное движение, имевшее на Западе, в эмиграции, свои штабы.

Спросим себя, дует ли сейчас с Запада этот освободительный ветер? Увы, Запад с трудом пытается отстоять от сил внешнего и внутреннего фашизма свой традиционный уклад жизни; его позиция, даже при самых смелых социальных реформах, существенно консервативна. Он и не помышляет о том, чтобы силой своих идей размыть, растопить вечные льды России. Он успокаивается на утопии раздела мира между зоной свободы и зоной рабства. Но черная зона рабства неуклонно растет, и суживается угрожаемый остров свободы.

Какие надежды существуют, при этих условиях, на освобождение России?

Все надежды связаны прежде всего с обороной Запада. Устоит ли он со своими традиционными началами жизни, приспособленными к новым условиям социалистического общества, окрепнет ли и проявит энергию необходимой экспансии, и льды России растают, — конечно, не без борьбы и внутренних потрясений. Потухнет очаг свободы на Западе — и у России не будет никакой надежды на освобождение. Над миром отяготеет новая византийская деспотия — быть может (как и старая) на тысячу лет.

Конечно, у русских патриотов за рубежом есть и своя собственная задача, и важность ее мы не хотим преуменьшать. Это — готовить свержение сталинизма, которое одно, по-видимому, способно предотвратить страшный исход в атомной войне. Но и в этой революционной работе главное — это проникновение в Россию западных демократических идей, западного, пусть скромного, опыта свободно-социалистического хозяйства.

Но наряду с этой чисто русской задачей участие русской эмиграции в жизни западного мира диктуется и чисто русскими интересами. Неустанно продолжать работу по информации относительно существа сталинского режима, преодолевая естественную апатию или безнадежность от слабости результатов; участвовать, кто может, в творческой работе Запада по выработке новых форм мысли и жизни, и, наконец, участвовать, когда придет час, и в его военной обороне против сталинской России.

Какой бы тяжелой ценой русскому народу ни пришлось оплатить свою свободу, она стоит того. И его свобода неизменно связана с свободой мира, то есть, прежде всего западного мира, которая может быть куплена только ценой победы над московской тиранией, угрожающей всему миру.

Более чем когда-либо, сейчас быть добрым русским значит быть добрым европейцем или американцем, или гражданином демократического мира.

С. И. Штейн

29 января этого года в Нью-Йорке скончался профессор Семен Ильич Штейн, один из самых блестящих и острых последователей русской школы историков-медиэвистов. Его имя было мало известно вне узкого круга специалистов. Он не писал популярных работ; да и специальные были облечены в чрезвычайно строгую и трудную, почти математическую форму. С. И. отдал математике, как и философии, много сил и времени, и это не могло не отразиться и на стиле его исторических трудов. Они не многочисленны эти труды, но написанные на немецком, французском и английском языках, вошли в европейскую науку, поставили острые проблемы и обеспечили русскому ученому, если не вечную, то долгую научную память.

С. И. родился в Одессе в 1887 году, учился в Петербурге и был пасынком известного политического деятеля и журналиста И.В. Гессена, в семье которого, одном из лучших культурных центров Петербурга, он мог встретить весь цвет тогдашней, предвоенной интеллигенции. Но и среди нее С. И. выделялся и ясным умом, и остроумием, и широкой культурностью.

В Петербургский университет он пришел уже почти сложившимся ученым, после двухлетних работ в германских университетах (Гейдельберг и Фрейбург). Но «германистом» в историческом смысле Штейн никогда не был. В Германии он примкнул к оппозиционной школе (Белов, Зелибер, Допш), которая вела критическую войну против традиций национально-романтической немецкой историографии, еще владевшей умами не только в этой стране, но и во Франции, в Англии и в России.

В Петербурге Штейн попал в круг медиэвистов-учеников И.М. Гревса, романиста по убеждениям, замечательного воспитателя, который с редкой объективностью взращивал самые противоположные научные дарования. В скрупулезной критической ра-

боте над источниками, но и в широкой гуманистической атмосфере старого Петербурга прошла молодость многообещающего ученого.

Его карьера оборвалась так же внезапно, как и культура императорской России. Петербургский приват-доцент оказался в Германии, работал больше по издательству «Слова» (русский отдел Ульштейна), хоть и не бросал своей научной работы. Уже в Петербурге он и сосредоточился на социально-юридическом анализе памятников Каролингского средневековья. В Германии С. И. Штейн напечатал ряд статей о значении термина «Romanus» в памятниках франкского права. Отрицая национальный характер этого термина, Штейн выдержал нападение одного из видных представителей историко-юридической школы, У. Штуца, но не сдался: его самозащита была напечатана в журнале Зелигера.

Расцвет научной продуктивности С. И. совпал с самыми тяжелыми годами для Европы и еврейства, к которому он принадлежал по крови (не по религии и культуре). В 1937 г. он с женой оставил гитлеровскую Германию и нашел дружеский прием во Франции. Здесь он не только получил стипендию от Национального Центра Научных Изысканий, но и лестное поручение подготовить новое издание капитуляриев франкских королей. С. И. с головой бросился в новую для него область палеографических работ над рукописями, приобрел здесь большие знания и убедился в недоброкачественности изданий Monumenta germaniae, считавшихся классическими.

К сожалению, чем дальше шла работа, тем меньше было надежды на осуществление издания. Увлеченный своей критикой, С. И. пришел к убеждению, что все капитулярии, приписываемые Карлу Великому, подложны, и что автором подлога является тот самый Гинкмар, арх[иепископ] Реймский, которому приписывают знаменитые лже-исидоровы декреталии. Его «Etudes critiques des Capitulaires Tranes» был напечатан в журнале «Le Moyen age», 1941,1, редактор которого Левиллен, один из немногих, отнесся с сочувствием к радикальным теориям русского ученого.

Не ограничившись капитуляриями, Штейн перешел к изучению «Салической Правды», древнейшего свода законов франкской эпохи, с тем же отрицательным результатом: Lex Salica, в

его глазах, оказалась тоже подлогом, вышедшим из-под пера Гинкмара. Выдающийся французский историк Марк Блок, ознакомившийся в рукописи с этой работой, не мог согласиться с ее отрицательными выводами, но отнесся с величайшим уважением к методу работы автора, признав особенно ценным в ней индивидуальное изучение рукописных сборников как целого, а не их разорванных частей.

Переписка двух ученых происходила уже в подполье, во время гитлеровской оккупации Франции. М. Блок вскоре был убит наци, Штейну, вместе с его женой, удалось спастись, после мук лагерей, после долгого укрывания во французской деревне. В освобожденной Франции он мог, наконец, вернуться к своему любимому труду. В 1946 г. он приехал в Соединенные Штаты с командировкой от французского Научного Центра и, к несчастью, предпочел остаться в Новом Свете. Но здесь все его попытки устроиться в каком-либо научном учреждении остались безуспешными. Он стучался во все двери, проявил огромную энергию в борьбе с образовавшейся вокруг него пустотой. Журнал «Speculum» напечатал его работу «Lex Salica», но это все, чего он мог добиться в этой стране.

Его последняя работа об эйнгардовом жизнеописании Карла Великого напечатана не была. Автор доказывал и его подложность. Несомненно, разрушительный характер его критики, при всем блеске его научной техники, не мог способствовать его академической популярности. Редкое дарование, тонкий ум, большая эрудиция казались затрачены на чистое отрицание. Последние годы С. И. жил на положении безработного, в большой нужде и одиночестве. Но за личной драмой эмигрантской жизни скрывалась большая и значительная драма научного призвания, не нашедшего творческого приложения своим силам.

Перевод как искусство

Читатель привык знакомиться с переводами цельных произведений или собраний произведений одного автора. В предлагаемом томике «Из классиков» Александра Браиловского [1] собраны переводы фрагментов произведений различных эпох и языков. Все эти фрагменты объединены не единством содержания, — хотя в известном смысле можно говорить и о таком единстве, — а единством художественной задачи поэта-переводчика. Это ставит перед нами вопрос, чего вправе ожидать читатель от художественного перевода?

Старинное изречение гласит: всякий перевод есть истолкование. Это значит, в сущности, что совершенный или точный перевод невозможен. Печальная истина эта — печальная для творческого общения людей — несколько сглаживается несомненным фактом возможности перевода в области точных наук. Но оно приобретает всю полноту своего значения, когда переводчик имеет дело с художественной речью.

Каждое слово языка имеет множество оттенков, обертонов; оно насыщено историей. На нем оставили свой след десятки и сотни поколений, говоривших на нем и певших его, — каждый поэт, заново творивший его, классически и музыкально. Все разнообразие его оттенков может быть передано не одним, а многими словами чужого языка или даже сочетаниями слов — всегда частично, всегда приближенно. Кроме богатства смысловых оттенков, слово имеет своеобразное эмоциональное звучание в родном языке, соответствующее «валерам»[2] в живописи. Оно может быть простым, изысканным, торжественным, строгим, легкомысленным, грубым, изящным, сильным, слабым, выразительным или абстрактным, всенародным или классовым, целомудренным или пошлым. Ближайшее по смыслу слово чужого языка имеет обыкновенно совершенно иные «валеры». Самый

простой русский «стул» не то, что английское «Chair»: обыденность русского стула исключает его из возвышенных и отвлеченных значений «Chair» — как кафедры или амвона. «Кресло» неотделимо от гостиной, кабинета или салона. «Трон» — который вещественно не отличается от кресла — связан со всею пышностью монархической идеи. Вот почему древне-русское слово «стол» уже непереводимо даже на современный русский язык. Русские князья садились на Киевский «стол», а не на трон или престол.

На если такой филологический скандал происходит со стулом или столом, то что же сказать о тонких и сложных словах-символах? Русское слово «злой», кажется, непереводимо на английский язык, а «тоска» ни на один язык вообще.

Мы говорили до сих пор о семантике, т.е. о смысловом значении слова. Но в поэзии и в художественной прозе слово имеет и музыкальное значение. Сочетание слов в определенный ряд подчинено и грамматической структуре и музыкальной ритмике. Словесный рисунок в то же время является и мелодией. Не защищая нелепых тезисов заумного языка, можно согласиться, что в иных видах поэзии мелодический рисунок может быть важнее семантики. Что делать в таких условиях переводчику? Погоня за точным значением слова или за красочным соответствием разрушит и музыку и рисунок оригинала. Стараясь передать музыку или рисунок — структуру — переводчик жертвует смысловым, или красочным содержанием. Если он переводит с родного языка на чужой, он поражается богатству родного, он зачастую подавлен им, бессильный найти языковые эквиваленты. Если он переводит с иностранного, он удручен бедностью родного. В действительности, все мы владеем ничтожной долей языкового богатства — даже своего родного языка, не говоря о чужих: мы пользуемся несколькими тысячами слов из десятков и сотен тысяч, собранных в словари. Но и самое усердное изучение Даля или Оксфордского словаря не поможет: так неравномерно распределены избытки и недостатки между разными языками.

Переводчик начинает обычно с отвагой, граничащей с дерзостью. Но если у него есть художническая совесть, он быстро приходит к отчаянию. Счастье его, если он преодолеет и легкомысленный, и трагический максимализм юности: если, смирив

себя, он ограничит свои притязания. Точный перевод невозможен, как невозможно идеальное государство. В обоих случаях речь идет о «менее плохом» или только отчасти удачном. Самые высокие переводческие удачи — это частичное приближение к недостижимому оригиналу. Борьба за оригинал идет не по одному, а по разным направлениям: семасиологическому [3], структурному, музыкальному. Вполне законно для переводчика преимущественное сосредоточение интереса на одном из них. Вот почему хороших переводов одной и той же вещи может быть — и должно быть — много. Один приоткрывает нам смысл, другой — музыку или иное качество недоступного шедевра. Нужно помнить только одно: предпочтение законно, даже неизбежно, — недопустима лишь исключительность. Тот совершает насилие, убийство живого организма, кто пытается рассечь его и оставить либо содержание — часть содержания, — либо форму — одну из форм. Насильственность переводчика такое же зло, как насильственность музыканта, произвольно интерпретирующего чужое произведение, как насильственность диктатора, калечащего жизнь народа.

Все эти несомненные опасности не должны закрывать нам глаза на возможность действительных и больших удач. Без всякого сомнения, возможно создание на родном языке высоко-художественного произведения, отражающего, хотя и не вполне, чужеязычный оригинал. Иной раз новое произведение-перевод — может быть прекраснее оригинала, не будучи тождественным ему. История всякой национальной литературы знает высокие достижения в трудном искусстве художественного перевода.

Это искусство — нужно ли оно? — Да, если общечеловеческая культура не мечтательный бред. Сейчас, когда варварский национализм пытается разорвать всякую духовную связь между народами во имя якобы национальной культуры, истинный переводчик несет особо ответственную миссию: он работает над воссозданием разрушаемого всечеловеческого единства, расчищая тропы к познанию чужого духовного опыта.

Республика Святой Софии

В 1917 году пала в России последняя самодержавная монархия православного Востока. Ее предшественница и недосягаемый образец, Византия, погибла еще в 1453 году. Теперь уже нет ни одного православного государства с самодержавно-теократической идеологией. На Балканах утвердилась атеистическая тирания новейшего типа, за исключением Греции, маленького островка конституционной свободы, уцелевшей от XIX века. Но если погибли все самодержавные царства, то не погибла их идея, разделяемая, пусть немногими, но страстными последователями. Замечательно, что в России в последнее трагическое царствование, византийское теократическое сознание пережило свой мрачный расцвет. Монархия хотела быть не только неограниченной, как западный абсолютизм, уже отошедший в историю. Она хотела быть живой носительницей воли Божьей на земле, средоточием вселенской православной церкви — словом, теократией. Таково было сознание самого несчастного царя, царицы и целого ряда церковных деятелей: митр. Антония, еп. Феофила, Гермогена[1] и других. После революции Карловацкий собор 1931 года, правда, больше под влиянием мирян, утвердил этот теократический «догмат»: нет церкви без царя, и царя самодержавного. И сейчас встречаются не только в церковных, но и в светских газетах эмиграции попытки связать живой и вечный организм церкви с политическим мертвецом, с призраком погибшей Византии.

Здесь не место входить в богословские споры с защитниками этих теорий. Я хотел бы предложить широкому кругу читателей не более как историческую справку, показывающую, во-первых, что православная церковь могла жить веками без царя, и, во-вторых, что она могла жить и в республике, и что именно в одной из республик она осуществила теократию, параллельную теократии монархической.

Дело идет о вещах нам близких, о нашей собственной родине. Беда лишь в том, что господствующее течение русской историографии, даже либеральной (Соловьев, Ключевский), настолько было подавлено фактом «московского царства» как создателя Российской Империи, что Москва заслонила собой все предшествующие пять веков древней жизни, несравненно более богатых культурой и духовной жизнью.

Как известно, венчание на царство великого князя московского произошло лишь в XVI веке (1547). Когда-то Василий I, сын Донского, говорил: «У нас есть церковь, но нет царя». И хоть патриарх Константинопольский поучал его: «Невозможно иметь церковь и не иметь царя», — но эта византийская точка зрения находила немного сторонников на Руси. В самом деле, по византийской теории вселенского царства, все христиане в мире должны быть подданными одного императора. Все православные народы были его вассалами. Русские князья были пожалованы званьем стольников византийского двора. Понятно, что на Руси не считались с этими теориями, унизительными для национального сознания, и ни один греческий митрополит на Руси не смог проводить их серьезно. Для наших предков греческий император был только идеальным центром христианского мира, как римский (германский) император «оставался таким для Франции и Англии. С другой стороны, никто другой не мог притязать на его место. Хотя литургика церкви была пронизана византийскими теократическими идеями и отголоски их слышались и в церковных поучениях, ни один из русских князей не притязал на самодержавную власть. Князь был ограничен разнообразными общественными силами: вечем, боярством, епископами. Для церкви это положение создавало слишком большие преимущества, особенно духовные, чтобы она стремилась разрушать собственную свободу. Обиженный князем епископ искал суда у митрополита Киевского. Киевский митрополит, назначавшийся в Византии, был подсуден только патриарху константинопольскому. Вот почему он, и не играя активной роли в политике, стоял высоко над местными силами, даже над князем. Недаром один из митрополитов XII века мог говорить киевскому князю: «Мы поставлены унимать вас от кровопролития».

Иначе, чем в княжеских волостях, сложились отношения между церковью и государством в Великом Новгороде.

Но, прежде всего, надо отвыкнуть от ходячего представления, что Новгород — это один только город со своей округой, и что, следовательно, говоря о Руси, можно обойти молчанием его исключительную судьбу. Территория Новгорода была огромна: под его властью и правом жила вся Северная Русь, вплоть до Урала, и даже захватывая край Сибири. Даже после поглощения Москвой всех княжеских уделов, владения Новгорода были обширнее московских. Правда, большая часть этих земель были пустыни, леса и тундры, населенные инородцами, среди которых были вкраплены поселки русских колонистов. Но на Западе Новгороду принадлежало немало значительных городов: Торжок, Ладога, Старая Руса, некогда и сам Псков. Здесь выросли и знаменитейшие русские монастыри: Валаам, Соловки, Кириллов, Ферапонтов на Белом озере. В истории русского искусства средних веков (XIII–XV) Новгороду принадлежит первое место. Здесь сформировался и в наибольшей чистоте сохранился велико-русский тип, вдали от татарской неволи и крепостного рабства. Здесь и сейчас фольклористы находят лучшие песни и былины, старинные костюмы и интереснейшие памятники деревянного зодчества. И, наконец, Новгород, торговавший с Ганзой, был главным на Руси окном в Европу. Прорубая вторично это окно, царь Петр сознавал, что он возвращает Россию на старые новгородские рубежи. Новгородский князь Александр, победитель шведов и немцев, должен был стать ангелом новой западнической Империи.

Словом, Новгород не курьезный нарост на русской жизни, но наиболее русское в ней явленье, наиболее чистое от татарской примеси, и с тем, как будто, таившее в себе возможности будущего свободного и культурного развития.

Был ли Новгород республикой? Да, по крайней мере, в течение трех с половиной веков своей истории (XII–XV). Существование княжеской власти в Новгороде не должно нас обманывать. С тех пор, как фактически прекратилось политическое единство Руси, с упадком Киевской монархии, по смерть Владимира Мономаха (1125), княжеская власть в Новгороде не была ни наследственной, ни пожизненной. В любое время народное вече могло «указать князю путь» из города. С другой стороны, князь не только не был полновластным хозяином в Новгороде, но даже не был главным лицом в его администрации. Его глав-

ное значение было военное; он был временным начальником вооруженных сил. Но даже и здесь он делил военное начальство с тысяцким. Как судья, он разделял власть с посадником и другими. Он не был даже номинальным главой города-государства. Не от его имени писались грамоты, заключались договоры. Приглашенный со стороны вечем, без всяких династических прав, подобно подесту итальянских средневековых республик, князь легко включался в систему республиканских властей, «господ», правивших Новгородом. Следовательно, Новгород был действительно в течение столетий фактически республикой или, по выражению Костомарова, народоправством.

Правда, с конца XIV века Новгород перестал произвольно выбирать и менять своих князей. Великий князь Московский, уже по положению своему, признавался и князем Новгородским. Но это не увеличивало еще его прав и власти в новгородской территории. Не живя в Новгороде, он был представлен там своим наместником, который довольствовался строго определенным по договору доходами и юрисдикцией. Новгороду было выгодно такое положение, когда его военным защитником был самый сильный князь великорусского государства. А, главное, мирные отношения с ним обеспечивали беспрепятственные торговые связи с «низовой» Русью. Без подвоза хлеба с Юга Новгород не мог существовать.

Все знают, что полнота власти в Новгородской республике принадлежала вечу, или собранию всех свободных граждан. Вече выбирало все свое правительство, не исключая архиепископа, контролировало и судило его. Это была прямая, то есть не представительная демократия, подобно республикам античного мира. Лишь тот, кто участвовал в народных сходках, мог осуществлять свои политические права. Огромная территория управлялась жителями одного города. Это было слабое место в республиканском строе и Афин и Рима. «Агора» и «Форум» не могли управлять империями.

Но, говоря о Новгороде, обычно преувеличивают беспорядок и неорганизованность вечевого управления. Мы мало знаем о нормальном течении дел. Летописи говорят только о его нарушениях. Традиционные картины побоищ на Волховском мосту являлись сравнительно редким исключением. По большей части «владыкам» удавалось примирять враждующие партии до на-

чала кровопролития. А, главное, забывается о существовании «господ», верхней палаты, ведущей все текущие дела и подготовлявшей важнейшие решения для веча. Эта палата состояла из выбранных вечем сановников, настоящих («степенных») и бывших, под председательством не князя, а архиепископа. Весьма вероятно, что работа народного веча с трудом укладывалась в упорядоченные формы. Борьба партий легко переходила в междуусобия. Но это обычная плата, которую демократия платит за свободу. Княжеские усобицы на остальном пространстве русской земли пролили больше крови и слез, чем драка на Волховскои мосту. И, конечно, за все века существования Новгорода, в его стенах не пролилось столько невинной крови, как за несколько дней его посещения Грозным в 1570 году.

Но вернемся к новгородскому правительству. Недаром мы видим, что в Совете Господ председательствовал архиепископ. В сущности, именно он был «президентом» республики, если искать современных аналогий. Посадник был первым министром, главой победившей партии. Владыка стоял выше партий и выражал единство республики. Чтоб сделать реальной его независимость, кандидаты, избранные вечем, подвергались жеребьевке. Три жребия на престоле Софийского собора символизировали Божественную волю в судьбах города-государства. В политической символике Великого Новгорода его сувереном, носителем верховной власти представлялась сама Святая София. Святая София была не только именем всей поместной новгородской церкви, как это выражалось в формуле: «Святая Соборная и апостольская церковь Святой Софии». Нет, это было имя самой республики, от этого священного имени писались договоры и торжественные грамоты, ей приносили присягу князья и власти. Она мыслилась собственницей новгородских земель, особенно церковных («дом Святой Софии»). В ней народная воля нашла себе небесный символ, свободный от капризной изменчивости настроений толпы. Не в одном Новгороде средневековая демократия осуществляла себя через посредство небесных символов. То же мы видим в городских республиках Италии. Милан был городом св. Амвросия, Флоренция — Иоанна Крестителя. Между Италией и Новгородом нельзя предполагать взаимных влияний. Но общее теократическое сознание, жаждущее религиозного освящения политической жизни, принимало сходные

формы и в католической и в православной республиках средневековья.

Что такое или кто такая Святая София, это вряд ли было ясно рядовому новгородцу, вряд ли было ясно и многим из местного клира. Новгород, столь много давший русскому искусству, не оставил богословских трудов. В этом он не отличался от других уделов средневековой Руси. Новгородский собор был наречен в XI веке по имени Киевского и Константинопольского храмов. Греки-епископы знали, конечно, что София, Премудрость Божья, есть одно из имен Христа. Знали это и более ученые из русских книжников. По крайней мере, в некоторых русских рукописях встречается такое объяснение. Но во всех известных случаях присяги новгородцы целуют икону Богородицы. Это заставляет думать, во-первых, что в средние века не существовало известного иконографического типа св. Софии в виде огненного ангела, а, во-вторых, что в Новгороде возобладало богородичное или женственное понимание Софии, предвосхитившее идею Софии у современных русских богословов из школы Вл. Соловьева.

Как бы ни представляли новгородцы св. Софию, она была владычицей и покровительницей города и государства. На земле ее представлял всенародно избранный архиепископ. Истинный президент республики, он сосредотачивал в своих руках огромную материальную и даже военную силу. «Дом св. Софии» был крупнейшей хозяйственной единицей в Новгороде, а «владычный полк» — заметной частью его гражданского ополчения. В XI веке новгородцы прилагали большие усилия, чтобы сделать свою церковь совершенно независимой от Москвы. Однако патриарх Константинопольский не согласился на раздел русской митрополии. Впрочем, привилегии митрополита Московского большей частью сводились к денежным поборам, связанным с отправленьем церковного суда. Самого митрополита старались держать подальше от Новгорода. Если же отношения с Москвой становились слишком натянутыми (в XV веке), была еще возможность поставления архиепископа, минуя Москву. Можно было получить хиротонию в Литве у православного митрополита Западной Руси. Так был поставлен св. Евфимий, один из лучших владык новгородских.

Часто говорят, что избранный на вече архиепископ не имел достаточной независимости и мог быть сведен со своей кафед-

ры, подобно последнику и князю. Факты не подтверждают этой теории. Во всей истории новгородской церкви мы видим один смутный период, два десятилетия в самом начале XIII века, когда борьба суздальской и патриотической партий достигла большой остроты. Тогда архиепископы той и другой стороны не раз должны были оставлять свою кафедру и снова возвращаться на нее. Но это было исключительное время. Свобода личности могла легко подавляться в средневековых теократических республиках. Но свобода церкви была, во всяком случае, лучше ограждена в Новгородской республике, чем в самодержавной Москве, где с конца XV века удаление митрополитов по воле великого князя и царя сделалось скорее правилом, чем исключением.

Но владыки Новгородские защищали свободу не только церкви, но и свободу «града», то есть республики. Жития последних святых архиепископов Евфимия и Ионы накануне падения Новгорода об этом свидетельствуют. Так Иона, уже в глубокой старости, едет в Москву, чтобы отвратить угрозу против своего отечества. Он увещевает великого князя (Василия II): «Тихими очами смотри на своих подданных и не начинай обращать свободных в рабство». В духе пророчества он обещает наследнику (Ивану III) «свободу от Ордынского царя» — «за свободу града моего». Если же князь посягнет на свободу невинных людей, то увидит в собственных детях «зависти око» и разделение.

К несчастью, эти выражения религиозного идеала свободы в православии не были развиты в канонические трактаты. Дух свободы остался жить на страницах древних летописей и отчасти в местных культах. Так, местная чудотворная икона «Знамения» Божией Матери осталась навсегда связанной с памятным чудом 1170 года. В сознании новгородцев, эта именно икона обратила в бегство коалицию князей во главе с Андреем Боголюбским и спасла их свободу.

Икона «Знамения» (Чуда), как и символ св. Софии, вместе с именами св. епископов новгородских Иоанна, Евфимия и Ионы, оставались в памяти новгородской как религиозные символы политической свободы.

История судила победу другой традиции в русской церкви и государстве. Москва стала преемницей одновременно и Византии и Золотой Орды, и самодержавие царей не только полити-

ческим фактом, но и религиозной доктриной, для многих почти догматом. Но когда история покончила с этим фактом, пора вспомнить о существовании иного крупного факта и иной доктрины в том же самом русском православии. В этой традиции могут почерпать свое вдохновение православные сторонники демократической России. Конечно, наша эпоха чужда теократии. Религиозная основа жизни глубоко подорвана в народных массах. Всякая теократия таит в себе опасность насилия над совестью меньшинства. Раздельное, хоть и дружеское сосуществование церкви и государства является лучшим решением для сегодняшнего дня. Но, оглядываясь в прошлое, нельзя не признать, что в пределах восточно-православного мира Новгород нашел лучшее разрешение вечно волнующего вопроса об отношениях между государством и церковью.

Примечания

В девятом томе собраны все статьи Г. П. Федотова, написанные им в американский период – с 1942 по 1951 годы. Основная тема этих статей, за редким исключением, – тема свободы. Как большинство современников, размышлявших о будущем мира, который, как верно отметил Федотов, станет гораздо более тесным и близким, мыслитель понимал, что гарантом его гармонического развития может стать только общество, в котором возможна глубинная свобода личности. Крушение тоталитаризма, в тот период – германского, было уже очевидным. Но Федотов предупреждал, что на смену германскому тоталитаризму идет более опасный – советский, который к концу войны уже подмял половину Европы.

Его пугало, что вожди антинацистской коалиции – Рузвельт и Черчилль – уже тогда пасовали перед Сталиным. Ялтинские соглашения, так легко подписанные ими, отдавали Сталину не только всех советских военнопленных, захваченных во время войны гитлеровцами, но и русских эмигрантов. Ни англичане, ни американцы не понимали, что Сталин,опираясь на эти соглашения, отправит сотни тысяч советских военнопленных умирать в концлагеря на Север России и Дальний Восток. Черчилль и Рузвельт, нсходясь во власти иллюзий, – они считали, что сталинский режим значительно смягчился, – отдали Сталину половину Европы, которая еще полстолетия томилась под игом советских вождей.

Федотов не поддался всеобщей эйфории, хотя советская пропагандистская машина работала вполне успешно. Перед победоносными советскими войсками, которые на Западе воспринимались прежде всего как освободители Европы, преклонялись даже бывшие противники – белогвардейские эмигрантские офицеры. Многие из них считали, что именно за такую, сильную и победоносную Россию, они боролись на фронтах Гражданской войны. Они наивно полагали, что Сталин воплотил в жизнь их мечты. Многие из них после победы 1945 года возвращались на родину, и их отправляли в сталинские концлагеря. Всеобщему опьянению поддался даже такой трезвый мыслитель, каким был Николай Бердяев. Предупреждения Федотова тогда не были услышаны. Но его мысли не устарели сегодня, когда рухнул и советский тоталитаризм. В XXI столетии они звучат с новой силой. Советский Союз прекратил свое существование, но осмысления российской трагедии не произошло. По-прежнему россияне ищут виноватых где-то на стороне. Мыслитель вскрывает истоки российской трагедии XX столетия, которые коренились в глубинах отечественной истории. Он напоминает о ценности личности, о свободе и ответственности человека пе-

ред Богом. Сегодня, когда постсоветское общество остро ностальгирует по тоталитаризму, статьи Федотова помогают осознать трагедию тоталитаризма и обрести подлинные пути, на которых может возродиться новая Россия.

Большая часть статей, вошдеших в этот том, была опубликована в «Новом журнале», который на протяжении более чем полувека нес эстафету высокой русской культуры в США. Его выписывали и читали во всех уголках мира, в том числе и в СССР, где в советский период он хранился в спецхранах нескольких крупных библиотек и был доступен только узкому кругу специалистов. Приношу искреннюю благодарность за помощь в работе над этим томом председателю комитета Бахметьевского архива, профессору Ричарду Вортманну и хранителю Бахметьевского архива – Татьяне Чеботаревой. Особая благодарность за помощь в работе над комментарием – создателю и хранителю Русского архива в Лидсе (Англия) Ричарду Дэвису. Его обширные познания и тонкие замечания всегда способствовали плодотворной работе.

Новое на старую тему

Первая публикация – «Новый журнал», Нью-Йорк, 1942 год, №1, сс. 276–286. Она примечательна тем, что это первая публикация в Новом свете, после того, как после многочисленных перипетий и мучений Федотов все же добрался до США. Немало времени понадобилось для того, чтобы мало-мальски устроить быт, найти старых друзей и обрести новых. В США постепенно образовался круг друзей и единомышленников мыслителя. Немало помог Федотову Еврейский рабочий комитет. Данная статья – отклик на все чаще доходившие до Америки сведения о массовом геноциде евреев в завоеванных Германией европейских странах.

[1] Федотов имеет в виду двух выдающихся евреев XX столетия – Альберта Эйнштейна и Зигмунда Фрейда.

[2] В начале Второй мировой войны вновь актуально зазвучали идеи сионизма. Прежде всего, война и преследования нацистов оживили и доказали актуальность идей основателя сионизма Теодора Герцля об основании в Палестине еврейского государства.

[3] Иошуа – имеется в виду Иисус Христос, непризнанный еврейским народом Мессия.

[4] Иосиф Гдалия Клаузнер (1874–1958) – литературовед, историк, лингвист, один из инициаторов возрождения еврейской культуры на иврите. Родился на территории нынешней Литвы, рос и воспитывался в Одессе. В этом же городе в 1891 году вместе с друзьями создал организацию «наш язык с нами». В 1897 году был делегатом 1-го сионистского конгресса в Базеле. Автор книги «Иисус из Назарета, его время, жизнь и учение» (1922), которая была переведена на многие европейские языки и вызвала живейшие дискуссии среди богословов. В другой книге Клаузнера – «От Иисуса до Павла» (1939), прослеживаются эллинистические и еврейские истоки

учения апостола. Менее известны его исторические труды — «История Израиля» (1909) и «История Второго храма» (1949, в 5 томах).

Клод Джозеф Голдсмит Монтефиоре (1859–1939) — английский мыслитель еврейского происхождения, писатель и филантроп. Окончил Оксфордский университет, затем изучал иудаизм в Берлине. Известны его труды — «Библия для домашнего чтения» в 2-х томах, 1897–1899, «Лекции о происхождении и развитии религии, иллюстрированные религией древних евреев», 1892, «Синоптические Евангелия» в 2-х томах, 1909.

[5] Конвертит — обратившийся, в данном случае речь идет о евреях, принявших христианство.

О парижской поэзии

Первая публикация — в сборнике «Ковчег» (Нью-Йорк, 1942, сс. 89–198). «Ковчег» как альманах начал выходить еще в 1926 году в Праге, затем продолжил свое существование в Париже.

[1] Адамович Георгий Викторович (1892—1972) – видный эмигрантский поэт, выпускник историко-филологического факультета Санкт-Петербургского университета. Входил в дореволюционный период в «Цех поэтов», друг Николая Гумилева и Георгия Иванова. В 1922 году покинул Россию. Обосновался в Париже, сотрудничал почти со всеми эмигрантскими периодическими изданиями. Получил известность как критик. Его критические статьи позже были собраны в сборники: «Одиночество и свобода» (Нью-Йорк,1955); «О книгах и авторах» (Мюнхен-Париж, 1966); «Комментарии» (Вашингтон, 1967). Адамович был составителем первой эмигрантской поэтической антологии «Якорь». Скорее всего, речь идет о третьей книге его стихов «На Западе» (Париж, 1939).

[2] Ходасевич Владислав Фелицианович (1886–1939) — поэт, прозаик, критик, мемуарист. Первая книга стихов «Молодость: Первая книга стихов: Стихи 1907 года» вышла в начале 1908 года. Вторая — «Счастливый домик: Вторая книга стихов» вышла в 1914 году. В 1922 году эмигрировал и обосновался в Париже. После 1928 года практически не писал стихов. Публиковал статьи и обзоры во многих эмигрантских изданиях. Был наставником многих начинающих поэтов эмиграции.

[3] Эйснер Алексей Владимирович (1905—1984) — эмигрантский поэт, учился в Петербургском кадетском корпусе. После революции вместе с семьей эмигрировал из России. Окончил русский кадетский корпус в Сараево. С 1925 года жил в Праге. В 1930-е годы жил в Париже, участвовал в работе литературного объединения «Кочевье». Принимал участие в Гражданской войне в Испании на стороне республиканцев. В 1940 году вернулся в СССР, был арестован, находился сначала в концлагере, затем в ссылке вплоть до 1956 года. Был реабилитирован, вернулся в Москву.

[4] «Кочевье» — литературное объединение, созданное критиком и литературоведом Марком Слонимом в Париже в 1928 году. Эмигрантская молодежь собиралась в таверне Дюмениль на Монпарнасе по четвергам. Отли-

чие «Кочевья» от других литературных кружков состояло в том, что Слоним видел основную задачу в изучении лучших произведений советских писателей и поэтов. Объединение просуществовало вплоть до начала Второй мировой войны – до 1939 года. Всего было проведено 104 вечера. Литературная молодежь получила возможность печататься в журнале, который издавал Марк Слоним – «Воля России».

[6] Ладинский Антонин Петрович (1896–1961) – поэт и прозаик. Во время Гражданской войны воевал на стороне белых, был тяжело ранен. В 1920 году эмигрировал из России. Писал исторические романы. После окончания Второй мировой войны принял советское гражданство. В марте 1955 года вернулся в СССР. Здесь были опубликованы его исторические романы – «Когда пал Херсонес» (М., 1959) и «Анна Ярославна – королева Франции» (М., 1961).

Софиев (Бек-Софиев) Юрий Борисович (1899–1975) – поэт, участник Гражданской войны, воевал на стороне белых. Муж поэтессы Ирины Кнорринг. В 1937 году вышел единственный сборник стихов Софиева «Годы и камни». После Второй мировой войны принял советское гражданство и вернулся в СССР. Жил в Казахстане. В 1967 году при его участии в Алма-Ате вышел сборник стихов Ирины Кнорринг.

[7] Поплавский Борис Юлианович (1903–1935) – поэт, прозаик. В 1920 году эмигрировал из большевисткой России. Единственный прижизненный сборник стихов – «Флаги», вышел в Париже в 1931 году. Два других – «Снежный час» (1936) и «В венке из воска» (1938) вышли уже после смерти.

Червинская Лидия Давыдовна (1907–1988) – поэтесса. Во время Гражданской войны эмигрировала из России. С 1922 года живет в Париже. Первый поэтический сборник – «Приближения» (1934). В журнале «Числа» публиковались критические статьи и литературно-философские этюды Червинской. В 1956 году вышел третий и последний сборник ее стихов – «Двенадцать месяцев».

[8] Шеол – ветхозаветное представление о царстве мертвых в глубинах земли.

[9] Штейгер Анатолий Сергеевич (1907–1944) – поэт, происходил из старинного швейцарского рода. Предки в XIX веке переселились в Россию. Во время Гражданской войны семья Штейгеров покинула Россию. Несмотря на то что Штейгер жил в Швейцарии, он активно участвовал в литературной жизни русского Парижа. В 1928 году вышел его первый поэтический сборник «Этот день», а в 1931 году – второй «Эта жизнь.» Последний прижизненный сборник вышел в 1936 году – «Неблагодарность». Уже после смерти поэта в 1950 году вышел последний сборник его стихов «Дважды два четыре: Стихи 1926–1939 гг.».

[10] Иванов Георгий Владимирович (1894–1958) – поэт, прозаик, критик, мемуарист. Первая книга стихов вышла в 1911 году в России – «Отплытье на о. Цитеру». Был учеником Николая Гумилева, но не примкнул к акмеистам, хотя был одним из членов «Цеха поэтов». До революции выпустил две книги стихов. В 1921 году женился на поэтессе Ирине Одоевцевой. В 1922 году эмигрировал из Советской России. Обосновался в Париже, где актив-

но сотрудничал почти во всех периодических эмигрантских изданиях. В 1928 году выпустил книгу воспоминаний «Петербургские зимы», которая вызвала негативные отклики современников. В 1931 году вышел один из лучших поэтических сборников — «Розы». В 1937 году в Берлине вышла книга стихов «Отплытие на остров Цитеру: Избр. стихи 1916–1936».

[11] Одоевцева Ирина Владимировна (1895–1990) — поэтесса, прозаик, мемуарист. Первый сборник стихов «Двор чудес» вышел в Петрограде в 1922 году. В этом же году она покинула Советскую Россию вместе с мужем — поэтом Георгием Ивановым. Стихи в эмиграции почти не писала. С начала 20-х годов пробовала себя в прозе. Ее рассказы были отмечены Буниным. В 1950 году вышел сборник стихов «Контрапункт», в 1952 — «Стихи, написанные во время болезни». Затем еще два сборника стихов. В 1948 году вышел роман «Оставь надежду навсегда», написанный по-французски. В 1949 году он был переиздан на английском, а в 1954 — на русском. Роман посвящен жизни в СССР и трагедии личности при тоталитарном режиме. Наиболее значимыми стали ее книги воспоминаний — «На брегах Невы» (Вашингтон, 1967) и «На брегах Сены» (Париж, 1983), позже переизданные в СССР. В 1987 году вернулась в СССР.

Смоленский Владимир Алексеевич (1901–1961) — поэт. Принимал участие в Гражданской войне на стороне белогвардейцев. Эмигрировал из России в 1920 году. Обосновался и жил в Париже. Был близок к группе «Перекресток», которая ориентировалась на поэзию Ходасевича. Первый сборник стихов «Закат» вышел в Париже в 1931 году. В 1938 году вышла вторая книга стихов — «Наедине». В 1957 году вышел последний прижизненный сборник стихов — «Собр. стих.»

[12] Терапиано Юрий Константинович (1892–1980) — поэт, критик, историк религии. Первые стихи Терапиано были опубликованы в Киеве, в 1919 году в альманахе «Гермес». Эмигрировал из Советской России в 1920 году. Два года прожил в Константинополе. В 1922 году перебрался в Париж. Первая книга стихов «Лучший звук» вышла в Мюнхене в 1926 году. В Берлине в 1935 году вышла вторая книга стихов — «Бессонница». В 1938 году в Париже вышла третья кни га стихов — «На ветру». С 1946 года более известен как критик и мемуарист. В Париже в 1946 году вышла его мистическая повесть «Путешествие в неизвестный край». В Париже в 1968 году вышло его исследование «Маздеизм. Совр. последователи Зороастра». В 1953 году в Нью-Йорке вышла книга его воспоминаний «Встречи». В 1965 году в Вашингтоне появился последний прижизненный сборник стихов — «Избр. стихи».

[13] Фельзен Юрий (наст. имя Николай Бернардович Фрейденштейн) (1894–1943) — прозаик, критик. В октябре 1918 года покинул Петроград и поселился в Риге, где прожил до 1923 года. Жил в Берлине, затем в 1924 году перебрался в Париж. Работал банковским служащим, но прочно вошел в литературные круги русской эмиграции. В 1930 году вышел его роман «Обман» — не совсем удачное подражание Прусту. В 1932 году в Берлине вышла вторая книга — «Счастье», которую высоко оценил Ходасевич. В 1934 году был избран председателем «Союза молодых поэтов и писателей». Принял активное участие в подготовке альманаха «Круг», где были

опубликованы его рассказы и заметки. Пользовался непререкаемым авторитетом в литературных кругах Парижа за свою порядочность и честность. В 1943 году погиб в нацистском концлагере.

[14] Кнут Довид (наст. имя Давид Миронович Фиксман) (1900–1955) – поэт, прозаик. Родился в Бессарабии. В 1920 году приехал в Париж. В начале 20-х годов становится вместе с А.Гингером, Б. Божневым и Б. Поплавским членом поэтических групп «Гатарапак» и «Через». Первый сборник стихов вышел в Париже – «Моих тысячелетий». В 1928 году появилась «Вторая книга стихов». До Второй мировой войны вышли еще две поэтические книги. Во время Второй мировой войны вместе с женой, дочерью композитора Скрябина, принимал активное участие во французском Сопротивлении. В 1944 году Ариадна Скрябина была схвачена немцами и расстреляна. Кнуту удалось бежать в Швейцарию. С 1949 года жил в Израиле, но продолжал писать на русском языке.

Новое отечество

Впервые опубликована в «Новом журнале», 1943, № 4, сс.182–200.

[1] Dulce et decorum est pro patria mori (*лат.*) – «Сладостно и почетно умереть за Родину» (Гораций, «Оды», III», 13–16).

[2] Кордель Холл (1871–1955) – государственный секретарь США (1934–1946), лауреат Нобелевской премии мира (1945). Присуждена была после подписания поражения Германии во Второй мировой войне.

[3] Поль Де-Ман (1919–1983) – литературный критик и теоретик. Родился в Бельгии, но после Второй мировой войны преподавал в США. Писал во время войны статьи для коллаборационистской бельгийской газеты. В США получил широкую известность лекциями, посвященными поэзии романтиков и философии.

[4] Автаркия (*греч.*) – букв. самоудовлетворение – на языке экономистов: хозяйственное обособление страны, направленное на создание замкнутого национального хозяйства, способного обходиться без импорта необходимых материалов и товаров. Автаркия неизбежно приводит к стагнации экономики и безнадежному отставанию страны от развитых стран мира.

[5] Pacis imponere morem (*лат.*) – «Условия накладывать мира» (Вергилий, «Энеида»).

[6] Речь идет о Версальском мирном договоре 1919 года, завершившем Первую мировую войну. Согласно этому договору побежденная Германия возвращала Франции, Бельгии, Чехословакии и Польше как захваченные, так и спорные территории. Германские колонии были поделены между странами-победительницами.

[7] Lebensraum (*нем.*) – жизненное пространство.

[8] Drang nach Osten (*нем.*) – Вперед на Восток! – лозунг немецких националистов.

[9] Гитлерюгенд – молодежная организация нацистской партии. Балилла – молодежная фашистская организация в Италии времен Муссолини, в ко-

торую входили дети с 8 до 14 лет. Фаланга — правящая фашистская партия во франкистской Испании, в которую также входила молодежь.

[10] Жионо Жан (1895–1970) — французский писатель, последователь Жан-Жака Руссо. В своих романах воспевал патриархальную крестьянскую жизнь. Не воспринимал и критиковал городскую цивилизацию.

Рамюз Шарль Фердинанд (1878–1947) — швейцарский писатель-реалист, писавший на французском языке. В своих романах описывал драматические конфликты в среде простых людей — земледельцев и виноградарей.

Загадки России

Первая публикация в «Новом журнале» №5 за 1943 год, сс. 161–181.

[1] Михайлович Дража (1893–1946), сербский генерал, в 1941-45 глава формирований четников. В 1942–45 военный министр югославского эмигрантского правительства. Казнен по приговору народного суда Федеративной Народной Республики Югославии как военный преступник.

[2] Виктор Альтер и Генрих Эрлих — руководители Бунда и еврейских профсоюзов в Польше; расстрелян органами НКВД в 1941 году. Hybris (*греч.*) — гордыня.

[3] Power policy (*англ.*) — политика силы.

[4] Тарле Евгений Викторович (1875–1955) — историк, академик АН СССР (1927). В 1930 году проходил по так называемому делу «академиков», был репрессирован. Книгу Тарле о Наполеоне высоко ценил Сталин.

[5] Речь идет о внешней политике СССР накануне Второй мировой войны, которую проводил нарком иностранных дел Максим Максимович Литвинов (настоящее имя Валлах Макс) (1876–1951). Накануне заключения пакта о ненападении с нацистской Германией Сталин убрал Литвинова, как противника подобного соглашения, с поста наркома. С 1941 года — зам. наркома иностранных дел и одновременно посол СССР в США.

[6] Крепостной серваж — вид феодальной зависимости в средние века в Западной Европе. Сервы — крестьяне, наиболее ограниченные в правах и находившиеся в тесной зависимости от феодала. К XVI веку сохранились лишь пережитки серважа.

[7] Федотов сравнивает Сталина с императором Александром I, который освободил Европу от Наполеона.

Как бороться с фашизмом?

Певая публикация в «Новом журнале» № 6 за 1943 года, сс. 291–306.

[1] Сорель Жорж (1847–1922) — французский публицист и мыслитель, теоретик анархо-синдикализма. Начинал как марксист. Видел в русском большевизме и итальянском фашизме возможность преодоления европейского декаданса.

[2] Intelligence Service — государственная разведывательная служба в Англии.

[3] Business as usual (*англ.*) – букв. работа как обычно.
[4] New Deal – букв. новый курс, политика в правительстве Теодора Рузвельта.

Ирина Кнорринг

Первая публикация в журнале «За свободу» № 10–11 за 1943 года, сс. 389–390.

[1] Кнорринг Ирина Николаевна (1906–1943) – поэтесса. В 1920 году вместе с семьей эмигрировала из Советской России. С 1925 года живет в Париже, где прошла вся жизнь поэтессы. В 1928 году вышла замуж за поэта Юрия Софиева. Первая книга стихов – «Стихи о себе», Париж, 1931. Второй сборник вышел в 1939 году – «Окна на север. Вторая книга стихов».

Неслыханное

Первая публикация в журнале «За свободу» №10–11 за 1943 год, сс. 34–36.

[1] Петэн Анри Филипп (1856–1951) – французский маршал, в Первую мировую войну командовал фрнцузскими армиями. В 1940–1944 гг. глава правительства, а затем прогитлеровского режима «Виши». В 1945 году приговорен к смертной казни, которая была заменена пожизненным заключением.
[2] Аман – персонаж библейской книги Эсфирь, сановник при царе Артаксерксе, который «вознес его и поставил седалище его выше всех князей, которые у него» (Есф. 3, 1). Согласно книге Эсфирь, которая датируется второй половиной II-го века до нашей эры, он задумал уничтожить всех евреев, проживавших на территории Персии.
[3] Филипп II (1527–1598) – испанский король из династии Габсбургов, всемерно усиливавший самодержавную власть. Активно поддерживал инквизицию, вел войны с Англией и Францией. Усилил гнет в Нидерландах и присоединил к Испании Португалию.
[4] Рим. 13, 4.

SOS

Первая публикация в журнале «За свободу», № 14 за 1943 год, сс.33–38.

Рождение свободы

Первая публикация в «Новом журнале», № 8 за 1944 год, сс. 198–218.

[1] Habeas corpus (*лат.*) – букв. предъявить личность. Название закона о свободе личности, принятого английским парламентом в 1679 году. Со-

гласно ему, никто не мог подвергнуться задержанию или аресту без решения суда. Каждый гражданин мог в случае ареста мог потребовать, чтобы в течение суток ему было предъявлено судебное обвинение, а при отсутствии такового требовать освобождения из-под ареста.

[2] Magna charta (*лат.*) – Великая хартия вольностей. Грамота, которая значительно ограничила королевскую власть. Она была предъявлена восставшими феодалами, рыцарями и горожанами английскому королю Иоанну Безземельному и была подписана им в 1215 году.

[3] Libertas Ecclesiae (*лат.*) – свобода Церкви. В более широком смысле – свобода вероисповедания.

[4] Гвельфы и гибеллины – политические направления в Италии XII–XV вв. В этот период шла борьба за господство в Италии между папским престолом и «Священной римской империей». Гвельфы поддерживали римских пап, а гибеллины были сторонниками императорской власти.

[5] Etats Generaux (*франц.*) – Генеральные штаты. Высшее сословно-представительское учреждение, действовавшее с 1302 по 1789 гг., состоявшее из депутатов духовенства, дворянства и 3-го сословия. Созывалось королями в основном для одобрения сбора налогов. Депутаты 3-го сословия Генеральных штатов в 1789 году объявили себя Национальным собранием.

[6] Aide et conseil (*франц.*) – помощь и совет. В средневековой Европе вассал имел обязательства перед сеньором: помогать ему в военных действиях и давать советы в затруднительных ситуациях.

[7] Аугсбургское или Вестминстерское исповедание – изложение основ лютеранства, составленное Ф. Меланхтоном в 1530 году.

[8] Тридентский катехизис – один из результатов Тридентского собора, который заседал с перерывами в 1545–1547, 1551– 1552, 1562–1563 гг. в итальянском городе Тренто, а также в 1547–1549 гг. в Болонье. На соборе были подтверждены основные положения католицизма, в том числе – верховенство римских пап над церковными соборами. После Тридентского собора усилились гонения на еретиков и была введена строгая церковная цензура. В 1564 году папа Пий IV подтвердил все решения собора и опубликовал «Исповедание веры Тридента», также известного под названием «Символ веры Пия IV». Решения Тридентского собора стали программой Контрреформации.

[9] Фокс Джордж (1624–1691) – основатель движения квакеров в Англии и Северной Америке. Проповедовал отказ от насилия и союз человека с живущим в нем Божественным началом.

Вильямс Роджер (1603?-1683) – английский священнослужитель в Америке, основатель колонии на Род Айленд.

[10] Зомбарт Вернер (1863–1941) – немецкий экономист, историк и социолог, философ-неокантианец. Пережил увлечение экономическим учением Маркса, но потом выступал против него. Один из авторов теории «организованного капитализма».

[11] Мишле Жюль (1798–1874) – французский историк романтического направления. Основной труд – «История Франции» в 17 томах. Повествование доведено до 1789 года. Им создана также «История Французской революции» в семи томах.

Блан Луи (1811–1882) — французский социалист. Утверждал, что ликвидация социального гнета и неравенства возможна при организации общественных мастерских и введении всеобщего избирательного права.

[12] Блосс Вильгельм (1849–1927) — немецкий политический деятель и историк, социал-демократ.

[13] Гладстон Уильям Юарт (1809–1898) — премьер-министр Великобритании, богослов, лидер Либеральной партии с 1868 года. Правительство, которое возглавлял Гладстон, подавляло освободительное движение в Ирландии. В 1882 году, в период его премьерства, был осуществлен захват Египта.

[14] Брюнетьер Фердинанд (1849–1906) — французский литературный критик.

Nicolai Gogol by Vladimir Nabokov. New Directions Books. Norfolk. Conn. 172 pp.

Первая публикация в «Новом журнале» № 9 за 1944 год, сс. 368–369.

О. Сергий Булгаков

Первая публикация в газете «Новое русское слово», Нью-Йорк, 1 октября 1944 года.

Россия и свобода

Первая публикация в «Новом журнале», № 10 за 1945 год.

[1] Демотия (*греч.*) — букв. народный, в данном случае — национальный.

[2] Так при переписи населения в графе «профессия» написал император Николай II.

[3] Inquietude (*франц.*) — беспокойство.

Запад и СССР

Первая публикация в «Новом журнале» за 1945 год, № 11, сс. 205–230.

[1] Теодор Моммзен (1817–1903) — немецкий историк, почетный член Петербургской академии наук. Занимался в основном историей древнего Рима и римского права. Лауреат Нобелевской премии по литературе (1902).

Виппер Роберт Юрьевич (1859–1954) — историк, академик АН СССР. Известен трудами по истории древнего мира вплоть до современности.

[2] Томас Гарди (1840–1928) — английский писатель. В его романах «Тэсс из рода д'Эбервилей» и «Джуд Незаметный» преобладает социально-нравственный анализ общественных отношений.

[3] Голсуорси Джон (1867–1933) — английский писатель, автор романов «Остров фарисеев», «Патриций» и других. Наиболее известна его трилогия «Сага о Форсайтах», в которой воссоздана атмосфера английского общества конца XIX — первой трети XX века.

[4] Уэбб Марта (1858–1943) — английский социалист, реформатор и писательница.

[5] Вульф Вирджиния (1882–1941) — английская писательница и литературный критик.

[6] Морган Чарльз (1894–1958) — английский писатель. Как доброволец участвовал в Первой мировой войне, сражался в Голландии. Попал в плен и находился в плену вплоть до 1917 года. Этим переживаниям посвящен его первый роман. В годы Второй мировой войны служил в Адмиралтействе. Автор 11 романов, нескольких пьес и множества эссе.

[7] Fin de siècle (*франц.*) — конец света.

[8] Монтерлан Анри де (1896–1972) — французский писатель и драматург. Оправдывал власть диктаторов. Во время Второй мировой войны сотрудничал с нацистами.

[9] Лоуренс Дэвид Герберт (1885–1930) — английский писатель. Вскрывал омертвение человека, его разрыв с природой в индустриальном обществе. Наиболее известны его романы «Сыновья и любовники», «Любовник леди Чаттерлей». Известен также стихами, пьесами и рассказами.

[10] Де-Местр Жозеф Мари (1753–1821) — французский публицист и религиозный философ. В «Размышлениях о Франции» (1797) считал, что революция носит «сатанический» характер, но воспринимал ее как своего рода искупительную жертву. В 1802–1817 гг. посланник Сардинского короля в России. Известны его «Санкт-Петербургские вечера» (тт.1–2, 1821).

Бональд Луи Габриэль Амбруаз (1754–1840) — французский философ и политический деятель. Основной труд — «Теория политической и религиозной власти в гражданском обществе» (1796). Защищал идею божественного происхождения монархии.

[11] Redivivus (*лат.*) — воскресший.

[12] Бернштейн Эдуард (1850–1932) — один из лидеров немецкой социал-демократии и 2-го Интернационала, идеолог реформизма. Выступал с критикой теоретических основ марксизма как устаревших. Считал социализм этическим идеалом, отвергая его научное обоснование.

[13] Бенда Жюльен (1867–1956) — французский писатель, автор романа «Предательство клерков» (1927). Клерками он называл интеллигентов, которые, изменяя основному служению — сохранению духовных ценностей, превращаются в рупоры политических идей.

[14] La Cité (*франц.*) — зд. отечество.

[15] Violence (*франц.*) — насилие.

[16] Шарль Моррас (1868–1952) — французский писатель и политический деятель, создатель националистической организации «Аксьон франсез» и газеты с одноименным названием. Во время Второй мировой войны сотрудничал с немцами. После войны был приговорен к пожизненному заключению. В 1951 году помилован.

[17] Commonwealth (*англ.*) — букв. Республика, Содружество. Так после распада Британской империи стало называться объединение стран, решивших остаться в союзе и сотрудничестве с Англией.

[18] Ways of life (*англ.*) — дороги жизни.

С Востока тьма

Первая публикация в журнале «За свободу», № 15 за 1945 год, сс.13–16.

[1] Lend-lease (*амер.*) – передача взаймы вооружения или продовольствия. Имеется в виду помощь США во время Второй мировой войны, когда в Советскую Россию направлялись все виды вооружения и продовольствия.

[2] Liberum veto (*лат.*) – свободное «запрещаю». Право наложения единоличного запрета на постановление законодательного собрания.

О любви к отечеству

Первая публикация в журнале «За свободу», № 16 за 1945 год, сс. 12–17.

[1] Строки из стихотворения Н. А. Некрасова

[2] Кернер Теодор (1791–1813) – немецкий поэт, участник освободительной войны против Наполеона. Находился под влиянием романтиков. Погиб в бою.

Занд Георг – немецкий студент, убивший в 1819 году немецкого писателя и драматурга, монархиста Августа Коцебу, который считался российским агентом. Был казнен.

[3] Tugendbund (*нем.*) – тайное политическое общество в Пруссии в 1808–1810 гг, созданное, чтобы возродить «национальный дух» после разгрома Пруссии Наполеоном.

Ответ Н. А. Бердяеву

Первая публикация в журнале «За свободу» № 17 за 1946 год, сс. 57–69.

[1] Humanité – газета французских коммунистов.

Между двух войн

Первая публикация в «Новом журнале» за 1946 г.,№ 14, сс. 154–169.

[1] UNO – Организация объединенных наций.

[2] Mir gab ein Gott zu sagen was ich leide (*нем.*) – Дай мне, Боже, сказать, как я сожалею.

[3] Giovinezza (*итал.*) – молодость.

[4] Vision (*англ.*) – мечта.

[5] Ordre Nouveau (*франц.*) – новый порядок.

Третий час

Первая публикация в «Новом журнале» за 1946 г. № 14, сс. 333–335.

[1] Tout court (*франц.*) — вообще.

[2] Фотиевское братство было основано в Париже в начале 30-х годов в эмигрантской среде Алексеем Ставровским (1905– 1972). Он учился в Богословском институте, но не закончил его. Фотиевское братство, членом которого являлся и В. Лосский, было инициатором рассмотрения вопроса о каноничности воззрений священника и богослова Сергия Булгакова. Поскольку Фотиевское братство находилось в каноническом ведении Московского патриархата, то члены братства обратились с письмом к митрополиту Сергию (Страгородскому) и тот, не ознакомившись с богословскими взглядами о. Сергия, осудил его учение о Софии, Премудрости Божией.

Судьба империй

Первая публикация в «Новом журнале» за 1947 год, № 16, сс. 149–169.

[1] S ero venientibus ossa (*лат.*) — «Кто поздно приходит — тому кости» (поговорка).

[2] Маршалл Джордж Кэтлетт (1880–1959) — американский генерал (1944). В 1947–1949 — государственный секретарь, а с 1950 по 1951 гг — министр обороны США. За свой план восстановления послевоенной Европы, который начал действовать с 1947 года и был основан на выделении странам, пострадавшим от войны, американской экономической помощи, получил Нобелевскую премию (1953).

[3] Ceterum cenceo (Carthaginem esse delendam) (*лат.*) — Слова Катона Старшего: «А кроме того, я утверждаю, что Карфаген должен быть разрушен». В переносном смысле — настойчивое напоминание, неустанный призыв к чему-либо.

[4] Федерб Луи (1818–1889) — французский генерал, губернатор Сенегала (1854–63, 1863–65). Основатель колониальных владений Франции в Африке. Основал в 1857 году город Дакар, установил контроль Франции над Гамбией. Во время франко-прусской войны командовал Северной армией. Был сенатором с 1879 по 1888 гг. Ему принадлежит множество работ по географии, этнографии и этнологии.

[5] Лиотэ Луи (1854–1934) — французский маршал, с 1912 по 1925 годы руководил колонизацией Марокко.

[6] Грушевский М. С. (1866–1934) — украинский историк и политический деятель. В 1917–1918 гг. председатель Центральной Рады Украины. В 1919 году эмигрировал, а в 1924 году вернулся в СССР. Стал академиком АН СССР (1929). Автор 10-ти томной «Истории Украины-Руси».

[7] Костомаров Н. И. (1817–1885) — историк, писатель, член-корреспондент Петербургской АН (1876). Один из создателей и руководителей Кирилло-Мефодиевского общества. Активный сторонник украинской национально-политической автономии.

Драгоманов М. П. (1841–1895) — историк, фольклорист, общественный деятель. Организатор киевской «Громады» — филиала украинофильского общества «Старая громада». С 1876 года — эмигрант. Издатель и редактор

журнала «Громада». Сторонник культурно-национальной автономии Украины.

[8] Октроировала — от франц. octroyer — жаловать, даровать. Конституции, данные властью монарха, а не установленные парламентом. В данному случае речь идет о Временном правительстве, а не о монархе.

Просветы в тьму

Первая публикация в журнале «За свободу» № 18 за 1947 год, сс. 48–56.

[1] Д. П. — так назывемые перемещенные лица. Так назывались военнопленные во время Второй мировой войны, депортированные нацистами из мест проживания и оказавшиеся на территории Европы. Многие из советских граждан, попавших в эту категорию, отказывались возвращаться в Советский Союз. Хотя, согласно духу и букве Ялтинских соглашений, союзники СССР обязаны были выдавать их.

[2] Russia fara da se! (*исп.*) — Россия превыше всего!

И.И.Фондаминский в эмиграции

Первая публикация в «Новом журнале» №18 за 1948 год, сс. 317–329.

[1] directeur de conscience (*фр.*) — духовник.

[2] fausse bonté (*фр.*) — ложная доброта.

[3] Священник Лев Жилле (1893–1980), впоследствии архимандрит. Французский православный писатель. Высшее образование получил в университетах Женевы и Гренобля. Утратив веру, он вновь обрел ее, познакомившись в плену (он участвовал в Первой мировой войне) с православными русскими людьми. Большое влияние на него оказал Достоевский. В 1924 году Жилле принял постриг в Бенедиктинском монастыре (Фарнборо). Интерес к русской культуре и религиозности привели его во Львов. Здесь он принял восточно-католический обряд и некоторое время работал секретарем униатского митрополита Андрея Шептицкого. Стремясь сблизить православный Восток и католический Запад принял участие в создании Шевтонского монастыря в Бельгии, где богослужении совершалось на церковно-славянском языке. В конце 20-х перехал в Париж, где соединился с Русской Церковью. В парижском православном приходе отец Лев служил около 10 лет, совершая богослужение на французском языке. Одновременно преподавал в Свято-Сергиевском Богословском институте. Накануне войны переселился в Англию. Вел подвижнический образ жизни — не имел постоянного жилища и имущества. Духовно окормлял Содружество святого Албания и преподобного Сергия. В 1948 году стал настоятелем храма святителя Василия Великого в Англии. Часто посещал Бейрут, где пользовался любовью ливанской православной молодежи. Основная работа отца Льва, переведенная на русский язык в 1933 году, — «Иисус Назарянин в свете истории».

[4] Лавров Петр Лаврович (1823–1900) — публицист, философ, социолог, один из идеологов революционного народничества. В 1866 году, после покушения Каракозова на императора Александра II, был арестован и отправлен в ссылку в Вологодскую губернию. Там были созданы «Исторические письма».

[5] Республиканско-демократическое объединение было учреждено в Париже в 1924 году. Организовало немало лекций, выступлений и других мероприятий. Фондаминский часто выступал под эгидой РДО. Прекратило существование в 1939 году.

[6] Ширинский-Шихматов Юрий Алексеевич, князь (1890–1942) – общественно-политический деятель, публицист, участник первой мировой войны и Белого движения, с начала 1920-х в эмиграции в Париже, лидер движения национал-максималистов, издатель журнала «Утверждения» (1931–1932), один из руководителей Объединения пореволюционных течений, организатор парижского Пореволюционного клуба, в 1941 арестован нацистами, погиб в концлагере.

[7] «Il est en bonne humeur, meme heureux» (*франц.*) — он в хорошем настроении, даже счастлив.

Н. А. Бердяев — мыслитель

Первая публикация в «Новом журнале» № 19 за 1948 год, сс. 266–278. Эта статья — один из первых откликов на смерть философа, с которым Федотова связывало многое: многолетняя дружба, единомыслие по многим вопросам церковной жизни. Бердяев поддерживал Федотова в трудные моменты его жизни. Наиболее ощутимую поддержку он оказал ему во время конфликта с Богословским институтом летом 1939 года.

[1] Sub specie aeternitatis (*лат.*) — с точки зрения вечности. Название одной из первых книг Бердяева, в которую вошли статьи разных лет (1907).

[2] Скорее всего, речь идет о книге «Истоки и смысл русского коммунизма», которая первоначально вышла в Лондоне на английском языке в 1937 году, затем была переведена на многие европейские языки, и лишь в 1953 году вышла в Париже на русском языке.

[3] en bloc (*франц.*) — в целом.

La geste du Prince Igor

Первая публикация в «Новом журнале» № 20 за 1948 год, сс.301–304.

[1] Ecole libre des Hautes Etudies — ежегодные семинары, которые проходили обычно летом во Франции, в Понтиньи, начиная с 1910 года. Во время оккупации Франции нацистами эти встречи по инициативе Жака Маритена проводились в США, где в этот период находилась часть французских ученых. Ученые встречались летом, и в течение 10 дней шли оживленные дискуссии по различным вопросам. Президентом был Жак Маритен, дека-

ном — Густав Коэн. Первая встреча в США с участием американских ученых произошла летом 1942 года. Обсуждался широкий круг тем — поэзия, литература, антропология, дипломатия, музыка, наука, кино. После освобождения Франции семинары проводились там.

[2] Мазон Андре (1881–1967) — французский филолог-славист, иностранный член-корреспондент АН СССР (1928). Известен трудами в области древнерусской и польской литературы (иследования о творчестве Адама Мицкевича). Написал ряд статей, в которых пытался доказать, что «Слово о полку Игореве» — подделка XVIII столетия.

[3] Postface, preface — послесловие и предисловие.

Народ и власть

Первая публикация в «новом журнале» № 21 за 1949 год, сс. 236–252.

[1] Федотов пишет об одной из самых пока малоисследованных страниц российской истории. Когда в России произошла Февральская революция 1917 года, Ульянов (Ленин) находился со своими единомышленниками в Швейцарии и был отрезан от родины. Весной 1917 года при посредничестве Александра Гельфанда (Парвуса) прошли тайные переговоры между представителями германского Генштаба и большевиками. Была достигнута договоренность, что немцы, находившиеся в тот период в состоянии войны с Россией, пропускают вагон с большевиками через территорию Германии и субсидируют их подрывную деятельность. Благодаря поддержке немцев большевики проникли в Россию и продолжали в течение более чем полугода получать от них значительную финансовую помощь (миллионы марок). Об этом свидетельствуют документы немецкого Генштаба, а также партархивы ВКП(б).

[2] Выполняя взятые на себя обязательства, большевики в начале 1918 года заключили Брестский мир с Германией. Германия согласно этому договору получила всю Украину, Прибалтийские республики и часть России. Россия вышла из войны. Брестский мир тогда же получил название «похабного».

[3] Amor patriae tollit ingenium (*лат.*) — любовь к родине лишает ума.

[4] ancien regime (*франц.*) — древний режим.

[5] Эсхин (ок.390–314 гг. до н.э.) — афинский оратор, один из вождей промакедонской группировки, противник Демосфена.

О гуманизме Пушкина

Первая публикация в газете «Новое русское слово», Нью-Йорк, за 8 мая 1949 года.

Две или одна

Первая публикация в «Бюллетене Лиги борьбы за Народную Свободу», № 1 от 13 марта 1949 года.

[1]-Кравченко Виктор Андреевич (1905–1966) – бежавший после Второй мировой войны из СССР инженер. Автор книги «Я избрал свободу», которая сначала вышла на английском языке в США в 1947 году, затем на русском – в 1950 г.

Христианская трагедия

Первая публикация в «Новом журнале» № 23 за 1950 год, сс.126–141.

[1] Murder mysteries (*англ.*) – тайны убийства.

[2] Зиммель Георг (1858–1918) – немецкий философ, социолог, основоположник формальной социологии. Трагедия творчества в его понимании заключается в том, что возникает противоречие между пульсацией жизни и ее объективизацией в застывших формах культуры.

[3] Providentia Dei mundus administratur (*лат.*) – Правитель мира – божественное провидение.

[4] Dies irae (*лат.*) – «Тот день». Начальные слова средневекового церковного гимна, вторая часть заупокойной мессы, реквиема.

[5] Митрополит Антоний (Храповицкий) (1863–1936) – видный церковный деятель, ректор Московской и Казанской духовных академий. С его именем связан расцвет монашества в предреволюционный период в духовных академиях. Поклонник творчества Достоевского. Один из трех претендентов на патриарший престол во время Поместного Собора 1917–1918 гг.

Митрополит Филарет (Дроздов) (1783–1867) – митрополит Московский с 1826 года. Проповедник, почетный член Петербургской АН. Автор православного Катехизиса (1823), который многими богословами XIX столетия считался отнюдь не лучшим образцом схоластического богословия.

[6] Это утверждение Федотова не совсем справедливо по отношению к католическому святому Иоанну Креста, который был тонким и глубоким поэтом, а также оставил пронзительный рисунок – видение Христа распятого. Его стихи переведены на русский язык поэтом Валерием Перелешиным.

[7] Жуандо Марсель (1888–1979) – французский писатель. Всю жизнь преподавал в закрытом лицее. Первую книгу «Юность Теофила» выпустил в 1921 году. Всего же издал около 120 книг и 30 томов дневников. Известность принес ему роман «Самозванец» (1950).

[8] «Sous le soleil du Satan» – «Под солнцем Сатаны» – первый роман Жоржа Бернаноса (1926), который пользовался огромным успехом. Наиболее глубокий роман Бернаноса – «Дневник сельского священника» (1936).

[9] Christus passus (*лат.*) – Христос страдающий.

Сталин или Гитлер?

Первая публикация в «Социалистическом вестнике», Нью-Йорк, № 1–2, 1950, сс. 20–21,28.

[1] Дефетизм – пораженчество.

С.И.Штейн

Первая публикация в «Новом журнале» № 25 за 1951 год, сс. 219–221. Семен Штейн был другом юности Федотова – вместе они занимались в Петербургском университете в семинаре Ивана Михайловича Гревса. Потом жизнь развела их, и встретились они после долгого перерыва в Англии накануне Второй мировой войны.

Перевод как искусство

Первая публикация – вступительная статья к книге поэта и издателя Александра Браиловского «Из классиков», Нью-Йорк, 1943, сс .7–12

[1] Александр Яковлевич Браиловский (1884–1958) – поэт, издатель. Есть сведения, что именно к Браиловскому обращено стихотворение Брюсова «Юноша бледный...». В 1905 году принимал участие в революционных событиях, в результате чего был приговорен к повешению, которое заменили каторгой. Там Браиловский участвовал в бунте и был приговорен к повешению во второй раз. Бежал, жил в Европе, в 1917 году эмигрировал в Америку. Издавал в Нью-Йорке «Новый журнал», в котором публиковались не только поэты и писатели, но философы, мыслители и политические деятели самой различной ориентации. Участник антологии «На Западе». Последняя книга Браиловского «Временщики в Кремле. Политические басни и пародии» вышла в 1956 году.

[2] Валеры (лат. valere – иметь силу, стоить) – в искусстве живописи или росписи тональный нюанс, минимальное тонкое различие одного и того же цвета по светлоте. Отсюда выражение – писать валерами. Валеры достигаются техникой лессировки.

[3] Семасиология – раздел языкознания, изучающий значения слов и изменение этих значений.

Республика Святой Софии

Первая публикация в «Народной правде», Нью-Йорк, № 11–12 за 1950 г. Одна из ключевых статей американского периода. Федотов пророчески прозревает споры, которые развернулись в течение 90-х годов в демократической России вокруг судьбы семьи последнего императора и о восстановлении монархии. Он предлагает собственное видение и напоминает о республиканском правлении в Великом Новгороде.

[1] Епископ Феофил (Пашковский) (1874–1950) – в 1922 году был хиротонисан во епископа Чикагского. В 1934 году после смерти митрополита Платона (Рождественского) на Соборе митрополичьего округа в Кливленде был избран митрополитом всея Америки и Канады. В 1935 году воссоединился с Зарубежной Русской Церковью. Однако это примирение продолжалось чуть больше 10 лет – в 1946 году произошел разрыв с «карлов-

чанами». Воздерживался от каких-либо отношений с Русской Церковью (Московским патриархатом) даже после избрания патриархом Алексия I.

Епископ Гермоген (Максимов) (1861–1945) – окончил Киевскую духовную акадмию, с 1906 по 1910 – ректор Саратовской духовной семинарии. С 1910 года – епископ Аксайский, викарий Донской епархии. С 1919 года в эмиграции. В 1942 году возглавлял Хорватскую Православную Церковь. В 1945 году расстрелян хорватскими партизанами.

[2] Карловацкий Собор 1931 года. – В городе Сремские Карловцы (Югославия) находилась резиденция митрополита Антония (Храповицкого) и Высшего Церковного Управления, созданного им, вокруг которого сплотились эмигранты-монархисты. Здесь же проходили церковные соборы Русской Православной Церкви за рубежом. Еще во время первого Карловацкого Собора в 1921 году было принято решение о восстановлении династии Романовых. Патриарх Тихон специальным указом упразднил Высшее Церковное Управление в Карловцах в 1922 году. В 1931 году один из Соборов утвердил «теократический» догмат. Архимандрит Киприан (Керн) так характеризовал эти Карловацкие соборы: «...митрополит (Антоний) перенес в очень провинциальную распрю нашего зарубежья атмосферу соборных прещений, канонических постановлений и пр. Карловацкий собор себя считал единственно правым, а в доказательство своей правоты и власти начал запрещать, отлучать, а главное произносить страшные слова о недействительности таинств у евлогиан и т. д.» (*Архимандрит Киприан (Керн).* Воспоминания. М., 2002, с. 52).

[3] Федотов напоминает о перенесении Петром I мощей святого князя Александра Невского из Владимира в новую столицу, Санкт-Петербург.

[4] Подеста – в средние века высший сановник в итальянских городах-республиках. Иногда – выборный городской голова, глава местного городского самуправления.

Указатель имен

Содержание

План собрания сочинений Г.П.Федотова

1. «Абеляр», статьи 1911–1925 гг. (*вышел в свет*)
2. Статьи из журналов «Путь», «Православная мысль» и «Вестник РХСД» 1926–940 гг. (*вышел в свет*)
3. Святой Филипп, митрополит Московский (приложение: «Житие митр. Филиппа») (*вышел в свет*).
4. Статьи 30-х гг. из журналов ВРСХД, «Современные записки», «Числа», «Версты».
5. «И есть, и будет» (Размышления о России и революции).
6. Статьи из журнала «Новый град» (30-е годы).
7. «Стихи духовные».
8. «Святые древней Руси» (*вышел в свет*).
9. Статьи американского периода (1942–1951 гг.).
10. «Русская религиозность: христианство киевской Руси. X–XIII вв.» (*вышел в свет*).
11. «Русская религиозность: средние века. XIII–XV вв.» (*вышел в свет*)
12. Лекции, письма.

Георгий Петрович Федотов

Собрание сочинений в 12 томах.
Том 9:
Статьи американского периода

Редактор издательства *В.Лега*
Художник *И.Бурый*

Издательство «Мартис»
117334, Москва, Андреевская наб, 2.
ИД № 03324 от 20.11.2000

Формат 60x88 1/16. Гарнитура Нью-баскервиль.
Бумага офсетная №1. Печать офсетная.
Тираж 1500 экз. Заказ № 10065.

Отпечатано в ППП «Типография “Наука”».
121099, Москва, Шубинский пер., 6.